В.В.
МАЯКОВСКИЙ

1

БИБЛИОТЕКА
ПОЭТА

В.В. МАЯКОВСКИЙ

Советский
писатель



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА

М. ГОРЬКИМ

Большая серия

Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

В. В. МАЯКОВСКИЙ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

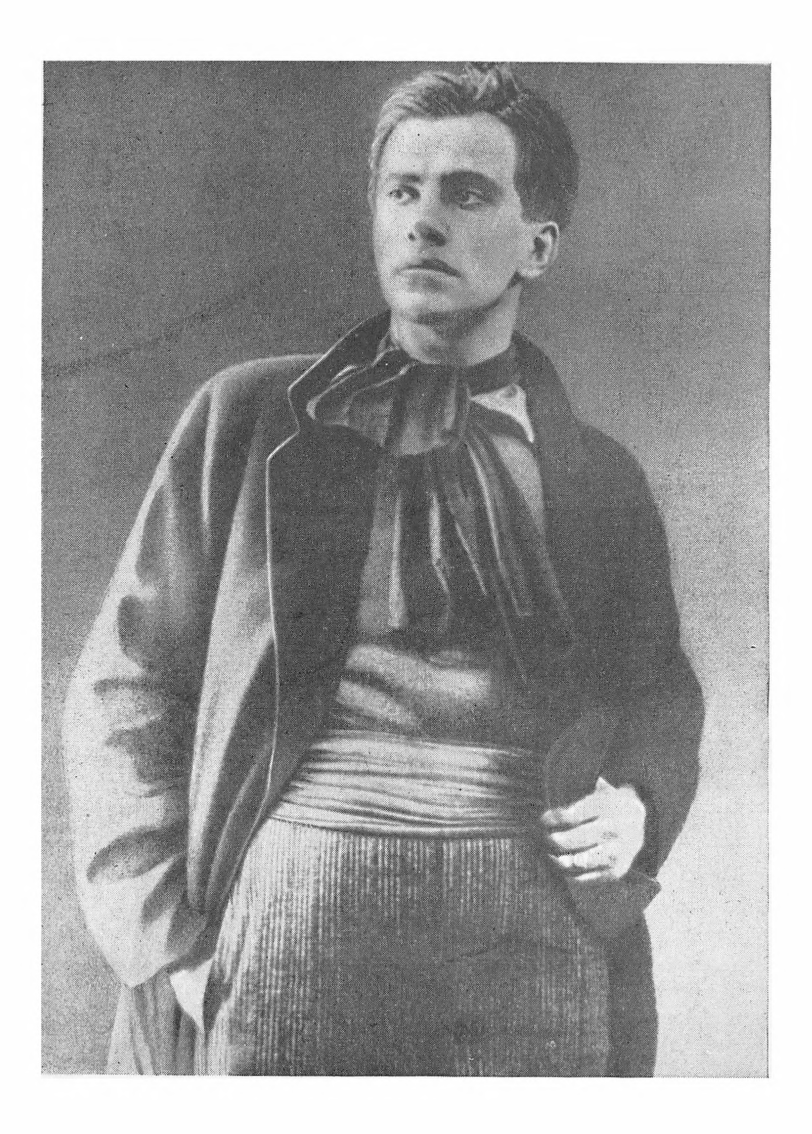
ТОМ ПЕРВЫЙ

Вступительная статья В. О. Перцова
Составление, подготовка текста
и примечания
В. О. Перцова и В. Ф. Земскова

МОСКВА—ЛЕНИНГРАД · 1963

Р 2
М 39

В настоящее двухтомное издание «Избранных произведений» В. В. Маяковского входят наиболее значительные в идейном и художественном отношении произведения поэта, представляющие с достаточной полнотой все основные этапы его творческого пути. В первый том включены стихотворения и поэмы двух периодов: 1912—1917 гг. и 1917—1924 гг., во второй — 1925—1930 гг. Научный аппарат этого издания содержит необходимый библиографический, текстологический и историко-литературный комментарий.



ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ В. В. МАЯКОВСКОГО

1

В поэме «Про это», написанной Маяковским в 1923 году, поэме во многом кризисной и как бы расчистившей от обломков прошлого путь поэта к самому высокому периоду его творчества, он с огромной силой выразил свою ненависть ко всему, «что в нас ушедшим рабьим вбито». В развязке поэмы была ликующая радость преодоления прошлого, вера в торжество идеалов коммунизма, утверждение своего права быть вместе с «легшими под красным флагом». В последнем Маяковскому нередко отказывали те, кого он считал своими единомышленниками в литературной среде, — рапповцы, деятели пролетарской литературы 1920-х годов.

Сын небогатого лесничего на Кавказе, будущий поэт начинал свою жизнь в непролетарской среде, но очень рано, едва ли не с отроческих лет, он почувствовал близость с людьми труда, с теми, кто в годы первой русской революции шел под красным флагом в атаку на самодержавие.

«Приехала сестра из Москвы, — писал Маяковский в автобиографии. — Восторженная. Тайком дала мне длинные бумажки. Нравилось: очень рискованно. Помню и сейчас. Первая:

Опомнись, товарищ, опомнись-ка, брат,
скорей брось винтовку на землю...

Это была революция. Это было стихами. Стихи и революция как-то объединились в голове» (т. 1, стр. 13).[1]

---

[1] Ссылки на Полное собрание сочинений в 13-ти томах (М., 1955—1961) даются в тексте с указанием тома и страницы.

Предвосхищение революции пронизывало поэму Маяковского «Облако в штанах», которую он считал своим программным произведением до Октября.

С первых своих шагов советского поэта Маяковский ревниво отстаивал свое «место поэта в рабочем строю». В поэме «Про это» он говорил об этом единстве с народом, с рабочим классом, несмотря на то, что

Столбовой отец мой
дворянин,
Кожа на моих руках тонка.
Может,
я стихами выхлебаю дни
и не увидав токарного станка...

Детские годы Маяковского прошли в Грузии, в глухом селе Багдади (ныне Маяковски), в 25 километрах от Кутаиси. Он был последним, пятым ребенком (до него умерли два мальчика) в семье лесничего Владимира Константиновича Маяковского. Будущий поэт родился 19 июля 1893 года — в день рождения отца — и был назван в его честь Владимиром. Владимир Константинович Маяковский принадлежал к обедневшему дворянскому роду. Любя шутку, отец поэта не раз называл сына «наследником пустых имений». Никогда он не использовал своего дворянского звания, чтобы выгодно устроиться. Более того, он иронически относился к спесивым грузинским феодалам и с какой-то воинственной страстностью вносил дух демократизма в жизнь семьи, в отношения с людьми. Он был свой человек среди крестьян. Когда волны революционного движения 1905 года докатились до багдадского захолустья и царские чиновники тряслись от страха за свою жизнь, Владимир Константинович писал в письме к старшей дочери, учившейся на курсах в Москве: «Здесь все чиновники получили анонимные письма с нарисованным гробом, кроме меня».

Мать Маяковского Александра Алексеевна, урожденная Павленко, происходила из военной семьи. В молодости она хорошо рисовала, пробовала писать стихи, училась французскому языку. Выйдя замуж, посвятила себя целиком дому и детям. Владимир, как самый младший, стал предметом ее неустанных забот.

Первые искры революционного самосознания внесли в сердце будущего поэта его семья, пример старших, весь тот опыт жизни и революционной борьбы на многоплеменном Кавказе, который развернулся перед Маяковским — учеником Кутаисской гимназии в бурном 1905 году. Присматриваясь к гимназическим порядкам,

он стал негодовать на тех, кто считал, что местные жители не имеют права учить своих детей на том языке, на котором они говорят от рождения, что один народ хуже другого. В Кутаиси, в гимназии, он понял значение того, что он русский, и переживал острое чувство стыда за тех преподавателей, которые были настроены шовинистически.

Из раннего детства и отрочества на всю жизнь вынес будущий поэт чувства демократизма и интернационализма. А когда после внезапной смерти отца, умершего от заражения крови (уколол палец при сшивании бумаг в канцелярии лесничества), семья Маяковских двинулась в Москву, то для будущего поэта этот переезд открыл путь в революцию. Маяковский перевелся в 4-й класс 5-й Московской классической гимназии. Но проучился он там недолго. Через старшую сестру Людмилу Владимировну он познакомился с организатором социал-демократического кружка в 3-й гимназии. Маяковский, которому не было еще пятнадцати лет, оказался там среди семнадцатилетних юношей, готовившихся к окончанию гимназии. К своим занятиям в социал-демократическом кружке — не в пример урокам в гимназии — Маяковский относился как к серьезному делу, штудировал материалы, делал выписки. Он прочитал в изложении Каутского «Экономическое учение Карла Маркса», знал «Эрфуртскую программу».

Социал-демократическая учеба и работа — Маяковский выполнял отдельные поручения, помогал в организации бесед, носил явки — оттеснили гимназию на задний план. Угроза исключения из гимназии с каждым днем все реальнее нависала над ним. Маяковский принял решение уйти из гимназии, включиться в работу партии.

В автобиографии «Я сам» поэт уделил большое место этому периоду своей жизни. «Партия», «Арест», «Третий арест», «11 бутырских месяцев» — вот названия главок автобиографии, посвященных революционной работе. Примерно три года — 1907, 1908, 1909-й — были насыщены до предела событиями, которые оказали решающее влияние на все дальнейшее формирование личности будущего поэта.

Участие Маяковского в революционной работе, вступление в партию РСДРП (большевиков) в начале 1908 года, когда революция пошла на убыль, а интеллигенция шарахнулась вправо, не было лишь кратковременным увлечением, преходящим «эпизодом» в духовной жизни рано созревшего подростка. «Пошел к булочникам, потом к сапожникам и, наконец, к типографщикам. На общегородской конференции выбрали в МК... Звался «товарищем Кон-

стантином». Здесь работать не пришлось — взяли... Вышел. С год — партийная работа. И опять кратковременная сидка...» — говорится в автобиографии (т. 1, стр. 16). Здесь Маяковский еще не поэт. Он решил посвятить жизнь революции, решил стать профессиональным революционером. «Товарищ Константин» живет общими интересами с теми, кого он вооружает знаниями как партийный пропагандист. Булочники, сапожники, типографщики — вот среда, с которой его сблизила партийная работа. Первые свои шаги в сознательной жизни будущий поэт делает как участник революционного движения, как член партии.

Для характеристики «круга чтения» юноши в этот период много дает письмо его из тюрьмы, переданное сестре через освобожденного товарища. Он просит сестру принести книги самого разнородного содержания — от «Капитала» Маркса до латинской грамматики, необходимой ему для подготовки на аттестат зрелости. Книгами для чтения названы в письме «Введение в философию» Кюльпе и «Сущность головной работы человека» Дицгена.

Маяковский имел право, подводя итоги своего творческого пути, сказать: «Мы открывали Маркса каждый том, как в доме собственном мы открывали ставни» — и с еще большей силой подчеркнуть подсказанную ему самой жизнью позицию в острой классовой борьбе: «...но и без чтения мы разбирались в том, в каком идти, в каком сражаться стане».

Это образы огромной обобщающей силы. Но за ними стоит и реальное автобиографическое содержание. Речь идет об участии будущего поэта в практике революционной борьбы.

«Поэтом не быть мне бы, если б не это пел...» — признается Маяковский в стихотворении, посвященном В. И. Ленину. Поэтом сделала Маяковского пролетарская революция. И конечно, не случайно литературный дебют Маяковского в 1912—1913 годах совпал с подъемом рабочего движения, с ростом революционных стачек. Опыт их подытоживал В. И. Ленин, устанавливая, что «политический кризис общенационального масштаба в России налицо и притом — это кризис такой, который касается именно *основ* государственного устройства, а вовсе не каких-либо частностей его, касается *фундамента* здания, а не той или иной пристройки, не того или иного этажа...» [1]

Осознавал ли Маяковский всю глубину этого кризиса, чреватого революцией, когда он вышел из тюрьмы, где в одиночном

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 19, стр. 195.

заключении в камере № 103 принял решение: служить революции искусством, сделаться художником!

Смутная тяга к искусству, причем к живописи гораздо более определенная, чем к поэзии, проявилась у него еще в гимназии, но отодвигалась страстным желанием принять непосредственное участие в революционной работе. Маяковский начал свою теоретическую подготовку революционера. Не следует преувеличивать его познания в области теории марксизма. Но то, что он взял из самостоятельного чтения, из занятий в социал-демократическом кружке, из общения со старшими товарищами-революционерами, соединялось с его непосредственным участием в революционном подполье, с тем опытом борьбы, которому научила его царская тюрьма, — и это был важнейший эмоциональный заряд в начале его сознательной жизни. «Вышел взбудораженный», — говорит он в своей автобиографии. Взбудоражен он был тем, что решил «делать социалистическое искусство».

Спрашивается в таком случае, при чем же здесь футуризм Маяковского, по поводу которого было сломано столько копий?

Для того чтобы правильно ответить на этот вопрос, следует отдать себе отчет, в чем состоял пафос творчества Маяковского до Октября. В автобиографии поэт сообщает: «Пишу «Облако». Выкрепло сознание близкой революции» (т. 1, стр. 23). В поэме «Облако в штанах» содержится знаменитое пророчество:

Где глаз обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

Пафос творчества Маяковского до Октября — в романтическом пророчестве близкой революции. В предисловии к первому бесцензурному изданию «Облака в штанах» в 1918 году поэт так определил смысл своего произведения: «Долой вашу любовь!», «Долой ваше искусство!», «Долой ваш строй!», «Долой вашу религию!» — четыре крика четырех частей.

Образ лирического героя «Облака», цельный в своем гневном романтическом протесте против ненавистной ему буржуазной действительности, отражает противоречия массового движения — его силу и слабость. Трагические ноты исступленного отрицания «всего», звучащие в голосе гордого, восставшего против зла мира и одинокого в своей борьбе человека, усиливают мощь этого протеста.

Но революционный романтизм отрицания буржуазного обще-

ства с теми призывами «Долой!», о которых говорилось в предисловии к «Облаку», развернулся у Маяковского на почве, взрыхленной футуристами с их нигилистическим «Долой!», обращенным ко всей прошлой человеческой культуре, с их антигуманизмом и буржуазным индивидуализмом.

2

Футуризм, возникший в России в 1910-х годах с кризисом символизма, был одним из крайних модернистских течений. Футуристы провозгласили главным в творчестве не содержание, а форму. С этих позиций они объявили войну всему прошлому и современному искусству. «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности», — призывал футуристический манифест, которым открывался сборник «Пощечина общественному вкусу». «И если пока еще и в наших строках остались грязные клейма Ваших «здравого смысла» и «хорошего вкуса», то все же на них уже трепещут впервые Зарницы Новой Грядущей Красоты Самоценного (самовитого) Слова», — утверждалось в этом широковещательном манифесте нигилизма и формализма. [1]

В статье Давида Бурлюка в том же сборнике делалась попытка обосновать принцип «искусства для искусства»: «Вчера мы не имели искусства — сегодня у нас есть искусство. Вчера оно было средством, сегодня оно стало целью. Живопись стала преследовать лишь живописные задачи. Она стала жить для себя. Жирные буржуа оставили художника своим позорным вниманием, и вот этот маг и чародей имеет возможность уйти к заоблачным тайнам своего искусства», — писал Бурлюк.

Выпад против буржуа, конечно, ничего не менял. Футуристы были далеки от идеи классовой борьбы и, конечно, вовсе и не думали об участии в революции средствами искусства. Ведь они выступали вообще против того, чтобы искусство было средством для чего бы то ни было, кроме самого себя. Больше половины сборника было отдано произведениям Хлебникова, проповедовавшего «самовитое слово вне быта и жизненных польз». В «Пощечине...» были напечатаны два драматических опыта Хлебникова: «Девий бог» и «Повесть каменного века». Люди каменного века представали у Хлебникова в счастливом общении с природой, они оказались истинными героями в сборнике футуристов — «будетлян»

---

[1] «Пощечина общественному вкусу». М., 1912—1913, стр. 2.

(так переделал Хлебников на русский лад слово «футуристы»). Конечно, в этой идеализации прошлого, как и в декларации «ненависти» к существовавшему языку, выражалось разочарование Хлебникова в буржуазной культуре, его «бунт» против нее. Но это был анархический бунт «назад», а не «вперед», и хотя в нем содержались романтические черты, но не было ничего общего с поэтическим бунтарством молодого Маяковского, в глубинном «подтексте» которого была революция.

Вступая в сознательную жизнь, будущий поэт оказался активной частицей, малой песчинкой в грозном революционном вихре, пошатнувшем устои старого мира в 1905 году. А потом, выйдя из тюрьмы, на развилке путей жизни, предчувствуя в себе художника и мучительно переживая недостаток знаний и умения, он ставит перед собой, по его выражению, «так называемую дилемму». «Так называемую» — потому что на самом деле, как он понял впоследствии, не существует двух самостоятельных путей — искусства и революции. Вот как он воспроизводит свой ход мыслей, свое тогдашнее душевное состояние в автобиографии:

«Что я могу противопоставить навалившейся на меня эстетике старья? Разве революция не потребует от меня серьезной школы? Я зашел к тогда еще товарищу по партии — Медведеву. Хочу делать социалистическое искусство. Сережа долго смеялся: кишка тонка. Думаю все-таки, что он недооценил мои кишки. Я прервал партийную работу. Я сел учиться» (т. 1, стр. 18).

В Московском училище живописи, ваяния и зодчества Маяковский познакомился с Давидом Бурлюком. Тот был лет на десять старше, с профессиональным опытом художника и поэта. Услышав первое стихотворение Маяковского, Бурлюк сумел разгадать большой талант и помог молодому поэту поверить в свои силы.

Романтические черты отрицания буржуазной культуры и ее традиций, которые были характерны для футуризма, увлекли Маяковского. И хотя у футуристов не было намерения изменить действительность и, тем более, не было революционного протеста против нее, но по своей романтической тональности футуризм совпадал с исканиями молодого поэта, жаждавшего выразить в искусстве свое революционное бунтарство. Манифест «Пощечины общественному вкусу» Маяковский подписал вместе с Бурлюком и Хлебниковым.

В автобиографии Маяковский называет Бурлюка своим учителем. «Читал мне французов и немцев. Всовывал книги. Ходил и говорил без конца... В Москве Хлебников. Его тихая гениальность тогда была для меня совершенно затемнена бурлящим Давидом»

(т. 1, стр. 20—21). Было бы неверным считать, что начинающий поэт не почерпнул у того и другого известных знаний и технических навыков в работе над поэтическим словом. Однако социальный и эстетический идеалы Маяковского были противоположны идеалам его соратников. Только после Октября он с полной ясностью, но уже ретроспективно осознал ту пропасть, которая его отделяла от тех, кого он называл своими «учителями». В автобиографии он сказал об этом: «У Давида — гнев обогнавшего современников мастера, у меня — пафос социалиста, знающего неизбежность крушения старья» (т. 1, стр. 19). Учителя молодого Маяковского в искусстве слова не были и не могли быть его подлинными духовными наставниками, а, напротив, во многом были его идеологическими противниками. В этом сложное парадоксальное положение Маяковского в период его литературного дебюта. Дружеские отношения с футуристами не изменили и ничего не могли изменить в социальном пафосе его поэзии: идейно-художественная эволюция молодого Маяковского проходила под знаком борьбы с декадентством.

Маяковского обязала быть новатором и призвала к новаторству революция. Очень немного времени прошло, чтобы осознание этого закрепилось встречей молодого поэта с Горьким. Она произошла в 1915 году и сыграла большую роль в литературном развитии Маяковского.

Услышав «Облако в штанах» и «Флейту-позвоночник» в чтении Маяковского, приехавшего к нему на дачу в Мустамяки под Петроградом, Горький был восхищен мятежным пафосом молодого поэта. Великий пролетарский писатель разглядел в своем странном и необычном госте черты того поэта, приход которого он предчувствовал и писал об этом в одном из писем еще в 1913 году: «...Русь нуждается в большом поэте. Талантливых — немало, вот даже Игорь Северянин даровит! А нужен поэт большой, как Пушкин, как Мицкевич, как Шиллер, нужен поэт и демократ и романтик, ибо мы, Русь, страна демократическая и молодая».[1]

Маяковский и явился в своих ранних поэмах поэтом-пророком революции, чье дерзкое романтическое бунтарство легко растворило и подчинило себе футуристический «эпатаж».

Входя в поэзию на гребне революционной волны 1912—1913 годов, втянутый в литературу футуристами и сразу же ввязавшийся в их литературные распри с соседними модернистскими школами,

---

[1] Дм. Семеновский. А. М. Горький. Письма и встречи. М.—Л., 1938, стр. 6.

Маяковский оказался в самой гуще того явления, которое Горький в статье «О „Библиотеке поэта“» характеризовал как «формальное возрождение русского стиха».[1] В нем смешивались разные источники. И русские фольклорные, песенные (например, у Иннокентия Анненского), казалось бы совершенно неожиданные у поэта-модерниста, и некрасовские интонации, как в книге «Пепел» Андрея Белого, и сильные влияния, которые шли с Запада. В отличных переводах Валерия Брюсова и того же Иннокентия Анненского в русскую поэзию вторгались произведения «проклятых поэтов», порожденные кризисом буржуазного общества, являвшие собой открытый вызов нормам буржуазной морали и эстетики. И рядом с ними тревожные «Обезумевшие деревни» и «Города-спруты» Эмиля Верхарна с их героической социальной патетикой, получившие у нас большую популярность.

Обращение к темам города, к индустриальным мотивам, а в области формы — к тончайшей разработке психологически-эмоциональной палитры, к «свободному стиху», отражающему в своем гибком, изменяющемся ритме каждую перемену в движении мысли и чувства, способствовало «формальному возрождению» русского стиха. Образы города в стихах Блока и Белого ввели в поэзию новые краски, использование ритмов и приемов балаганного, говорного стиха. Урбанистические темы «Адища города» у Маяковского не изолированы от урбанистических мотивов Блока и Белого. Городской пейзаж в одном из ранних стихотворений Маяковского «А все-таки» очеловечен образами страдания. Маяковский прямо говорит: я поэт людей, изуродованных буржуазным обществом, тем миром, где даже «улица провалилась, как нос сифилитика». И уже тогда иные из его друзей с удивлением различали в его поэзии какие-то чуждые футуризму ноты: «Ведь ты Некрасов, в тебе невыплаканная слеза есть!»

Вспоминая о своих юношеских подражательных опытах, Маяковский замечал в автобиографии: «Ведь вот лучше Белого я все-таки не могу написать. Он про свое весело — «в небеса запустил ананасом», а я про свое ною „сотни томительных дней“» (т. 1, стр. 18). У Белого «про свое» — это значит про «утомительный сон» всего земного и про веселую игру «на горах» с землей-планетой, куда поэт вырвался на простор.

Когда Маяковский в «Облаке в штанах» впервые по-настоящему смог написать «про свое», резко поставив в центре социаль-

---

[1] М. Горький. Собрание сочинений в 30-ти томах, т. 26. М., 1953, стр. 185.

ную тему, то его задор, с которым он предлагал небу: «Снимите шляпу!», имел принципиально иной смысл, чем пафос поэта-модерниста. И выделенный у Белого в отдельную строку «ананас» («В небеса запустил ананасом»), превращавшийся затем в «диск пламезарного солнца», мог служить контрастом к знаменитым строчкам Маяковского, возвеличивавшим человека:

Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!

У Белого «небо» символизирует, что «все земные стремления так жалки». У Маяковского «небо» измеряет величие и силу земных стремлений человека. Овладевая революционной темой, Маяковский творчески отталкивался, полемически усваивал опыт поэтов, с которыми находился на разных социальных позициях.

Герой Маяковского осознает себя «предтечей» масс, которые он хочет заразить своей верой в победу революции. У певца подвигов и доблести, древнего Гомера, «нет людей, как мы, от копоти в оспе». Современный герой выше — вот что хочет сказать поэт. Ощущение силы нового героя, растущей от слияния с массой, где каждый держит «в своей пятерне миров приводные ремни», дает возможность Маяковскому противопоставить эпосу древности новую героику, которой возвеличен каждый.

Почвой литературного развития Маяковского был сложный, разнообразный материал — от русской классической литературы, прежде всего Некрасова, поэтов «Искры» до Уитмена и тех «французов и немцев», которых ему «всовывал» Бурлюк, до Блока, Белого и поэтов-сатириконцев. Саша Черный, П. Потемкин, В. Горянский были далеки от революционных идей. Но в их стихах настойчиво повторялись темы города, улицы, власти денег, мещанского засилья. У Маяковского эти мотивы получили революционное звучание. «Между Маяковским и сатириконцами, — говорит Л. А. Евстигнеева, — шла постоянная перекличка образов, тем и художественных приемов. Однако чаще всего эта перекличка превращалась в перестрелку, ибо образы служили, как правило, противоположным целям».[1] Неправильность и перебои стиха, разрушение равномерного чередования ударных и безударных слогов, введение прозаи-

---

[1] Л. А. Евстигнеева. Развитие русской сатиры в 1907—1917 гг. и поэты «Сатирикона» (диссертация).

ческой интонации и интонаций разговорной речи — многое из того, что характерно для стиха сатириконцев, было взято ими у Блока. Период сотрудничества Маяковского в «Новом сатириконе» помог ему в усвоении всего этого опыта, в оснащении им своего сатирического мастерства.

В «Облаке» определилось уже значение того открытия, которое сделал Маяковский в области свободного интонационного стиха и особой роли в нем рифмы, как средства усиления внимания к смыслу слова. Освободив стих от заранее заданных симметричных размеров, утвердив переход от одного размера к другому и разномерность строк внутри строфы в местах особой смысловой значимости (это явление намечалось уже и в классическом стихе), Маяковский противопоставил убаюкивающе-напевному стиху эпигонов символизма неровный ударный ритм, соответствующий революционному пафосу поэмы. В «Облаке» словарь рифм раздвинулся за счет использования фонетических свойств русского языка. И в этом же духе действовали неологизмы Маяковского. И если далеко не все они оказались художественно оправданными и удержались в поэзии Маяковского, то в наиболее характерных для его стиля моментах они чрезвычайно расширили и усилили возможности художественного изображения.

Все эти принципы, заложенные в «Облаке», развернулись, «дозрели», очистились от излишеств и крайностей в новом, мощном русском стихе, созданном Маяковским уже в советскую эпоху.

8

Поэма «Облако в штанах» в рукописи имела другое название — «Тринадцатый апостол». Название ироническое и патетическое в одно и то же время, кощунственное на фоне евангельской легенды о двенадцати апостолах и в то же время возвышающее образ поэта — предтечи революции. О первоначальном названии этой поэмы Маяковский вспоминал на вечере в Доме комсомола Красной Пресни: «Когда я пришел с этим произведением в цензуру, то меня спросили: «Что вы, на каторгу захотели?» Я сказал, что ни в коем случае, что это ни в коем случае меня не устраивает. Тогда мне вычеркнули шесть страниц, в том числе и заглавие...» (т. 12, стр. 436).

Заменив его другим, автор ничего, конечно, не изменил в главном — в пафосе своей поэмы, не изменил своей позиции или романтической позы поэта — пророка революции.

В своем отрицании действительности, в своем стремлении показать горестную судьбу человека при капитализме Маяковский шел от живого, непосредственного ощущения революционного протеста масс. На этом пути крупной вехой стала поэма «Война и мир» («мир» подразумевался в значении «вселенная» и, по старой орфографии, писался через десятиричное i), созданная в 1916 году. Окружающая действительность вызывала у поэта потоки бурных чувств и мыслей, переполнявших его страстным желанием сказать о них людям. «Война и мир» — самая конкретно-историческая из предоктябрьских поэм Маяковского. Ее идейный пафос и образный строй рождены осознанием ужаса бессмысленной бойни, нарастающим возмущением масс против войны, решительным отказом поэта быть на стороне «своего» правительства в этом чудовищном человекоистреблении. Маяковский обличал связь этой войны с интересами господствующих классов:

Врачи
одного
вынули из гроба,
чтоб понять людей небывалую убыль:
в прогрызенной душе
золотолапым микробом
вился рубль.

В изображении картины войны поэт стоит над схваткой в том смысле, что на все происходящее он смотрит откуда-то из вселенной. Эта точка зрения дает художнику возможность охвата огромного исторического содержания в обобщенных образах. «И взвился в небо фейерверк фактов, один другого чудовищней». Маяковский развертывает панораму мучений человека — «безрукого огрызка кровавого обеда», обманутого богом, которого призвали себе в подмогу империалисты всех мастей. «Никто не просил, чтоб была победа родине начертана», — провозглашает поэт от имени жертв войны. В потрясающей картине поля битвы, где «на сажень человеческого мяса нашинковано», физиологичность многих образов и деталей заставляет острее почувствовать романтическую иронию в изображении ужасов войны. Потрясенный войной, раздавленный горем, которое она несет людям, Маяковский искал выход в своего рода абстрактном гуманизме. В жертвенности находил он утоление боли: «. . .каюсь: я один виноват в растущем хрусте ломаемых жизней!» А страстная социалистическая мечта молодого поэта создавала в заключительной части поэмы утопическую картину всеобщего мира

Не указывая путей и средств выхода из войны, поэма Маяковского тем не менее была пронизана такой горячей, светлой верой в торжество гордого, свободного человека, таким яростным отрицанием собственнического мира, что она не могла не оказывать прямого революционизирующего действия на сознание современников. «Война и мир» была прямым, произнесенным во весь голос высказыванием поэта по основному вопросу момента, протестом против империалистической войны. Третья глава поэмы, содержащая в себе наиболее резкое разоблачение несправедливости этой войны, должна была появиться в горьковской «Летописи», но была запрещена военной цензурой.

Концовка поэмы «Война и мир» как бы прямо направлена была на героя и тему следующей поэмы, названной Маяковским по-горьковски — «Человек»:

И он,
свободный,
ору о ком я,
человек —
придет он,
верьте мне,
верьте!

Однако в поэме «Человек» герой сдавлен в тисках, в «плену» капитализма. Есть в развитии ее образов безнадежность, исступленное отчаяние. Эти мотивы выступают с тем большей силой, что открывается поэма восторженным гимном человеку — его красоте, мощи, безмерным возможностям творчества. Прием использования образов евангельской легенды, как и в «Тринадцатом апостоле», здесь продолжен в повествовании о жизни человека и «повышен» до аналогии с религиозным мифом о рождении Иисуса Христа — неслыханный по кощунственной дерзости замысел на фоне декадентской эстетики, проникнутой религиозным мировоззрением.

«В небе моего Вифлеема никаких не горело знаков...» — объявляет поэт, возвеличивая рождение человека, и с озорным вызовом атеиста и материалиста восклицает: «Если не человечьего рождения день, то черта ль, звезда, тогда еще праздновать?!» Поэт восхищается и дивится человеком, преображающей силой его фантазии: «Это я сердце флагом поднял. Небывалое чудо двадцатого века! И отхлынули паломники от гроба господня. Опустела правоверными древняя Мекка». Но появлением человека «встревожено логово банкиров, вельмож и дожей». Повелитель Всего, хозяин

золота, грубый и самодовольный, отнимает у человека последнее, что у него осталось, — любовь. С ужасом видит герой, что его любимая «в святошестве изолгалась», поклоняется Повелителю Всего. Автор заставляет своего героя оставить земную жизнь. Пребывание героя на небе показано с тем же спокойным, скептическим или ироническим отношением к «ангелам» и к «богу», что и в картине вознесения убитого солдата в «Войне и мире». Человека возвращает на землю тоска по любимой. Но здесь, на старой земле, все осталось по-старому. В бешеной погоне за рублем, которую направляет капитал — Повелитель Всего, человек со своей любовью чувствует себя лишним.

Трагизм любви воплощает трагедию всякого подлинно человеческого чувства в буржуазном обществе. Лирический герой поэмы не находил себе места на земле, стонущей под игом капитализма, с горькой иронией подводил итог:

Тысячью церквей
подо мной
затянул
и тянет мир:
«Со святыми упокой!»

Трагическую ноту сняла революционная перспектива, открывшаяся перед Маяковским после падения самодержавия. В своей «поэтохронике» «Революция» Маяковский как бы подхватывает концовку «Человека»:

Довольно!
Радость трубите всеми голосами!
Нам
до бога
дело какое?
Сами
со святыми своих упокоим.

В художественном методе Маяковского до Октября революционный романтизм окрашивал собой всю ту критику капитализма, которая была пафосом его раннего творчества. Революционные поэмы Маяковского включались в широкий историко-литературный процесс становления социалистического реализма в русской дооктябрьской литературе. Социалистическая революция сыграла решающую роль в переходе Маяковского к новому творческому методу.

4

Февральскую революцию Маяковский встретил, будучи на военной службе в Автошколе. Помог ему туда устроиться М. Горький, заботившийся о молодом поэте, о том, чтобы у него были условия для продолжения литературной работы, — Горький группировал в это время литературные силы вокруг задуманного им нового журнала «Летопись». Маяковский нашел в Автошколе среду, которая, как и он, жила ожиданием близкой революции. В его «Поэтохронике», написанной вскоре после свержения самодержавия, говорит радость. В открывшейся великой перспективе поэт увидел избавление от мук, терзавших его в «Человеке».

Это над взбитой битвами пылью,
над всеми, кто грызся, в любви изверясь,
днесь
небывалой сбывается былью
социалистов великая ересь!

Так заканчивалась «Поэтохроника», удивительно точное по ощущению исторического момента, реалистическое по конкретным деталям, восторженно-романтическое по своему предвосхищению светлого завтра произведение Маяковского, где впервые взгляд в будущее был осознанием тенденций действительности, а не прорицанием «тринадцатого апостола».

И если поэту было еще неясно, какими путями пойдет революция к своему окончательному торжеству, если он рисовал величественную перспективу всеобщего мира как нечто предопределенное, а не как программу борьбы, то перспектива нарастания, углубления революции намечалась уже в этом произведении, созданном после свержения самодержавия. Поэт не сомневался в том, что Февральская революция лишь «первый день рабочего потопа». В этом сравнении можно различить зерно образа, из которого впоследствии выросла «Мистерия-буфф».

В апреле 1917 года стала выходить в Петрограде организованная Горьким газета «Новая жизнь», постоянным сотрудником ее стал Маяковский. Там была напечатана его «Революция», там же появилось и стихотворение «К ответу!».

Это стихотворение, обращенное к рядовому участнику войны, разоблачающее империалистов всех стран, посылающих «своих» и «чужих» солдат на гибель «только для того, чтобы кто-то разжился Албанией», «чтоб кто-то к рукам прибрал Месопотамию», показывает, что Маяковский расстался с восторженными иллюзиями чудес-

ного наступления всеобщего мира, которые еще проявились в его «поэтохронике». Маяковский ставил вопрос о войне, как его ставили большевики, как ставил Демьян Бедный в стихотворении «Приказано, да правды не сказано», появившемся тогда же, в первые дни августа, в большевистской газете «Рабочий и солдат» и вызвавшем, как и стихотворение Маяковского, раздраженные нападки буржуазно-меньшевистской печати.

«Август... Ухожу из „Новой жизни“», — пишет в автобиографии Маяковский (т. 1, стр. 24). Он почувствовал фальшь в двойственной позиции газеты: с одной стороны, она выступала против империалистической войны, а с другой — призывала поддерживать «заем свободы» империалистического Временного правительства. Маяковский чувствовал приближение «последнего решительного боя» и хотел в нем участвовать.

Победа Октября была воспринята им как увенчание многолетней героической работы партии, с которой он породнился в юные годы и привык считать своею. «Моя революция», — пишет поэт в автобиографии. «Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня (и для других москвичей-футуристов) не было» (т. 1, стр. 25). Выражение «Моя революция» в устах Маяковского имеет буквальный характер, смысл его такой же, как, скажем, моя семья. С первых дней Октября поэт чувствовал себя вместе с рабочим классом. «Пошел в Смольный. Работал. Все, что приходилось», — эти скупые слова главки «Октябрь» в автобиографии как бы продолжают тему главки «Партия»: «Пошел к булочникам, потом к сапожникам и, наконец, к типографщикам». Понятно, что для него не было вопроса «Принимать или не принимать?», который стал источником мучительных переживаний и колебаний в среде даже той части старой интеллигенции, которая держалась нейтрально. В конце 1918 года он был уже автором «Мистерии-буфф» и «Левого марша», в которых выступил глашатаем дерзаний Октябрьской революции, певцом советского патриотизма и интернационализма.

Выше было отмечено, что в поэтохронике «Революция» впервые появляется образ: «Это первый день рабочего потопа». В «Нашем марше», написанном в ноябре 1917 года, есть строка: «Мы разливом второго потопа перемоем миров города». Образы библейской легенды устойчиво связывались в сознании поэта с разливом революционных событий. Маяковский нашел в этом образе зерно сюжета для первой советской пьесы «Мистерия-буфф». А. В. Луначарский, встретивший ее очень сочувственно, писал, что сюжетом «Мистерии-буфф» стало «веселое символическое путешествие рабо-

чего класса, после революционного потопа постепенно освобождающегося от своих паразитов, через рай и ад в землю обетованную, которая оказывается нашей же грешной землей, только обмытой революционным потопом, и на которой все «товарищи вещи» ждут с нетерпением своего трудящегося человека».[1]

Монументальный собирательный образ рабочего класса и его партии в пьесе отвечал задаче Маяковского дать «героическое изображение нашей эпохи».

Если, определяя задание своей «Мистерии-буфф», Маяковский характеризовал его так: «Это наша великая революция, сгущенная стихом и театральным действием», то в «Левом марше» с большей силой осуществились принципы «сгущения» стихом главных черт героического характера, созданного революцией. Необычайная смелость передовых бойцов Октября — именно эта черта определяет романтический образ героев «Левого марша» с первой строфы и до последней, получая дополнение в другой черте — железной дисциплине, необходимость которой с особенной силой диктуется трудностями, переживаемыми социалистической революцией.

С кем же был Маяковский в литературной среде, которая начинала складываться после победы Октября? Он внимательно и дружески присматривался к молодым рабочим-поэтам Пролеткульта. Разделяя с ними восторженную веру в торжество пролетарской революции и принимая некоторые черты характерного для них стиля образной патетики, он видел в них будущих соратников, которые нуждаются в профессиональном руководстве и помощи. Однако теоретики Пролеткульта насаждали сектантство, провозгласив поэтов Пролеткульта творцами особой, небывалой, неизвестно откуда выскочившей «пролетарской культуры». Они доказывали, что только пролетарий по происхождению может создавать истинные ценности пролетарской культуры: «...примыкающая к нам интеллигенция мыслить с нами, а если нужно и за нас, может, чувствовать же — нет...»[2]

Эта постановка вопроса предопределила отношение пролетарской литературной организации к Маяковскому: с нами, но не наш. Тогда Маяковского это смешило — очень уж нелепы были претензии пролеткультовцев, незначителен их литературный опыт. В дальнейшем, когда эта позиция была воспринята РАППом, она стала источником конфликтов, а потом и «болей, бед и обид».

---

[1] «Петроградская правда», 1918, 5 ноября.
[2] «Грядущее», 1918, № 10, стр. 17.

Пролеткультовцев не одобрял Горький, пытавшийся, по свидетельству Федина, во время одной из встреч с ними объяснить восторженным сектантам, что «создание новой культуры — дело общенародное. Тут следует отказаться от узкоцехового подхода». [1]

В конце 1918 года в опустевшем, голодном Петрограде стала выходить газета Отдела изобразительных искусств Наркомпроса «Искусство коммуны», в которой Маяковский — почти в каждом номере — выступал со своими бодрыми, звонкими стихотворными передовицами на темы искусства. Газета была, по существу, органом футуристов, с упоением приобщившихся к руководству искусством и претендовавших на своего рода «захват» государственной власти в искусстве. «Довольно шагать, футуристы: в будущее прыжок!» — призывал Маяковский в «Приказе по армии искусств». Для товарищей Маяковского по газете «Искусство коммуны» «прыжок в будущее» означал прежде всего эксперимент в области формы. Октябрьскую революцию они приветствовали, увидев в ней трамплин для такого прыжка, возликовав от того, что многие художники-реалисты, в том числе и «увешанные звездами старцы», оказались пассивными или активными противниками происшедшего социального переворота. Футуристы решили, что пришло время для осуществления их мечты, что революция совершилась для них, для ничем не ограниченного эксперимента в области «левого» искусства. «Искусство коммуны», желая продемонстрировать свою «левизну» и развенчать индивидуализм, выступало против ленинского плана «монументальной пропаганды»:

«Самая идея ставить памятники великим героям революции не вполне коммунистическая идея. Героев нет, тем более великих героев. Время героического понимания истории безвозвратно прошло... обожествленную личность мы овеществляем в материал посредством скульптуры, и вот здесь-то личный героизм дает себя знать с самой скверной стороны... форма реалистического овеществления личности изжита...» [2]

Это путаное рассуждение, «отрицавшее» и роль личности в истории, и реализм, было, по существу, вывороченным наизнанку буржуазным индивидуализмом. Но Маяковский тогда еще не разобрался в истинном смысле «левой» футуристической фразы. Она казалась ему крайне революционной.

---

[1] Константин Федин. Горький среди нас. М., 1943, стр. 25—26.

[2] «Искусство коммуны», 1919, 9 марта.

Следы этой путаницы сказались в его поэме «150 000 000», которую Маяковский задумал в 1919 году и закончил в 1920 году. Маяковский хотел поставить в центре образ миллионов. Обрушиваясь на буржуазный индивидуализм, Маяковский еще не был, однако, подготовлен к тому, чтобы нарисовать реалистическую картину борьбы и творчества масс. Стремясь изобразить размах революции, Маяковский в начале поэмы увидел Ленина во главе миллионов и написал о том, как вождь направлял движение революционного смерча, «раскачивая» сердце революции. Но, по-видимому, опасаясь упреков в «разжигании индивидуального героизма», через несколько страниц поэт заявляет:

Не Ленину стих умиленный.
В бою
славлю миллионы,
вижу миллионы,
миллионы пою.

Не прошло и двух-трех месяцев после окончания этой поэмы, как в стихотворении, написанном в апреле 1920 года в связи с пятидесятилетием В. И. Ленина, поэт отбросил «опасения», прозвучавшие в поэме, и посвятил Ленину не «умиленный», а горячий, полный любви стих, вырвавшийся из самого сердца:

Я знаю —
не герои
низвергают революции лаву.
Сказка о героях —
интеллигентская чушь!
Но кто же
удержится,
чтобы славу
нашему не воспеть Ильичу?

«Интеллигентская чушь» взглядов мелкобуржуазных революционеров, противопоставлявших «героев» — «толпе», еще не была тогда достаточно разоблачена, — в разоблачении ее, в полемике с буржуазным индивидуализмом была одна из сильных сторон «150 000 000». А анархиствующие «леваки» из «Искусства коммуны» упраздняли «личный героизм», пытались обезличить массу. Эти футуристические влияния обусловили существенные недостатки поэмы Маяковского. Однако для своего времени и как звено в

идейно-художественном развитии поэта и всей советской поэзии «150 000 000» имели большое значение. В этой поэме былинный богатырь Иван воплощает образ русского народа, вступающего в единоборство с мировым капитализмом в лице американского президента Вудро Вильсона.

По своему идейному пафосу поэма Маяковского оказалась в центре историко-литературного процесса, отразившего собирание сил молодой советской литературы вокруг идеи России-родины. Величие прошлого России было в глазах Александра Блока залогом еще более великого будущего и в его «Двенадцати», и в его статьях об интеллигенции и революции, и в «Скифах». Обращение Маяковского к теме России в «150 000 000» отвечало общим для литературы тенденциям утверждения образа новой родины, чья мощь неодолима, потому что это мощь правды, сила передовых идей. Не была исключительной и попытка Маяковского использовать традиционную форму былины для того, чтобы создать образ богатыря — советского народа. «Старая былина на новый лад» Демьяна Бедного была опубликована в «Правде» в начале 1919 года — к первой годовщине Красной Армии. Заморские богатыри рубят со всего плеча русских воителей, а сила их — разрубленных надвое — после каждого налета удваивается. Этот былинный прием по-своему претворяется у Маяковского: Вильсон разрубает Ивана, из которого лезут живые люди.

В полном согласии с традиционными былинными гиперболами, рисующими богатыря, который скачет «выше лесу стоячего, чуть пониже облака ходячего», шагает по волнам Атлантического океана и

на берег выходит Иван
                    в Америке,
                              сухонький,
                                        даже ног не замоча.

Гипербола, присущая стилю Маяковского, опиралась теперь на приемы фольклорной поэтики. Поэт стремился преодолеть тот отвлеченный характер, которым страдали иные его фантасмагории в дооктябрьский период творчества. Ивана нельзя запереть в «блокаду-клетку», как нельзя запереть правду. Маяковский сатирически изображает ужас вооруженной до зубов буржуазии перед обезоруживающей силой передовых идей. Вообще сатирические главы, посвященные Америке, гораздо более реалистичны, чем «русские» главы. Портрет Вудро Вильсона — великолепный памфлет, включав-

ший политический материал по самым острым вопросам современности, — в известной мере продолжает старую сатирическую манеру Маяковского. В изображении американского президента есть общие черты с образами капиталистов в сатирических стихах Маяковского, с образом Повелителя Всего в «Человеке». Однако прежние художественные приемы сочетаются здесь с новыми, идущими от былинных образов Идолища поганого или Соловья-Разбойника. Не щадя красок в изображении силы врага, Маяковский подготовлял воображение читателя и слушателя к тому, чтобы по-настоящему оценить ум и силу, ловкость и отвагу Ивана — русского богатыря, представляющего стопятидесятимиллионный советский народ. Маяковский правдиво отразил и оптимизм, присущий массам, поднявшимся на борьбу, и с большой художественной силой воспел хвалу революционному народу в его безмерном самопожертвовании.

Поэт имел основание, подытоживая в 1919 году свой творческий путь в книге «Все сочиненное Владимиром Маяковским», сказать, имея в виду задуманную им поэму «150 000 000»: «Оставляя написанное школам, ухожу от сделанного и, только перешагнув через себя, выпущу новую книгу» (т. 12, стр. 16). Но, как уже было отмечено, футуристические влияния во многом еще сковывали шаг поэта. В поэме с полемической запальчивостью отрицалась роль классического наследия, произвольное фантазирование приводило к ложному отождествлению общественных явлений и явлений природы, избыток отвлеченных приемов или, употребляя позднейшее выражение Маяковского, «самоценных виньеточных образов» отвлекал внимание читателя от идеи, от содержания.

Маяковский послал «150 000 000» В. И. Ленину с дарственной надписью: «Товарищу Владимиру Ильичу с комфутским приветом» и подписями своих друзей «коммунистов-футуристов».

По воспоминаниям Луначарского, Ленин «нашел эту книгу вычурной и штукарской».[1] Он высказал свое отношение к поэме и к футуризму в двух записках — А. В. Луначарскому и М. Н. Покровскому, написанных во время заседания Совнаркома 6 мая 1921 года. Протестуя против издания «150 000 000» в 5000 экземпляров, В. И. Ленин писал: «По-моему, печатать такие вещи лишь 1 из 10 и *не более 1500 экз.* для библиотек и для чудаков». И о том же в другой записке: «Условимся, чтобы не более 2-х раз в год печатать этих футуристов и *не более 1500 экз.*».[2]

---

[1] А. Луначарский. Ленин и литературоведение. М., 1934, стр. 113—114.

[2] «Коммунист», 1957, № 18, стр. 76—77.

Маяковский нащупывал дорогу к демократическому искусству, и, собственно, об этом он заявил в первой же строфе поэмы, в которой он хотел «перешагнуть через себя»: «150 000 000 мастера этой поэмы имя... 150 000 000 говорят губами моими...» Но он еще видел путь к революционному искусству в футуризме, надеясь с его помощью взорвать ложные авторитеты буржуазных «метров», в особенности — акмеистов из петроградского «Цеха поэтов», которые пытались насаждать даже среди молодых пролеткультовцев принцип «искусства для искусства». Характерно, что в «Приказе по армии искусств № 2», появившемся, вероятно, не позже конца 1921 года, Маяковский уже обрушивается на «футуристиков», ставя их в один ряд с представителями модернистских течений:

Это вам —
прикрывшиеся листиками мистики,
лбы морщинками изрыв, —
футуристики,
имажинистики,
акмеистики,
запутавшиеся в паутине рифм.

Отдав дань футуризму в своих «150 000 000», что серьезно ослабило идейный смысл и художественное значение этого произведения, Маяковский все же с большой силой передал в нем стихийную революционную активность масс, «штурмующих небо». Пытаясь обосновать целесообразность издания поэмы Маяковского и дать объяснение в ответ на критические замечания Ленина, нарком просвещения на обороте его записки сообщал, что «такой поэт, как Брюсов, восхищался и требовал напечатания 20 000... при чтении самим автором вещь имела явный успех, притом и у рабочих».[1]

В поэзии Маяковского «150 000 000» были первой попыткой создания героического эпоса. Опираясь на традиции народного творчества, широко используя романтические приемы повествования, поэт впервые поставил перед собой задачу нарисовать развернутую картину жизни и борьбы революционного народа. Но по отношению к поэмам «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!», ставшим классическими, эту первую пробу сил поэта в большом эпическом повествовании можно считать своего рода экспериментом. Маяковский

---

[1] Цит. по ст.: Е. И. Наумов. Ленин о Маяковском (Новые материалы). — «Литературное наследство», т. 65, стр. 210.

полностью выключил из состава художественных факторов поэмы образ автора: «...этой моей поэмы никто не сочинитель». Как известно, первое издание поэмы вышло анонимно. «Печатаю без фамилии. Хочу, чтоб каждый дописывал и лучшил. Этого не делали, зато фамилию знали все», — писал поэт в автобиографии (т. 1, стр. 26). Этого не делал в дальнейшем и сам автор, вернувшийся к лирическому «я», к индивидуальному образу «сочинителя», без которого не может быть понято общее, историческое.

5

К числу тех эпизодов в творческой биографии Маяковского, которые делают фигуру поэта легендарной, относится и его работа в РОСТА. Поражает уже самый объем работы. Чувство удивления было у самого поэта, когда впоследствии он вспоминал об этом времени в автобиографии: «Дни и ночи Роста. Наступают всяческие Деникины. Пишу и рисую. Сделал тысячи три плакатов и тысяч шесть подписей» (т. 1, стр. 26).

Но поэт не хотел, чтобы удивлялись, так сказать, физической трудности, только физической трудности срочной, кропотливой, не знавшей отдыха, «в голоде, холоде и наготе» выполняемой работе-обязанности, для которой, собственно, и не требовалось такого таланта, какой был у Маяковского. Нет, это было именно нужно такому таланту, как Маяковский. И поэт позаботился о том, чтобы здесь не получилось недоразумений, написав, что его ростинские стихи были работой «большого словесного значения», очищавшей «наш язык от поэтической шелухи на темах, не допускающих многословия» (т. 12, стр. 208). Отмечая недостатки этих стихов, обусловленные срочностью задания и отсутствием времени «на продумывание формальной стороны работы», поэт указывал, что это «сознательное временное приспособление слова имело и свои положительные результаты — очищение языка от туманной непонятности, сознательный выбор, поиск целевой установки» (т. 12, стр. 119).

Конечно, меньше всего думал Маяковский о том, что требования, которые предъявлялись к ростинским текстам, окажутся полезной «тренировкой» для его будущей поэтической работы. «Мы работали без установки на историю и славу» — вот это гражданское чувство долга, партийное чувство ответственности — сознательный выбор, поиск целевой установки — проявилось с полной отчетливостью в работе Маяковского в РОСТА и утвердилось в его поэзии.

«Умри, мой стих, умри, как рядовой, как безымянные на штурмах мерли наши». Пожалуй, это обращение из поэмы «Во весь голос» относится прежде всего к «рядовым» стихам РОСТА, в которых, по характеристике самого поэта, «диапазон тем огромен: агитация за Коминтерн и за сбор грибов для голодающих, борьба с Врангелем и с тифозной вошью, плакаты о сохранении старых газет и об электрификации...» (т. 12, стр. 206).

В «Окнах РОСТА» задача донести лозунги партии до массы сочеталась с народностью поэтической формы, с острой творческой выдумкой. В решении этой задачи Маяковскому помог опыт Демьяна Бедного, чьи подписи под плакатами, сатиры на врагов и на недостаточно стойких представителей самой массы трудящихся, вроде «храброго Митьки-бегунца», издевательские «манифесты» Юденича и барона фон Врангеля приобрели огромную популярность.

Маяковский называл свои подписи к «Окнам РОСТА» «вторым собранием сочинений». От этого «второго собрания сочинений» тянутся к первому многие нити-переклички тем, образов, выражений. В ростинских стихотворениях Маяковского наиболее существенным было соприкосновение с самой жизнью: важно было не только поэтическое оформление задания в соответствии с его целевой установкой, но прежде всего осознание самой жизненной потребности, которая его вызвала. Об этом драгоценном опыте своего непосредственного участия словом в строительстве жизни, в обороне родины Маяковский всегда говорил с большой теплотой: «Пусть вспоминают лирики стишки, под которые влюблялись. Мы рады вспомнить и строки, под которые Деникин бежал от Орла» (т. 12, стр. 205).

В течение двух с половиной лет, отданных работе в РОСТА, Маяковский почти не писал стихов другого типа. Исключением является знаменитое «Необычайное приключение...», написанное летом 1920 года, — разговор поэта с солнцем, где солнце в ответ на жалобу поэта, «что-де заела Роста», неожиданно сравнивает свою должность — «А мне, ты думаешь, светить легко?» — с должностью поэта.

Работа в РОСТА подготовила Маяковского к развертыванию сатиры в период нэпа. Если раньше его сатира была обращена почти исключительно на врагов внешних, включая и «всяческих Деникиных», то теперь Маяковский переносит «огонь на себя», на собственные наши недостатки. Так возникло замечательное стихотворение «Прозаседавшиеся» — одно из первых сатирических обобщений поэта, привлекшее внимание В. И. Ленина. «...Давно я не

испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и административной, — говорил Владимир Ильич по поводу «Прозаседавшихся» 6 марта 1922 года, выступая на коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов. — В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они всё заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно...»[1]

Поэт был глубоко и радостно взволнован отзывом Ленина, поддержка которого пришла как нельзя более своевременно. Истолкование, которое получило стихотворение Маяковского в ленинской речи, утверждало действенное значение сатирической работы Маяковского, раскрывало ее обобщающее значение.

6

«Из России нэповской будет Россия социалистическая», — уверенно провозгласил Ленин в своем последнем публичном выступлении на пленуме Московского Совета 20 ноября 1922 года.[2]

Преодоление «России нэповской» означало в области идеологии усиление борьбы с новоявленными героями мещанства, которые оказались очень активными. Восстановительный период выдвинул в центр общественного внимания вопросы быта. Во множестве стали появляться статьи и брошюры, в которых обсуждались такие темы, как «От старой семьи к новой», «Семья и обрядность», «Любовь и ревность» и другие «вопросы-сфинксы», как они названы в одном из обзоров этого рода книг в начале 1923 года.

В поэме Маяковского «Про это», законченной в феврале 1923 года, нельзя не увидеть отклик на эти вопросы, которые с особенной остротой встали в условиях нэпа. «По личным мотивам об общем быте» — так определил поэт в автобиографии свою задачу.

Поэма «Про это» стала важной вехой на творческом пути Маяковского, подступом к завоеваниям новых идейно-художественных высот в его творчестве. Объясняя значение поэмы, Маяковский говорил: «У нас неоднократно указывалось, что в то время, как по линии экономической и политической мы стоим на твердой почве, в области быта мы еще середка на половинку, чаще всего погрязли

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 33, стр. 197.
[2] Там же, т. 33, стр. 405.

в самом старом мещанском быту» (т. 12, стр. 283). «Про это» — поэма кризисная, поскольку борьба нового со старым в душе самого героя полна трагических перипетий, силы прошлого кажутся герою непреодолимыми. В «Про это» очень важна сатирическая линия: высмеивая, казня пережитки прошлого в общем быту и в самом себе, герой выходит из кризиса и открывает для себя оптимистическую перспективу.

Подобно тому как в «Облаке в штанах» Маяковский обрушивал на капитализм свой крик «Долой вашу любовь!», теперь «Долой!» обрушивается на нэповское мещанство. Но если прежде за этим следовало «Долой ваш строй!» — в этом автор видел выход и для любви, — то теперь положение коренным образом менялось. Маяковский видит спасение только в «нашем краснофлагом строе», веря в то, что его всемогущество распространяется и на область личных чувств и отношений: «Му́ку мою конфискуй, отмени». Но препятствием встает все, что «в нас веками рабства вбито». Невозможно сразу выкорчевать то, что сложилось веками. В этом трагизм поэмы «Про это».

Самая «фантастическая реальность» событий, из которых складывается сюжет, как бы подчеркивает предельную остроту проблемы, перед которой жизнь поставила героя. В силу каких-то сложных отношений, остающихся за пределами поэмы, он разлучен с любимой и чувствует себя в своей комнате, как в тюрьме. Чувство «скребущейся ревности» превращает героя в медведя. «Медведь» страдает, плачет. Слезы — вода. Эта ассоциация разрастается в образ реки. Начинается любовный бред-галлюцинация. Он на «льдине-подушке» плывет по Неве и узнает себя в «человеке из-за 7 лет», герое поэмы «Человек», тоже в свое время отвергнутом любимой. Со страниц поэмы раздается крик о помощи: «Спасите! Там на мосту, на Неве, человек!» Герой обращается ко всем встречным с мольбой помочь человеку на мосту. Никто его не понимает. Он с ужасом убеждается, что и в нем самом, а не только в окружающих не выкорчеваны пережитки прошлого. Поэт врывается в мещанскую квартирку, где справляют Рождество. «Все так и стоит столетья, как было». Но вот — новость:

Маркс,
впряженный в алую рамку,
и тот тащил обывательства лямку...

С ненавистью, которая сообщает особую силу его сатирическим краскам, рисует Маяковский картину собственнического уюта

с его паутиной квартирной, с геранями в кадочках, с декадентским «Островом мертвых» Беклина.

В зловещей мещанской рамке предстает в «Про это» образ героини. Образ не укладывается в эту рамку, разрывает ее. Человеческая любовь невозможна в мире приобретателей, как невозможны в нем красота и добро. Поэт бережно и твердо отделяет «Ее» от ужасного соседства гостей — «воронов», от буржуазной обыденщины. «Только б не ты», — молит поэт, не желая отдавать любимый образ на съедение мещанству, льнущему к «Ней» и предъявляющему на «Нее» свои права. В полубреду-полусне герой видит себя на колокольне Ивана Великого. Снизу против него «идут дуэлянты»: «Ты враг наш столетний. Один уж такой попался — гусар!» Но чудесным образом «окончилась бойня» — поэт жив. Герой-победитель плывет на борту созвездия Большой Медведицы, горланя «стихи мирозданию в шум». Ковчег пристает к окну его комнаты, откуда началось его фантастическое путешествие.

Заключает поэму «Прошение на имя...» — выход в мечту, программа будущего. Маяковский рисует высокий идеал любви-созидания, утверждающей себя в «соревновании с миром». Личное исключительное чувство поэт возвеличивает как могучий фактор единения человека с человечеством:

Чтоб не было любви — служанки
замужеств,
                похоти,
                        хлебов.
Постели прокляв,
                        встав с лежанки,
чтоб всей вселенной шла любовь...

«Прошение на имя...» развернуло замечательную поэтическую программу этики любви — не может человек быть счастлив для себя одного, даже в таком исключительном чувстве. В дальнейшем творчестве Маяковского — в стихотворении «Письмо о сущности любви» — мысль о творческой силе любви — соревновании с миром отлилась в знаменитую строфу:

Любить —
                это с простынь,
                                бессонницей рваных,
срываться,
                ревнуя к Копернику,

его,
а не мужа Марьи Иванны,
считая
своим
соперником.

«Про это» — произведение очень большой глубины и философской насыщенности. Маяковский нашел удивительные образные средства, используя свои любимые приемы гиперболы и реализации метафоры, чтобы передать реальную силу чувств человека советской эпохи, чья любовь «пограндиознее онегинской любви». В образе ее героя поэт вел разговор с самим собой, решал проблему общего и личного. Старое, то есть индивидуалистическое противопоставление любви миру, было уже отброшено, однако новое, то есть любовь как соревнование со всем миром, еще не утвердилось, не восторжествовало в его творческом самочувствии. Это и был кризис. Маяковский вышел из него и в своем «Прошении на имя...» повел за собой читателя, открыв перед ним великолепную оптимистическую перспективу.

Маяковский считал «Про это» для себя вещью «наибольшей и наилучшей обработки». Заслуживает внимания, что свою знаменитую «лесенку», то есть ступенчатую разбивку строк стиха, Маяковский впервые нашел и установил в «Про это». Нельзя, однако, не отметить, что в послеоктябрьском творчестве поэта это произведение является наиболее трудным для понимания, не раскрывается с первого чтения, и ряд мест продолжает вызывать противоречивые толкования. По-видимому, усложненность ассоциаций в некоторых эпизодах поэмы обусловлена необходимостью для автора адекватной передачи тех противоречивых психологических состояний, которые переживает герой «Про это». В тонком анализе трех вариантов рукописей поэмы З. С. Паперный показал, как в процессе работы Маяковский «освобождался от мелодраматичности, от налета «ужасного», «чудовищного», «страшного», идя ко все более глубокому раскрытию внутреннего драматизма повествования».[1]

«Про это» — свидетельство гневной самопроверки человека нового мира, борца за социализм, свидетельство победоносного выхода из противоречий в борьбе между новым и старым, утверждения идеала любви против осквернения ее мещанскими пережитками.

---

[1] З. С. Паперный. Маяковский в работе над поэмой «Про это» (Три рукописи поэмы). — «Литературное наследство», т. 65, стр. 282.

В письме-дневнике начала 1923 года, когда писалась эта поэма, Маяковский осознавал: «На мне... за время бывших плаваний нацеплено миллион ракушек-привычек и пр. гадости...»

Этот образ встречает нас во вступлении к поэме «Владимир Ильич Ленин»:

Люди — лодки.
Хотя и на суше.
Проживешь
свое
пока,
много всяких
грязных ракушек
налипает
нам
на бока.

7

Поэма «Владимир Ильич Ленин» знаменовала новый этап в художественном развитии Маяковского. Поэт уверенно утверждался на позициях нового творческого метода. Создавая образ Ленина, Маяковский давал свое решение образа человека социалистической эпохи, решение глубоко индивидуальное, в котором особенности стилевой манеры Маяковского-художника раскрылись в своем наиболее сильном выражении.

Известно, что практика Маяковского-художника опережала его эстетические взгляды, вступала в прямое противоречие с теориями его художественного кружка. Выдвигая совместно со своими соратниками по Левому фронту искусств (Лефу) эстетическую программу, в которой многое было действительно революционным, плодотворным, а многое несло на себе печать футуристических догм, Маяковский не стоял на месте и не укладывался в собственные декларации.

Одним из положительных моментов эстетической концепции Лефа был тезис о содержательности формы: лефовцы хотели разоблачать эпигонство в художественной форме. Но в решении этой задачи проявились все софизмы теоретиков Лефа: отказ от развития классического наследия, которое якобы может повредить формированию сознания человека социалистического общества, как явление классовой культуры, отказ от искусства вообще, поскольку оно обращено по преимуществу к эмоциям, а в социалистическом

обществе, где план господствует над стихией, эмоции оттесняются разумом. Искусству приходит конец, оно превращается в «производство вещей».

Группа Леф и журнал того же названия, организованные в 1923 году, имели двойственное значение для развития советской литературы. Лефовский схематизм ограничивал формальными канонами и предрассудками литературного салона новаторский размах Маяковского. А с другой стороны, без друзей, влюбленных в его поэзию, безгранично преданных ему и веривших в него, Маяковскому было бы труднее утвердить себя и определить свое место в том большом литературном движении, которое породила начавшаяся эпоха культурной революции. Вокруг Маяковского объединились такие талантливые поэты, как Асеев, Пастернак, Кирсанов, Третьяков, критики Брик и Шкловский. С Лефом были связаны такие мастера искусства, как Мейерхольд, Эйзенштейн, Довженко, Шостакович, Кукрыниксы. Маяковский увлекал и своих друзей-лефовцев и широкие круги художественной интеллигенции на пути идеологической перестройки, овладения современной темой, участия своим творчеством в формировании нового общества и воспитании советских людей.

Это был период, когда жизнь литературы строилась в форме литературных групп, а борьба между ними отражала острые классовые столкновения в стране. В 1920-х годах литературные группировки помогали партии осуществлять политическое руководство художественной литературой, они содействовали дифференциации и перевоспитанию художественной интеллигенции, обнажали в ходе литературной борьбы подспудные идеологические процессы.

В середине 1920-х годов кристаллизовалась и ассоциация пролетарских писателей — РАПП, сыгравшая известную роль в сплочении молодых революционных сил литературы, закаляя их в идейной борьбе с буржуазными влияниями, которые усилились вместе с нэпом. В дальнейшем РАПП стал мешать развитию советской литературы, противопоставляя пролетарских писателей «попутчикам». Рапповское руководство вообразило себя «властью» в литературе и усвоило тон команды по отношению к другим литературным группировкам. «Звание «пролетарские» нося, как эполеты», — высмеивал Маяковский заносчивость рапповцев, с которыми, однако же, он и Леф поддерживали дружеские отношения и выступали единым фронтом против литературных группировок, проповедовавших внеклассовость литературы, подобно возглавляемому А. Воронским «Перевалу».

Маяковский стремился отстоять такой путь развития литера-

туры, на котором она вторгалась бы в жизнь, становилась оружием идейной борьбы, средством воспитания человека коммунистического общества.

«Голосует сердце — я писать обязан по мандату долга», — признается поэт во вступлении к поэме, которая была создана под непосредственным впечатлением смерти В. И. Ленина, потребовала от автора огромной мобилизации творческих сил.

Если партийное общественное мнение, газеты и массовый читатель горячо приняли новую работу Маяковского, почувствовав в ней «новый курс» поэта, как было сказано в одной из газетных заметок, то профессиональная литературная критика, которая в ту пору отражала мнение литературных группировок, отнеслась к ней очень сдержанно. Рапповцы, хотя и оценили поэму сочувственно, были очень далеки от того, чтобы понять масштаб ее как литературного явления. Кроме того, в их отношении к Маяковскому была ревность: они считали его «попутчиком», а по этому своему литературному паспорту он не имел права на авторство поэмы о Ленине. Им неприятен был тот успех, который выпал на долю Маяковского, читавшего свою поэму в рабочих аудиториях. «Отношение рабочей аудитории обрадовало и утвердило в уверенности нужности поэмы», — пишет поэт в автобиографии (т. 1, стр. 27). Рапповцы не поддержали Маяковского, потому что для них он был не свой: «с нами, но не наш». Даже среди лефовцев не было единого отношения к новой работе Маяковского, хотя первая часть поэмы была напечатана в журнале «Леф». Увлечение формалистическими теориями мешало многим из них воспринять реализм поэмы.

Между тем, с точки зрения развития творческого метода Маяковского, глубокий реализм поэмы о Ленине придает ей подлинно этапное значение. Это с особенной ясностью ощутимо, если сопоставить поэму со «150 000 000». В более ранней поэме Маяковскому было свойственно романтическое восприятие, которое помогало ему образно воплотить страстную мечту о торжестве социализма, но сама действительность здесь представала в однобокой и во многом отвлеченной картине. Сила Ивана в поэме не подтверждена, не раскрыта конкретно-исторически. В образе Ивана нет ни прошлого, ни настоящего, а только будущее — «Россия вся единый Иван». В «150 000 000» Иван

Идет,
    начиненный людей динамитом.
Идет,
    всемирной злобой взрывчат.

Этому собирательному образу нельзя отказать в выразительности. Но как «начинился» Иван «людей динамитом», как распалился «всемирной злобой» против угнетателей — это остается за пределами образных представлений автора. Снявшиеся «с якорей» целые губернии, прущие напролом, несметные «миллионы безбожников, язычников и атеистов», воплотившиеся в Иване, хотя и создают некий символ, но не складываются в реалистический образ разбуженного от векового сна народа. В новой поэме образ органический рождается из движения истории.

Бился
об Ленина
темный класс,
тек
от него
в просветленьи,
и, обданный
силой и мыслями масс,
с классом
рос Ленин.

Поэтическим свидетельством зрелости исторического мышления автора поэмы о Ленине является и написанное в этот период в связи со 125-летием со дня рождения Пушкина знаменитое «Юбилейное». Это поэтическая декларация величайшего уважения и любви к Пушкину, к наследию русской классической литературы, традиции которой претворялись поэтом революции в поэме о вожде.

В автобиографии Маяковский писал: «Я очень боялся этой поэмы, так как легко было снизиться до простого политического пересказа» (т. 1, стр. 27). Конечно, поэма не могла быть только «мемуарной», не могла свестись к взволнованному повествованию о том, чему был свидетелем сам поэт, принимавший вместе с миллионами людей участие в проводах Ленина, стоявший у его гроба, присутствовавший на съезде Советов, где М. И. Калинин объявил о смерти Ленина. Вся эта автобиографическая и лирическая линия была необходимой. Но сама тема была глубоко исторической. Без обращения к истории революции, к обстоятельствам подготовки и проведения Октября решить проблему создания образа вождя было невозможно. И вот здесь легко было «снизиться до простого политического пересказа фактов». Нужно было открыть в них новое, художественно обобщить, создать картину движения истории, действующими лицами которой были народ, партия, Ленин. Автобиогра-

фическое и историческое в поэме взаимосвязаны, взаимопроникают, Ленин-политик и Ленин-человек неотделимы. Создавая образ «самого земного», «самого человечного человека», Маяковский понимал громадную ответственность перед историей. На конференции пролетарских писателей он говорил в начале 1925 года: «Когда я читал Воронскому свою поэму о Ленине, то он подчеркнул, что мало мест, где сквозит мое «личное». «Вас, — говорил он, — мало, вы не дали нам нового Ленина». Я ему ответил, что нам и старый Ленин достаточно ценен, чтобы не прибегать к гиперболам, чтобы на эту тему не фантазировать о каких-то новых вещах» (т. 12, стр. 268).

Любопытно сопоставить с этим «фантазирующий» принцип, характерный для «150 000 000»:

А нам
не только, новое строя,
фантазировать,
а еще и издинамитить старое.

«Долгая жизнь товарища Ленина» рассказана в поэме как история революции, рассказана страстно, вдохновенно, — здесь проявился весь опыт автора художника-агитатора, трибуна. Для образного мышления Маяковского органична публицистическая направленность. Своеобразием публицистического образа является открытая авторская тенденциозность. Страстно любящий и страстно ненавидящий, поэт демонстрирует свое отношение к тому, о чем идет речь, и этим достигает индивидуализации образа. Маяковский, владея искусством публицистического образа наряду с другими формами образности, не придавал особого значения портретности, хотя всегда добивался верной передачи сущности лица и облика события. На его публицистических страницах, дающих, например, «капитализма портрет родовой», сталкиваются злость и восторг, презрение и вера в победу, так что иногда достаточно простого упоминания имени лица или указания на событие, чтобы увидеть почти реально и то и другое, — увидеть через отношение к нему автора. Страстное утверждение права поэта «атакующего класса» на публицистику насытило эмоцией емкие, непревзойденные по точности поэтические формулы, обогатившие, как пословицы, речь советских людей. Партия и Ленин — «близнецы-братья» — предстали в его поэме как живые герои эпоса, родные дети одной «матери-истории».

Особую роль играют в поэме лирические отступления. Подобно тому как гимн партии упреждает исторический ход событий (о партии как о силе, направляющей стройку, говорится в лирическом отступлении, прерывающем рассказ о 1905 годе), так, лишь забегая далеко вперед, в осуществленный коммунизм, автор получает возможность измерить масштаб исторической личности Ленина:

И оттуда
на дни
оглядываясь эти,
голову
Ленина
взвидишь сперва.
Это
от рабства десяти тысячелетий
к векам
коммуны
сияющий перевал.

Лирическое отступление обеспечивает дистанцию обобщения. Чем герой или событие значительнее, тем и расстояние, на которое надо отойти, чтобы увидеть, охватить его, должно быть больше. Лирические отступления по их функции в поэме Маяковского о Ленине, может быть, правильнее было бы назвать лирическими *опережениями.* С их помощью создается дистанция для эпоса.

Действительность будущего, или, как ее называл Горький, «третья действительность», всегда присутствует в повествовании Маяковского о современности. С помощью лирического опережения Маяковский создавал *воспоминание настоящего,* исключительно важное для художника, который пишет с натуры, чтобы «отцедить» типическое.

Эти особенности художественного метода, проявившиеся в поэме о Ленине, подчеркивают ее своеобразие как произведения социалистического реализма.

Огромной эмоциональной и художественной силы поэма достигает в финале третьей части, где дана эпическая картина всенародного горя и победы над смертью — победы идей ленинизма. Маяковский рисует улицу в день похорон В. И. Ленина, как бы отчитывается перед потомством, бросая взгляд из будущего на настоящее: «...день векам войдет в тоскливое предание». Это опять воспоминание настоящего. Тишина — вот образный подтекст кар-

тины. Тишина на улицах днем, тишина, несмотря на то, что на улицу вышли миллионы людей, и поэтому слышно: «То мужеством горе, то детскими вызвенит». Тишина и медленное движение, направляемое медленным амфибрахием траурного марша: «Прощай же, товарищ, ты честно прошел...» Дважды повторяется слово «плывущий», и это усиливает беззвучность движения: «...гроб этот красный, к Дому Союзов плывущий на спинах рыданий и маршей» и еще: «Знамен плывущих склоняется шелк...» Поэт воссоздает незабываемые детали — свидетельства народной любви, проявляющейся в отказе от всякого внешнего выражения ее, в достойном порядке, величавой организованности «тоски человечьей».

Мороз небывалый
жарил подошвы.
А люди
днюют
давкою тесной.
Даже
от холода
бить в ладоши
никто не решается —
нельзя,
неуместно.

«Мороз небывалый», и опять же небывалая тишина, которая говорит выразительнее самых громких слов. В тишайшем проявлении чувства, в самодисциплине — залог силы тех, кто идет за гробом Ленина, кто пойдет по указанному им пути.

Трудность задачи художника после картины похорон Ленина была в том, чтобы из глубин скорби, из оглушения болью поднять слушателя и читателя к осознанию, что Ленин «и сейчас живее всех живых». Вместе с болью приходит сознание, что это чувство общее у всего народа, что общность боли говорит о силе ленинских идей, об их бессмертии и, значит, не о смерти, а о жизни. Так органически происходит перелом, исчезает чувство сиротства. Жива партия, в нее вливается подкрепление сотен тысяч «от станка горячих — Ленину первый партийный венок».

Красная площадь оживает огромным полотнищем, «с каждой складки» которого живой Ленин призывает пролетариев мира к восстанию, к «великой войне» против своих угнетателей.

Так заканчивается поэма. Если картина всенародного горя встречает читателя в начале поэмы в лирических признаниях автора

и развертывается в третьей части, то внутри этого «кольца» и заключен «про Ленина рассказ» — история его жизни и борьбы. Это построение отвечало логике эмоций современника, диктовалось непосредственной реакцией поэта на событие, которое потрясло его вместе со всем народом.

Создавая образ Ленина, поэт не поступался ничем в своей творческой оригинальности, но и не держался за те художественные приемы и изобразительные средства, в которых сказывались издержки его прежних исканий. «Я себя под Лениным чищу. . .» — этот морально-политический принцип отразился и на художественных критериях — в языке, в требовательном отборе изобразительных средств. В поэме о Ленине Маяковский широко использовал политическую лексику. При этом важно отметить, что слова, обозначавшие новое в жизни, политическую основу Октября, такие как «партия», «пролетариат», «класс», Маяковский поднял до самой высокой степени поэтического, сделав их главными звеньями образных ассоциаций, вершинными выражениями мысли и чувства: «Хочу сиять заставить заново величественнейшее слово — партия». Вводя в стих «неизящное слово» политической лексики, Маяковский не просто пользовался термином, поэт добивался его звучания, как «могучей музыки». Так, слово «класс» появляется рядом со словом «причаститься», лишенным религиозного значения, но связанным с благоговейным приобщением к моральной святыне. И поэтому «класс» не только политический термин, но чувство — «великое чувство»:

сильнее
и чище
нельзя причаститься
великому чувству
по имени —
класс!

В поэме о Ленине ощущается бóльшая, чем раньше, осмотрительность в лексике, особенно в неологизмах. Их выразительную мощь Маяковский обрушивает на враждебный мир в сатирических строках поэмы. Варианты строф, сохранившиеся в записных книжках, свидетельствуют о напряженном труде над каждой строфой и строкой, поэт добивался максимальной содержательности, простоты и выразительности формы произведения, которому предпосланы были обязывающие слова: «Российской Коммунистической партии посвящаю».

Приведем из записной книжки поэта варианты строк о Ленине и партии, ставших ныне крылатыми, взятых эпиграфом к современной биографии В. И. Ленина:

Первый вариант: «Мы говорим — партия, думаем — Ленин».
Второй вариант: «Говорят — партия, подразумевается — Ленин».

И вот окончательный текст, в котором из первого варианта взято личное местоимение множественного числа, придающее активный характер высказыванию, а из второго — драгоценное слово «подразумеваем»:

Мы говорим — Ленин,
подразумеваем —
партия,
мы говорим —
партия,
подразумеваем —
Ленин.

Поэма Маяковского о Ленине не реквием — это поэма бессмертия и победы жизни.

24 октября 1924 года Маяковский читал поэму активу Московской партийной организации и был горячо встречен аудиторией. Вскоре он выехал в Париж, рассчитывая получить визу для поездки в Америку. В бумагах Маяковского сохранился экземпляр поэмы, убористо переписанный на пишущей машинке как прозаический текст, без разбивки на стихотворные строчки и без заглавия. В таком виде рукопись легче было провести через границу, укрыть от глаз жандармов и сыщиков.

С этой поэмой Маяковский мог выступить и быть понятым трудящимися в любой столице мира и в самом глухом уголке, мог осуществить то кругосветное путешествие, которое он давно задумал.

8

«Полпред стиха» выступал за границей с чтением поэмы о Ленине и других своих произведений, рассказывал о жизни Советского Союза, о расцвете советской культуры. Маяковский не раз покидал пределы Советского Союза, чтобы по возвращении, обогащенный контрастными впечатлениями, с еще большей силой утверждать поэтическим словом чувство советского патриотизма. Мая-

ковский побывал в Латвии, Польше, Чехословакии (тогда еще буржуазных странах), в Германии, во Франции (в 1922, 1924, 1925, 1927, 1928 и 1929 годах). Во время пребывания в Париже летом 1925 года Маяковскому удалось получить визу в Мексику, с которой только что были установлены дипломатические связи (между СССР и США тогда дипломатические отношения еще не были налажены). Наше консульство в Нью-Йорке помогло поэту получить приглашение в США. После трехнедельного пребывания в Мексике Маяковский выехал в Нью-Йорк, куда прибыл в конце июля. В Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Детройте и других городах США Маяковский выступал с чтением стихов, лекциями о советской литературе. Встречи поэта с массовой аудиторией русской секции рабочей партии Америки развернулись с особой интенсивностью именно в эту американскую поездку. Поэма о Ленине заняла центральное место в поэтической программе этих вечеров. По возвращении Маяковский продолжал свои выступления, эту, как он пишет в автобиографии, «прерванную традицию трубадуров и менестрелей» (любопытно, что «менестрелем» Маяковский был назван в «Нью-Йорк Таймс», вырезку из которой поэт привез с собой).

Из заграничных поездок Маяковский умел извлекать, несмотря на относительно краткие сроки, богатый материал познания жизни, который питал его стихи и очерки на зарубежные темы. Но в особенности плодотворным в творческом отношении оказались его поездки в США и во Францию, давшие «американский цикл» и цикл стихов о Париже, который поэт иногда называл «поэмой».

В «американском цикле» выделяются стихи о Нью-Йорке. Почти все они написаны во время пребывания автора в США. Многие были опубликованы в советских журналах «Огонек» и «Прожектор» еще до возвращения поэта на родину.

Попав в Нью-Йорк, город небоскребов, где архитектурная сущность современного города доведена до предела или до абсурда, Маяковский отдал восторженную дань величию и мощи американской техники. Но вскоре восторженное удивление уступило место трезвому вглядыванию в ускользающие от поверхностных впечатлений стороны жизни, в изнанку будней, в подоплеку тех изощренных форм эксплуатации человека человеком, которые составляют основу американского капитализма. Архитектура — след от движения истории. В образе Нью-Йорка Маяковский сумел показать архитектурный ансамбль города в ансамбле истории, в разрезе битвы классов, передать ощущение «полпреда» нового мира, сознающего свое историческое превосходство. И все-таки еще силен старый мир.

Но пока
доллар
всех поэм родовей.
Обирая,
лапя,
хапая,
выступает,
порфирой надев Бродвей,
капитал —
его препохабие.

Так заключает Маяковский стихотворение «Вызов». Поэт дал американскому капитализму (да разве только американскому?) имя-кличку — «его препохабие», соединив в неологизме, созданном по типу «его преподобие», два мотива — бесстыдство и ханжество господствующего класса. Советского поэта оскорбляет, возмущает в этом мире поруганное достоинство человека, в особенности бесправие женщины. Негритянке-матери, продающей себя подгнившему мистеру Свифту ради семьи и получающей вместе с долларами страшную болезнь, посвящено одно из самых скорбных стихотворений американского цикла. А вот другая героиня — из стихотворения «Барышня и Вульворт». В окне громадного магазина на главной улице Нью-Йорка семнадцатилетняя девушка «сидит для рекламы и точит ножи, ржавые лезвия фирмы „Жиллет"». В этой ситуации — поэт стоит перед окном и мысленно обращается к девушке: «Выйдь, окно разломай, — а бритвы раздай для жирных горл» — истоки двух метафорических рядов, переплетающихся в образной ткани стихотворения. Ножи «Жиллет» и «мысли-ножи» классовой борьбы. И второй метафорический ряд — разговор через стекло, искажающее то, что хочет внушить девушке поэт. Маяковский заканчивает стихотворение, развертывая первую метафору:

Как врезать ей
в голову
мысли-ножи,
что русским известно
другое средство,
как влезть рабочим
во все этажи
без грез,
без свадеб,
без жданий наследства!

В американском цикле есть ряд стихотворений, в которых Маяковский восторгается тем, что создано трудом народа-созидателя. Он воспел Бруклинский мост в стихотворении, ставшем гимном техническому гению человека. Поэт смотрит на город небоскребов «с поднебесья... сквозь Бруклинский мост» и заявляет: «Я горд вот этой стальной милей...»

Издай, Кулидж,
радостный клич!
На хорошее
    и мне не жалко слов.
От похвал
    красней,
        как флага нашего материйка,
хоть вы
    и разъюнайтед стетс
        оф
Америка.

В этом обращении к Кулиджу, в то время президенту США, юмор самооправдания после многих горьких и негодующих стихотворений по поводу теневых сторон американского образа жизни. Юмористически звучит уже то, что президент должен краснеть от похвал, и его румянец сравнивается с цветом советского флага. Юмор и в том, что к английскому слову-эпитету «юнайтед» приделана сугубо русская приставка «раз» — «разъюнайтед». Юмор, наконец, и в том, что строка «На хорошее и мне не жалко слов» рифмуется с вполне бессмысленным для русского языка предлогом «оф», выпадающим в русском переводе, но здесь, с помощью так называемого «переноса», подчеркивающим выделенное в отдельную строку слово «Америка».

Когда Маяковский прочел это стихотворение перед одной из многочисленных рабочих аудиторий в Нью-Йорке, кто-то с балкона бросил: «Не забудьте, товарищ Маяковский, что с этого же моста часто безработные бросаются в воду!» Поэт принял поправку: «Здесь жизнь была одним — беззаботная, другим — голодный протяжный вой. Отсюда безработные в Гудзон кидались вниз головой...»

Конкретно-исторический подход к «натуре» сказался во всем американском цикле: поэт смотрел на чудеса американской техники из будущего, то есть с точки зрения советского художника, чувствующего «третью действительность» — завтра своей родины. Восхищаясь величием небоскребов, динамикой уличной жизни и свето-

вой феерией реклам, поэт не был всем этим оглушен и ослеплен. Вот заключительная строфа стихотворения «Бродвей»:

Я в восторге
от Нью-Йорка города.
Но кепчонку
не сдерну с виска.
У советских
собственная гордость:
на буржуев
смотрим свысока.

В американском цикле есть одна существенная особенность поэтического языка. Поэт широко пользуется иноязычными выражениями, которые приобретают в русской транскрипции большую экспрессивную роль. В стихотворении «Бруклинский мост» мы уже обращали внимание на приставку «раз» к английскому слову «юнайтед», с помощью которой Маяковский придал этому слову русский лад. Почти всегда он ставил иноязычные слова и выражения в конец строки, как наиболее важные в смысловом отношении, обусловливая ими свою рифмовку: «Мек моней?» — в звоне, элевейтер — ветер, бизнесом — из носу, собвей — обвей, осовел — Максвелл, ди ласт дроп — дробь, гау ду ю ду — дойдут («Бродвей»), стейшен — нездешен («Свидетельствую»), Вульворт — гулево, нейшенел — бешено («Барышня и Вульворт»).

Маяковский осваивал для русского уха «английские огрызки», попадавшие у него на наиболее важные смысловые точки стиха, что придавало им нужный идеологический оттенок. Характерно, что, например, в стихотворении «Барышня и Вульворт» английские выражения рифмуются с идиоматическими, наиболее простонародно звучащими русскими: охлопана — опен, дура из дур — опен ди дор, дуру еловую — ай ло́в'ю. Развивая в своей рифмовке, так же как и во многих удачных, художественно оправданных неологизмах, не только дух, но, если можно так выразиться, и «плоть» русского языка, поэт расширял его диапазон в художественных целях.

Стилистическое назначение иноязычных «инфильтратов» у Маяковского почти исключительно характерологическое, помогающее обрисовке персонажа. Если бы автор дал те же слова и выражения в тексте стиха в переводе, то он утерял бы сильное изобразительное средство. Стихи обесцветились бы, не передавая национального колорита в диалоге, утратился бы и существенный оттенок значения, достигаемый контрастом рифмующихся слов. Скажем, если русская идиома звучит простонародно-резко или в то же

время ласково-грубо — «дура еловая», то рифмующееся английское выражение противопоставлено не только смыслом, но и тоном — «безукоризненно нежным» «ай ло́в'ю».

Расширяя диапазон русской рифмы за счет иноязычного материала, Маяковский не впадает в «двуязычие» и очень активно выступает против порчи русского языка иностранщиной. Он едко высмеивает искажение русского языка у людей, утративших связь с родной землей в стихотворении «Американские русские». Если выходцы из России перенасыщают речь диалектными и английскими словами, думая, что они говорят по-русски, то распространившееся в то время в СССР употребление сокращений тоже представляет порчу родного языка, от чего в свое время предостерегал В. И. Ленин.

Здесь, извольте видеть, «джаб»,
а дома «цуп» да «цус».
С насыпи
язык
летит на полном спуске.
Скоро
только очень образованный
француз
будет
кое-что
соображать по-русски.

Этот принципиальный протест против порчи русского языка, против необоснованного употребления иностранных слов, бессмысленно звучащих сокращений позволяет еще глубже осмыслить использование иноязычных выражений в стихотворениях Маяковского о загранице: это изобразительное средство утверждало и усиливало национальные формы русской поэзии.

9

В стихах о Париже также достаточно часто встречаются французские слова и выражения, имеющие ту же экспрессивную функцию, но, однако, с той разницей, что Маяковский дает их не в русской транскрипции, а по-французски. В одной из американских анкет Маяковский на вопрос о знании языков назвал французский, и хотя он не говорил на этом языке, но, по-видимому, чувствовал его

более «своим», чем английский. И самый образ Парижа в его стихах несет печать особого отношения к этому городу, хотя социальные противоречия обнажены в парижском цикле ничуть не менее остро, чем в стихах о Нью-Йорке. Казалось бы, горькое сочувствие к судьбе барышни в окне фирмы Вульворт у поэта ничуть не меньше, чем к парижанке, которая служит в уборной ресторана Гранд-Шомьер. Но образ парижанки болезненно беспокоит его «Почему не шлют вам пармских фиалок благородные мусью от полного кошелька?» В растравляющем сердце внутреннем диалоге поэта можно прочитать ответ на вопрос, поставленный выше. Нью-Йорк, город без традиций, удивляет Маяковского, в то время как Париж, с его громадной, близкой России революционной и культурной историей — по выражению Маяковского, «столица столетий» — возбуждает любовь.

Стихи о Париже писались в результате многих поездок, возникали по разным поводам и случаям и, конечно, по-своему отражали эволюцию поэта, но в совокупности составляют нечто целое и в самом деле могут быть названы поэмой «Париж». Это поэма о напрасной, поруганной красоте. Даже в первых стихотворениях, где еще сильны предрассудки лефовского нигилизма по отношению к наследию, где поэт заявляет, что он «не дался старью на съедение», обаяние красоты оказывается сильнее лефовских тезисов. В стихотворении, посвященном Собору Парижской богоматери, поэт предлагает в будущем, когда победит революция, использовать этот знаменитый архитектурный памятник под кинотеатр, поскольку «под клуб не пойдет — темноват». Но это конечно же великолепная шутка и парадоксальная защита красоты от буржуазной пошлости.

Я вышел —
               со мной
                              переводчица-дура,
щебечет
          бантиком-ротиком:
— Ну, как вам
                    нравится архитектура?
Какая небесная готика!

Весь ход, все развитие мысли стихотворения представляет собой издевательство над пошлостью торговли искусством, над приторным елеем туристских восторгов. А истинное отношение поэта к памятнику в целомудренном восхищении его красотой: «Другие здания лежат, как грязная кора в воспоминании о „Notre Dame"». Он хо-

чет сохранить для будущего этот памятник — «прошедшего возвышенный корабль». В тоне концовки нельзя не почувствовать трезвого учета опыта Октябрьской революции:

Да, надо
быть
бережливым тут,
ядром
чего
не попортив.
В особенности
если пойдут
громить
префектуру
напротив.

Сквозь призму революции, интересов революции, целесообразности для революции воспринимает Маяковский мир, и его лефовский утилитаризм в данном случае не более как дружеский автошарж. С тем же парадоксальным издевательством над стандартными восторгами гидов и туристов, что и в «Notre Dame», с нарочитым изяществом грубости описано жилище «бесчисленных Людовиков» — знаменитый Версаль, главной достопримечательностью которого в глазах поэта оказалась... трещина от «штыка революции»:

Я всё осмотрел,
поощупал вещи.
Из всей
красотищи этой
мне
больше всего
понравилась трещина
на столике
Антуанетты.

Этой «красотище» поэт хочет противопоставить «машинный размах» стального рабочего дворца. Но и мечтая совершенно законно о новой красоте, поэт добреет к тому, над чем только что издевался:

Смотрю,
а всё же —
завидные видики!
Сады завидные —
в розах!

И этот «музейный Версаль», неотъемлемая часть Парижа, взывает о новой красоте рабочего дворца «миллионной вместимости, — такой, чтоб и глазу больно».

Красота прошлого поругана буржуазией, как и самая человеческая жизнь. Об этом говорят «Стихи о красотах архитектуры» (1928). Название несет в себе трагическую иронию, потому что стихи написаны по поводу имевшего место случая: в Венсене рухнул недостроенный дом, погибли рабочие. Министры соболезновали, а коммунисты и демонстранты были арестованы. Архитектура Парижа, действительно, красива, поэт говорит об этом без той условной иронии, которая характерна для его стихотворений о Париже 1924 года. Но все дело в том, что «этих самых дворцов творцы сейчас синеют в Венсене». В тоне глубокого раздумья поэт ставит вопрос: «мусье Париж, на скольких костях твоя покоится роскошь?» Да, «мусье Париж» и «дамы-болонки» не могут оценить красоты собственного города. О «Place de la Concorde» поэт с восхищением говорит: «Площадь красивей и тысяч дам-болонок» — и признается: «Если б был я Вандомская колонна, я б женился на „Place de la Concorde"».

В поэме о Париже, городе неоцененной красоты, с особенной силой заявляет себя тема искусства и революции. «Мне жмет. Парижская жизнь не про нас — в бульвары тоску рассыпай», — предваряет поэт свой воображаемый разговор с Верленом об искусстве, свою проповедь большого революционного искусства, которая так разобрала его собеседника: «...и вижу, зависть зажглась и горит в глазах моего натюрморта». К ним присоединяется Сезанн, — вот кому поэт может пожаловаться: «Теперь ушли от искусства вбок — не краску любят, а сан». С любовью к городу великих художественных исканий поэт заключает свое изумительное «Верлен и Сезан» славой неповторимой красоте Парижа:

Сезан
        остановился на линии,
и весь
         размерсился — тронутый.
Париж,
          фиолетовый,
                                   Париж в анилине,
вставал
          за окном «Ротонды».

Во время пребывания Маяковского в Париже в 1924 году состоялось перенесение праха Жореса в Пантеон. Деятели буржуазного

правительства Франции попытались использовать это событие, чтобы нажить политический капитал на популярности великого борца за мир, ставшего жертвой буржуазного национализма. «Товарищ Жорес, не дай убить себя во второй раз», — восклицает поэт. Образ Жореса вызывает у него революционные воспоминания, Париж для него — город Коммуны:

И снова
71-й год
встает
у страниц в шелестении.

В другом стихотворении, слыша по своему адресу нелепые сплетни белоэмигрантов, Маяковский чувствует себя оскорбленным — не за себя: «Париж, тебе ль, столице столетий, к лицу эмигрантская нудь?» О «невозможной красе» Парижа говорит поэт в стихотворении «Прощание», в котором одно сильное чувство побеждено другим, еще более сильным, и в этой борьбе чувств рождается чудесная формула — одна из самых запомнившихся в творчестве глашатая советского патриотизма:

Я хотел бы
жить
и умереть в Париже,
если б не было
такой земли —
Москва.

10

Вскоре после возвращения из Америки Маяковский, подытоживая большую заграничную поездку в стихотворении «Домой!», неожиданно пересекал эту тему другой, литературной, ставил перед поэзией — и перед самим собой — новые, огромные задачи: «Я хочу, чтоб в дебатах потел Госплан, мне давая задания на год!» Как раз в это время, в конце 1925 года, проходил XIV съезд партии, который вошел в историю как съезд индустриализации. Дебаты на съезде проходили под знаком наступления на вековую российскую отсталость, мощного развертывания промышленного строительства. Задачи этого строительного штурма Маяковский адресовал и к поэзии:

Я себя
советским чувствую
заводом,
вырабатывающим счастье.
Не хочу,
чтоб меня, как цветочек с полян,
рвали
после служебных тя́гот.
Я хочу,
чтоб в дебатах
потел Госплан,
мне давая
задания на́ год.
Я хочу,
чтоб над мыслью
времен комиссар
с приказанием нависал.
Я хочу,
чтоб сверхставками спе́ца
получало
любовищу сердце.

После возвращения из Америки Маяковский создает целый цикл стихотворений, посвященных вопросам социалистической эстетики, проблемам мастерства и революционной этики писателя, его ответственности перед народом.

Среди них едва ли не самым популярным стало стихотворение «Сергею Есенину», полемическое по всему своему пафосу. «По-моему, 99% написанного об Есенине, — пишет Маяковский в статье «Как делать стихи?», — просто чушь или вредная чушь» (т. 12, стр. 96). Мещанское восприятие превращало трагедию Есенина в душещипательный романс. Маяковский выставил на первый план не слабость поэта, а то, что могло составить его силу, то, что на самом деле было в Есенине бунтующей и не сумевшей приложить себя к делу силой, ставшей источником его метаний, его страстного романтического воспевания большевизма. Маяковский выделил в образе Есенина то, что несовместимо с пессимизмом, создал образ бунтаря:

Вы ж
такое загибать умели,
что другой
на свете
не умел.

Маяковский видит в Есенине соратника, не отделяет его от «народа-языкотворца». Но «звонкий забулдыга подмастерье» оборвал свою жизнь и в предсмертном стихотворении обосновал свой поступок тем, что «в этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей». Стратегический замысел стихотворения-ответа Маяковского в том, чтобы, как он говорил, «отобрать Есенина у пользующихся его смертью в своих выгодах... выхвалить его и обелить так, как этого не смогли его почитатели, «загоняющие в холм тупые рифмы»... неожиданно пустить слушателя по линии убеждения в полной нестоющести, незначительности и неинтересности есенинского конца, перефразировав его последние слова, придав им обратный смысл» (т. 12, стр. 107—108).

Как известно, этот замысел Маяковский осуществил с большим художественным мастерством, создав одно из наиболее действенных своих стихотворений.

«Ощущению квалификации посвящено мое... стихотворение... „Разговор с фининспектором о поэзии"», — писал Маяковский (т. 12, стр. 120). Вступая в разговор на языке бухгалтерии («Говоря по-вашему, рифма — вексель») и принимая полностью эту терминологию, поэт получает возможность с тем большей убедительностью оспорить концепцию своего собеседника, согласно которой производство может существовать и развиваться, если доходы превышают расходы. Природа стиха другая, потому что «Поэзия — вся! — езда в незнаемое». С удивительным мастерством, метафорически используя вопросы официальной анкеты фининспектора, автор подходит к своей центральной мысли: поэт расплачивается за созданное им своей жизнью —

Приходит
страшнейшая из амортизаций —
амортизация сердца и души.

Нельзя преувеличить «издержки» в поэтическом производстве. Но нельзя и преуменьшить «доходы»: «...высчитав действие стихов, разложите заработок мой на триста лет!» Жизнью расплачивается поэт за поэзию, но в ней же, в поэзии, в том, что она делает для людей, — продление жизни поэта в ее земной срок и долголетие за его пределами.

Откуда же такая горячность и даже запальчивость в тоне его «Разговора с фининспектором...»? Из чувства обиды. Ведь поэт поставлен был в годы нэпа в один ряд «с имеющим лабазы и угодья». И еще один момент — чувство непризнанности в пролетарской ли-

тературной среде: на конференции РАПП в начале 1925 года — Маяковский не полноправный делегат, а гость с совещательным голосом. Однако его разговор о поэзии, «о месте поэта в рабочем строю» выше всего этого, он идет в стороне от конъюнктурной борьбы групп, идет по столбовой дороге русской поэзии.

«Разговор с Анакреоном» и «Письма о правилах Российского стихотворства» Ломоносова, «Разговор книгопродавца с поэтом» Пушкина, диалог Некрасова «Поэт и гражданин» — вот великие предшественники «Разговора» Маяковского, возбудители поэтической энергии и примеры бесстрашия «езды в незнаемое».

11

Поэма «Хорошо!», написанная Маяковским к десятилетию Октябрьской революции, вобрала в себя огромный исторический опыт народа и личный опыт поэта. Она явилась как бы продолжением поэмы о Ленине, развитием идеи Ленина о социалистическом отечестве.

В марте 1918 года в знаменитой статье «Главная задача наших дней» Ленин писал: «Мы оборонцы с 25 октября 1917 г. Мы за «защиту отечества», но та отечественная война, к которой мы идем, является войной за социалистическое отечество, за социализм, как отечество, за Советскую республику, как *отряд* великой армии социализма». [1]

В этот образ-идею Маяковский, можно сказать, вживался постепенно с первых своих произведений после Октября, еще со знаменитого «Левого марша»: «России не быть под Антантой», «Коммуне не быть покоренной». Все его заграничные стихи говорят о формировании в нем чувств патриота Советской страны, начиная с первого выезда за рубеж в буржуазную тогда Латвию. Ироническое по отношению к ее тогдашним правителям и мещанскому образу жизни, оно заканчивалось шутливым по форме, но очень знаменательным выводом: «Мораль в общем: зря, ребята, на Россию ропщем». Вплоть до ставшего знаменитым девиза американского цикла — «У советских собственная гордость: на буржуев смотрим свысока» — углублялось в поэте осознание авангардной роли его страны в истории человечества, кристаллизовалось чувство советского патриотизма. И вот «Хорошо!». Странное, необычное название для поэмы. Едва ли не впервые — наречие. Но очень точное назва-

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 27, стр. 136—137.

ние, потому что с полной определенностью заявляет о позиции автора. Нельзя его правильно понять, если не почувствовать полемичности этого названия-восклицания по отношению к тем, кто еще колеблется, для кого недостатки заслоняют главное в жизни страны.

Если в поэме о Ленине гражданское и творческое самочувствие поэта слилось в выстраданной формуле — «Я счастлив, что я этой силы частица...», то в «Хорошо!» самосознание единства личного и общего достигло высокой гармонии. Проблема интеллигенции и революции, волновавшая значительную часть писателей-«попутчиков», к которым руководство РАПП механически причисляло и Маяковского, для него не существовала. Какие силы выведены в первых главах поэмы, посвященных Октябрьскому перевороту? Крестьянство (мужики в солдатских шинелях), рабочие во главе с Лениным и партией, с одной стороны, и буржуазия во главе с «временными», вынесенными на поверхность волнами революции властителями — с другой. Тема интеллигенции в этой широкой и красочной картине борьбы занимает очень небольшое и подчиненное место. Полемизируя с поэмой А. Блока «Двенадцать», Маяковский, как это уже не раз отмечалось в критике, идет в русле ее стилевых приемов, создавая образ крестьянской стихии. Но у Маяковского весь «этот вихрь... прибирала партия к рукам». Очевидна разница в изображении «вихря» и «метели» у Блока, разница идеологическая в трактовке одних и тех же явлений действительности.

В первой, собственно исторической части поэмы, которая писалась по заданию Малого оперного театра в Ленинграде и должна была быть театрализована, более ощутим драматизм конфликтов, более отчетливо чувствуется установка на речевую характеристику действующих лиц. Во многих эпизодах значительное развитие получила собственная речь персонажей, например Керенского, Милюкова, широко, по-театральному, развернуты сцены между Милюковым и Кусковой, диалог-спор на злободневную политическую тему между монархистом штабс-капитаном Поповым и неким «адъютантом», очень выразительны монолог товарища из «военной бюры», по-видимому на солдатском большевистском собрании, реплики безымянных героев в эпизоде штурма Зимнего.

Образ самого автора возникает только в ночной встрече с Александром Блоком вскоре после победы Октябрьского восстания, хотя голос автора постоянно слышится.

В главах 9—19 историческая живопись оттесняется автобиографическими эпизодами, о чем сам автор заметил в автобиографии:

«...введение для перебивки планов фактов различного исторического калибра, законных только в порядке личных ассоциаций...» (т. I, стр. 201). Героем поэмы, все чаще выступающим на первый план, становится автор: «Мне легше, чем всем, я — Маяковский, сижу и ем кусок конский». Огромной выразительности это единство личного и общего достигает в лирических отступлениях, которые, как на крыльях, поднимают факты различного исторического калибра к широким ассоциациям идеи советского патриотизма.

Углубление реализма в «Хорошо!» ощутимо, в частности, и в большем внимании к конкретной детали — здесь сказывается то, что поэт определял в автобиографии как «ограничение отвлеченных поэтических приемов». Эта эволюция стиля Маяковского, выразившаяся в пластическом изображении лиц и событий, особенно ощутима в исторических сценах, например в эпизоде штурма Зимнего. «Бушлаты, шинели, тулупы» врываются в комнату, куда забились тринадцать министров Временного правительства. «Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время».

Обнажение каламбурного смысла официального названия правительства буржуазии — «Временного правительства» — было ходовым в разговорном языке народных масс в 1917 году. Есть все основания думать, что Маяковский опирался на этот факт. Но самая сцена с обращением матроса к министрам: «Слазь!», конечно, рождена творческим воображением поэта. Это именно тот случай, когда художник в конкретных деталях воплощает смысл действительности.

Обращение к бытовым деталям, к реальным подробностям, помогающим создать пластический облик героя и события, «зарисовать» его, намечалось уже в поэме о Ленине. В Октябрьской поэме эти краски в палитре Маяковского приобретают гораздо большее значение. В строфе, открывающей штурм Зимнего, обычность городского пейзажа в исторический день 25 октября 1917 года выделена и подчеркнута: «Дул, как всегда, октябрь ветрами... за Троицкий дули авто и трамы». В этом каламбурном сближении разных значений одного и того же слова — литературного и просторечного, в использовании разговорного «трамы» — выступает обыденность фона-погоды и жизни города. Обыденность подчеркнута неожиданным сравнением социального характера: «Дул... октябрь ветрами, как дуют при капитализме». Этим контрастным единством исторического и бытового создается динамическая перспектива образа в пейзаже дня, которому суждено было стать историческим. Метафорическое использование конкретной детали позволяет свободно и органически в той же картине штурма Зимнего переходить к из-

любленной Маяковским сквозной метафоре, в данном случае — наводнения, революционной стихии (в поэме о Ленине сквозная метафора составляет одно из главных ее изобразительных средств). В Октябрьской поэме Маяковский-художник насытил публицистический образ пластическими деталями, укрепил метафорическое видение мира опорой на метафорически использованную бытовую деталь.

Распространение, расширение значения факта до метафоры, метафорическое использование бытовой детали и автобиографического переживания лежит в основе и лирических отступлений «Хорошо!». «Изобретение приемов для обработки хроникального и агитационного материала» — так на бедном языке лефовской теории «фактографии» определяет Маяковский одну из своих художественных задач в Октябрьской поэме. Но разве же это «хроникальный и агитационный материал»? «Не домой, не на суп, а к любимой в гости две морковинки несу за зеленый хвостик». Или о том, как поэт поделился с сестрой щепоткой соли: «Рядом мороз шел и рос. Затевал щекотку — отдай щепотку. Пришла, а соль не валится — примерзла к пальцам». Да, это автобиографично: «— Здравствуй, Володя! — Здравствуй, Оля! — Завтра новогодие — нет ли соли?» Но можно ли характеризовать как «хроникальный материал» эти трогательные, сказочно-поэтические детали, мастерски ограненные юмором и светящиеся оптимизмом? Это детали быта, в метафорическом строе поэмы они превращаются в факты исторического значения, согретые кровью сердца, в котором «громада любовь, громада ненависть». Подземная река лирики выходит на поверхность раздумьями, которые от главы к главе становятся все резче, все обличительнее по отношению к «странам тучным»:

В лицо вам,
толще
свиных причуд,
круглей
ресторанных блюд,
из нищей
нашей
земли
кричу:
— Я
землю
эту
люблю! —

Усиливающаяся градация изобразительных средств отражает сосредоточенность чувств и помыслов народа: «Держали взятое да так, что кровь выступала из-под ногтей». И дальше неожиданный и очень точный для эпохи рождения нового общества образ родины-ребенка, контрастно дополняющий образ «матери-истории» в поэме о Ленине у Маяковского, и общепоэтический образ «матери-родины», обновляющий этот традиционный образ чертами ответственности за будущее. Защищать землю социализма как отечество, «вынянчить» ее — это значило отстоять будущее не только своей родины, но и всего человечества. Чувство патриотизма выступало как чувство всемирного братства трудящихся. В Маяковском, авторе Октябрьской поэмы, оно нашло своего выразителя и певца.

Заключает поэму ликующая глава — «и жизнь хороша, и жить хорошо». К ней относится замечание поэта в автобиографии: «Иронический пафос в описании мелочей...» Почему «иронический»? Немало писалось тогда стихов, которые ложной патетикой оказенивали великую тему. Маяковский боялся выспренности. Право на прямое выражение чувства — «Радуюсь я — это мой труд вливается в труд моей республики» — покупалось именно ироническим пафосом в описании мелочей: «Лампы сияют. Цены снижены», или «Сидите, не совейте в моем Моссовете», или по поводу венского восстания в июле 1927 года, когда рабочие подожгли здание суда, — «Суд жгут. Зер гут». В последнем случае определяющее слово всей главы, повторенное по-немецки, звучит смешно и лихо — дело идет уже не о «мелочи». Великолепным лубком дана важнейшая политическая тема — союз города и деревни: «Сидят папаши. Каждый хитр. Землю попашет, попишет стихи». Здесь ирония по поводу сусального изображения деревни у некоторых крестьянских писателей расчищает дорогу для высокого пафоса:

Другим
странам
по сто.
История —
пастью гроба.
А моя
страна —
подросток, —
твори,
выдумывай,
пробуй!

«Моя страна», «мой труд», «мои депутаты», «моя милиция меня бережет», «сеют, пекут мне хлеба» — перехватив у скептиков их иронию, Маяковский утверждал рост личности нового человека, хозяина, творца социализма. Эта лирическая философия слияния «моего» и «общего» оказала влияние на развитие всей советской поэзии.

В работе над «Хорошо!» Маяковский не был «фактографом», подчиняя свое автобиографическое, свои воспоминания, рассказы друзей и знакомых и редкие в его практике обращения к печатным источникам задаче создания обобщенных образов. «Воспаленной губой припади и попей из реки по имени „Факт"», — призывал он во вступлении к своей поэме. Река эта текла в будущее, впадала в море, которое называлось Коммунизм. Маяковский встречал факты взглядом из будущего. В этом была суть его реализма — «не на подножном корму, не с мордой, упершейся вниз». В этом был источник несокрушимого оптимизма его «Хорошо!».

12

Маяковский своими произведениями принимал непосредственное участие в штурмовых атаках революционного авангарда, говорил «хорошо!» новому, коммунистическому в жизни. Он был в числе первых художников слова, воплотивших небывалое историческое содержание, которое внесла в человеческие отношения победа Октябрьской революции. «Первые случаи имеют исторический интерес», — отметил Н. Г. Чернышевский. Маяковский вошел в культуру советской эпохи как великий русский поэт-новатор, в творчестве которого новое историческое содержание утвердило себя в адекватной художественной форме. Автор «Ленина» и «Хорошо!» создал образы непреходящего художественного значения, принципиальные для искусства социалистического реализма, поскольку это образы положительных героев, эстетически утверждающие идеалы социалистического общества.

Он рисовал советских людей как борцов за будущее, ничего не приукрашивая, не смягчая тех действительно неимоверных трудностей, которые им приходилось преодолевать. В знаменитом стихотворении «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» суровый реализм слит со светлой романтикой. «Сидят впотьмах рабочие, подмокший хлеб жуют. . .» И каждый, кто читал в то время — в начале первой пятилетки — эти прямые, резкие строки, говорил себе: да, это правда. Но кто хотел знать всю правду, должен был

прислушаться к тому, что говорили между собой «впотьмах» рабочие в стихотворении Маяковского: «Мы в сотни солнц мартенами воспламеним Сибирь», и еще: «Через четыре года здесь будет город-сад». Говорили, каждый как бы с самим собой, но это был «шопот гордый», — замечает поэт. Вот в этом была вся правда, рождавшая у поэта, трезво видевшего наши трудности и недостатки и реалистически изображавшего их, гордую романтическую веру в «третью действительность», действительность будущего, «когда такие люди в стране советской есть».

Такое активное слияние реализма и романтизма, когда художнику по плечу «тащить вперед понятое время», чувствуя направление движения истории, и выражалось в искусстве социалистического реализма, одним из первых классиков которого стал Маяковский. В своей замечательной статье «Как делать стихи?» поэт сумел отделить творческий метод, общий для всего искусства социалистического реализма, от многообразия индивидуальных стилей и способов «технической обработки слова».

Если в стихотворении о людях Кузнецкстроя Маяковский поддержал дух людей в борьбе за их мечту своей лирикой, то в пьесе «Баня» той же задаче должна была послужить сатира, сатира предвидения, или, может быть лучше сказать, сатира романтическая: Чудаков изобретает машину времени для переброски лучших людей в век коммунизма, а главначпупс Победоносиков воздвигает на пути изобретателя стену бюрократизма.

В автобиографии, называя «Хорошо!» «программной вещью», поэт указывает на замысел поэмы «Плохо». Маяковский был новатором и в области сатиры, был одним из первых советских поэтов, которым пришлось отстаивать право на сатиру против тех, кто считал, что в советских условиях «сатира на себя» ничего, кроме вреда, не может принести. «Ленин смотрел на возможность сатиры в советских условиях иначе, чем Блюм» (известный в то время театральный критик. — *В. П.*), — говорил Маяковский на диспуте «Нужна ли нам сатира», вспоминая препятствия при опубликовании «Прозаседавшихся» (т. 12, стр. 512).

Если у Маяковского вслед за «Хорошо!» возник замысел поэмы «Плохо», то ближайшим материалом для последней могла быть его работа в «Комсомольской правде» в 1926—1929 годах, где он развернулся как сатирик. Та самая «сатира на себя», которая была основана на углублении самокритики, начинала свое восхождение в годы первой пятилетки. Маяковский в «Комсомольской правде» прокладывал один из самых крутых ее маршрутов. Он отправлялся в поход не один. Из дискуссий на страницах «Комсомольской прав-

ды» по самым злободневным вопросам жизни и быта молодежи — будь то борьба с алкоголизмом или с мещанским накопительством, с неграмотностью и бескультурьем, с равнодушием хозяйственников к рабочему изобретательству или с плохим качеством советских товаров — рождались проблемные стихи о качестве советского человека, бичующие и возвышенные, трезвые и страстные, выплавлялись поэтические формулы советского общежития, афоризмы житейской мудрости, веселые и едкие. Новый подъем его сатирической работы, напоминает поэт, продолжает дело, начатое давно:

Всем известно,
что мною
дрянь
воспета
молодостью ранней.
Но дрянь не переводится.
Новый грянь
стих
о новой дряни.

Поэт отмечает изменение типа советского мещанина, выработку им приемов приспособления к советскому строю, особых уловок, масок. Он пристально рассматривает разновидности одного и того же общественного явления, стремясь классифицировать их в «сравнительной зверологии», по его выражению, в пьесе «Клоп», которая и выросла из материалов и стихов в «Комсомольской правде». В одном из «разговоров-докладов» в конце 1928 года он объединяет представителей новой «Маяковской галереи» в раздел «Некрасивые стихи»: Сов-трус, Сов-служака, Сов-меценат, Сов-плюшкин, Сов-помпадур, Сов-обыватель, Сов-халтурщик. К ним с полным правом можно добавить и такие стихи, как «Столп», «Подлиза», «Сплетник», «Ханжа». А так как настоящую сатиру во все времена питает тоска по идеалу, то неудивительно, что в концовке сатирического стихотворения «Служака» рождается полный поэтического вдохновения образ коммуниста:

Не наши —
которые
времени в зад
уперли
лбов
медь:

быть коммунистом —
значит дерзать,
думать,
хотеть,
сметь.

«Думать, хотеть, сметь» — это программа преследования сатириком всего того в нашей жизни, что составляет сущность служаки как типа. Постепенно для сатирика-исследователя начинает проясняться облик сатирического героя и его политический эквивалент: это растущий на пережитках капитализма в нашей государственности и подтачивающий ее демократические устои обыватель, возомнивший о себе как о персоне, не подлежащей критике, отождествляющий сатиру на себя с сатирой на общественный строй, подобно герою стихотворения «Столп». А вот он же, зазнавшийся хам, противопоставляющий себя народу, выведен в стихотворении «Помпадур», материалом для которого послужил фельетон Михаила Кольцова «В международном вагоне», а самый образ усилен в своей действенности перекличкой со щедринским. Зло, выращенное на бюрократических извращениях советской системы, давало все новые и новые темы для «некрасивых стихов». Зло перспективное, если можно так выразиться.

«Баллада о бюрократе и рабкоре», как и «Помпадур», продолжает развивать образы классической литературы. Бюрократу дана фамилия Васькин, произведенная от кота Васьки в крыловской басне «Кот и повар»:

Рабкор
критикует
указанный трест.
Растут
статейные горы.
А Васькин. . .
слушает да ест.
Кого ест?
— Рабкора.

Безнадежный этот рефрен повторяется. Рабкор скончался, его место заняли другие. «А Васькин слушает да ест. Кого? — Других рабкоров». Вывод советского сатирика совпадает с крыловским — «речей не тратить по-пустому», но идет дальше, глубже, выясняя сущность социального типа: не «стираются ли грани» между домаш-

ним животным котом Васькой и хищником посерьезнее: «умерь бюрократовский аппетит, под френчем выищи жабры».

Тот социальный тип, который занимал внимание Маяковского на страницах «Комсомольской правды», требовал более глубокой разработки, чтобы стать объектом большой сатиры. Нужны были другие средства изображения, с помощью которых сатирический герой предстал бы во всей своей характерности. Такой трибуной стал для Маяковского в последние годы его жизни театр. Персонажи сатирических пьес Маяковского «Клопа» и «Бани» прояснились и выросли в его работе над сатирической лирикой.

Атака на мещанина и бюрократа с театральных подмостков могла и должна была оказаться гораздо более действенной. Не поэма, а именно пьеса под девизом «Плохо», удесятеренная в своем влиянии на зрителя мастерством актеров, художника, музыкальным сопровождением и, конечно, постановщиком, в гений которого Маяковский верил безраздельно, должна была стать могучим обеззараживающим средством в амтосфере противоречий нэпа.

Постановщиком всех пьес Маяковского был Всеволод Мейерхольд. Но если постановка «Клопа» прошла с успехом и была принята сочувственно зрителем и критикой, то премьера «Бани», состоявшаяся в театре Мейерхольда 16 марта 1930 года, стала тяжелым провалом. На долгие годы эта театральная неудача оказалась роковой для судьбы драматургии Маяковского, преградив доступ его пьесам на сцену легендой об их несценичности. Лишь постановкой «Бани» в Московском театре сатиры в 1953 году, ставшей одним из триумфов советского театра, С. И. Юткевич, Н. В. Петров и В. Н. Плучек опровергли легенду о несценичности Маяковского-драматурга, не оставив от нее камня на камне.

Однако же театральная неудача «Бани» у Мейерхольда, которую принято сравнивать с неудачей в свое время чеховской «Чайки» в Александринском театре, была воспринята Маяковским болезненно. Нападки на «Баню» вылились в целую кампанию театральных фельетонистов против Маяковского, усугубили тяжелую обстановку, в которой оказался поэт в 1929—1930 годах. Последняя складывалась из создавшегося для него крайне неблагоприятного положения в борьбе литературных групп и неудачных обстоятельств личной жизни.

13

В конце 1929 года Маяковский приступил к подготовке выставки «20 лет работы». Характерно, что свой литературный дебют поэт связывал не с датой первого своего появления в печати в футури-

стическом сборнике «Пощечина общественному вкусу» в конце 1912 года, а с участием в революционной борьбе — с первой тетрадкой стихов, написанных в конце 1909 года в тюрьме. При решении вопроса о выставке у Маяковского возник конфликт с его литературными друзьями — Асеевым и Кирсановым. Последние считали, что если уж устраивать выставку-отчет о литературной работе, то она не должна быть «единоличной», а всего Левого фронта (Лефа). Маяковский с этим не согласился. В середине 1928 года в Лефе произошел «раскол»: одна его часть во главе с Третьяковым осталась на старых позициях Лефа, продолжая выступать против художественного вымысла и ориентируясь на «фактографию», в то время как Маяковский заявил о своем выходе из Лефа и организовал вместе с Асеевым и Кирсановым новую литературную группу Революционный фронт искусств — Реф. Она просуществовала очень недолго. В феврале 1930 года Маяковский вступил в РАПП, сделав следующее заявление:

«В осуществление лозунга объединения всех сил пролетарской литературы прошу меня принять в РАПП.

1) Никаких разногласий по основной литературно-политической линии, проводимой ВОАПП, у меня нет и не было.

2) Художественно-методологические разногласия могут быть разрешены с пользой для дела пролетарской литературы в пределах ассоциации.

Считаю, что все активные рефовцы должны сделать такой же вывод, продиктованный всей нашей предыдущей работой».

Но активные рефовцы, прежде всего поэты Асеев и Кирсанов, не последовали этому совету. Напротив. Они были крайне недовольны, что Маяковский этот важный шаг сделал, как пишет Асеев, «без предварительной договоренности с остальными участниками его содружества». «Нам казалось, — вспоминает Асеев, — это недемократичным, самовольным: по правде сказать, мы сочли себя как бы брошенными в лесу противоречий. Куда же идти? Что делать дальше? И ответственность Маяковского за неразрешенность для себя этих вопросов огорчала и раздражала. Идти тоже в РАПП? Но ведь там недружелюбие и подозрительность к непролетарскому происхождению. Ведь даже самому Маяковскому пришлось выслушать при приеме очень скучные нравоучения о «необходимости порвать с прошлым», с «грузом привычек и ошибочных воззрений» на поэзию... Помню, как Маяковский, прислонясь к рампе на эстраде, хмуро взирал на пояснявшего ему условия его приема в РАПП, перекатывая из угла в угол рта папиросу.

Так вот, все бывшие сотрудники Лефа, впоследствии отсеянные

им в Реф, взбунтовались против его единоличных действий, решив дать понять Маяковскому, что они не одобряют разгона им Рефа и вступления его без товарищей в РАПП». [1]

Открытие выставки Маяковского в начале февраля 1930 года бойкотировали и поэты Рефа, с которыми у него получился конфликт, и рапповцы, для которых он был чужаком. Тяжелые переживания одиночества еще более обострились неудачей «Бани». И в личной жизни поэт пришел к трагическому сознанию — «у меня выходов нет», о чем сообщил в своем предсмертном письме «Всем». 14 апреля 1930 года в своем рабочем кабинете на Лубянском проезде (ныне проезд им. Серова) Маяковский застрелился.

Во вступлении к поэме «Во весь голос», которое было своего рода итогом его литературной работы, Маяковский твердо обозначил свое «место в рабочем строю», право на которое ему пришлось доказывать в течение всей его литературной жизни. Заключительная строфа «Во весь голос» не может не восприниматься как ответ на пренебрежение его искренним, глубоко осознанным порывом:

Явившись
в Це Ка Ка
идущих
светлых лет,
над бандой
поэтических
рвачей и выжиг
я подыму,
как большевистский партбилет,
все сто томов
моих
партийных книжек.

Поэт был с теми, «кто вышел строить и месть в сплошной лихорадке буден». Разорвав путы литературных группировок и отбросив их, поэт был с теми, кто воевал за дело партии, за линию партии в литературе. «Во весь голос» и было воззванием к потомкам о революционной партийной чести поэта — «революцией мобилизованного и призванного». Уподобление поэзии оружию было самым общим, самым ходовым и в стихах, и в публицистике 1920-х годов, оно выражало идеологические требования к искусству в классовой борьбе. Маяковский продолжает и чужие, и свои собственные бесчисленные

[1] Н. Асеев. Зачем и кому нужна поэзия. М., 1962, стр. 270.

уподобления такого рода («я хочу, чтоб к штыку приравняли перо»), доводит их в «Во весь голос» до величественного обобщения, говоря о своих собственных строках: «...вы с уважением ощупывайте их, как старое, но грозное оружие». Проходя «по строчечному фронту», поэт демонстрирует «силу слов», готовых к действию: «Стихи стоят свинцово-тяжело», «поэмы замерли, к жерлу прижав жерло», «застыла кавалерия острот», — вся эта «свинцово-тяжелая» статика как бы предвосхищает будущие экспонаты выставки «20 лет работы».

Честь поэта революции... В чем она? В том, чтобы поднять людей на подвиг. Поэзия сама есть подвиг. Для Маяковского — подвиг самопожертвования. Мелкими, не стоящими внимания представляются литературные распри. «Что может быть капризней славы и пепельней?» Эта тема из шутливо-пренебрежительной в «Послании пролетарским поэтам» перерастает в трагическую: «Сочтемся славою — ведь мы свои же люди, — пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм».

Полная отдача себя, презрение к личной славе — «мне наплевать на мраморную слизь» — вот это и есть Маяковский, поэт революции, чья гигантская личность запечатлела себя в делах народа, в слове — «полководце человечьей силы». И в любви. Сущность ее для Маяковского в возбуждающей творчество силе, в той ревности к Копернику, которая вдохновляет влюбленного, — «его, а не мужа Марьи Иванны, считая своим соперником».

Стихия лиризма, пронизывающая все в творчестве Маяковского, оказывается в самых глубинных истоках его партийностью. Не к славе, не к «бронзы многопудью» ревнует поэт. Но ничто не может поколебать его уверенности в том, что «контроль» будущего «Це Ка Ка идущих светлых лет» отдаст должное поэту революции и восстановит честь его, приняв «все сто томов» его «партийных книжек».

Маяковский вырос в колоссальную личность, поднявшись вместе с массами в Октябрьскую революционную бурю. «И чувствую, «я» для меня мало», — писал он в одной из ранних поэм. Он испытал теперь великое счастье ощутить себя «частицей» масс, в авангарде борьбы за счастье всего человечества, за то, «чтоб всей вселенной шла любовь». В этом была честь поэта революции, о которой он и заявил «во весь голос».

Он был борцом за новый мир — лирик революции и трибун любви, и в этой борьбе, полной трагизма, славя «веселье труднейшего марша в коммунизм», он вырос в великого советского поэта.

Под знаком Маяковского прошел весь «пусковой период» советской поэзии. Очень широка идейно-художественная программа Маяковского, программа неожиданности открытия мира поэтом-новатором. На этом пути Маяковский вербует себе страстных сторонников, продолжателей его традиции, разрабатывающих творческое наследие лидера советской поэзии по всем ее национальным руслам. И в то же время Маяковский расчищает пути поэзии вширь, чтобы рядом с ним, плечо к плечу, могли быстрее и легче идти к общей цели и поэты иного склада, возвеличивая в своем многообразии всю многонациональную советскую поэзию, как шаг вперед в художественном развитии человечества.

* * *

Со страстью отстаивал Маяковский в своем искусстве идеологию нового общества. Он верил безгранично в творческую мощь Октября и ратовал за решительное обновление искусства не только со стороны содержания, но и со стороны формы. Он с гневом отвергал сосуществование в нашем искусстве двух идеологий.

В июле 1963 года наша страна отмечала памятную дату — семидесятилетие со дня рождения В. В. Маяковского. Пленум ЦК нашей партии, происходивший в июне 1963 года и посвященный вопросам идеологической работы, позволил еще более глубоко осознать важнейшее значение творчества поэта в развитии нашего искусства. Необычность поэзии Маяковского коренилась в самой действительности, изменявшейся снизу доверху, первозданной, невиданной. То, что было им прозорливо и очень смело угадано, становится традицией движения и обновления поэзии. Творчество Маяковского стало классикой социалистического реализма, стало основой, на которой так много строится и так много можно построить в современной поэзии.

В. Перцов

СТИХОТВОРЕНИЯ

(1912—1917)

НОЧЬ

Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зеленый бросали горстями дукаты,
а черным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие желтые карты.

Бульварам и площади было не странно
увидеть на зданиях синие тоги.
И раньше бегущим, как желтые раны,
огни обручали браслетами ноги.

Толпа — пестрошерстая быстрая кошка —
плыла, изгибаясь, дверями влекома;
каждый хотел протащить хоть немножко
громаду из смеха отлитого кома.

Я, чувствуя платья зовущие лапы,
в глаза им улыбку протиснул; пугая
ударами в жесть, хохотали арапы,
над лбом расцветивши крыло попугая.

Осень 1912

УТРО

Угрюмый дождь скосил глаза.
А за
решеткой
четкой
железной мысли проводов —
перина.

И на
нее
встающих звезд
легко оперлись ноги.
Но ги-
бель фонарей,
царей
в короне газа,
для глаза
сделала больней
враждующий букет бульварных проституток.
И жуток
шуток
клюющий смех —
из желтых
ядовитых роз
возрос
зигзагом.
За гам
и жуть
взглянуть
отрадно глазу:
раба
крестов
страдающе-спокойно-безразличных,
гроба
домов
публичных
восток бросал в одну пылающую вазу.

Осень 1912

ПОРТ

Простыни вод под брюхом были.
Их рвал на волны белый зуб.
Был вой трубы — как будто лили
любовь и похоть медью труб.
Прижались лодки в люльках входов
к сосцам железных матерей.
В ушах оглохших пароходов
горели серьги якорей.

Декабрь 1912

УЛИЧНОЕ

В шатрах истертых ликов цвель где,
из ран лотков сочилась клюква,
а сквозь меня на лунном сельде
скакала крашеная буква.

Вбиваю гулко шага сваи,
бросаю в бубны улиц дробь я.
Ходьбой усталые трамваи
скрестили блещущие копья.

Подняв рукой единый глаз,
кривая площадь кралась близко.
Смотрело небо в белый газ
лицом безглазым василиска.

<1913>

ИЗ УЛИЦЫ В УЛИЦУ

У-
лица.
Лица
у
догов
годов
рез-
че.
Че-
рез
железных коней
с окон бегущих домов
прыгнули первые кубы.
Лебеди шей колокольных,
гнитесь в силках проводов!
В небе жирафий рисунок готов
выпестрить ржавые чубы.
Пестр, как форель,
сын
безузорной пашни.

Фокусник
рельсы
тянет из пасти трамвая,
скрыт циферблатами башни.
Мы завоеваны!
Ванны.
Души.
Лифт.
Лиф души расстегнули.
Тело жгут руки.
Кричи, не кричи:
«Я не хотела!» —
резок
жгут
муки.
Ветер колючий
трубе
вырывает
дымчатой шерсти клок.
Лысый фонарь
сладострастно снимает
с улицы
черный чулок.

<*1913*>

А ВЫ МОГЛИ БЫ?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

<*1913*>

ВЫВЕСКАМ

Читайте железные книги!
Под флейту золо́ченой буквы
полезут копченые сиги
и золотокудрые брюквы.

А если веселостью песьей
закружат созвездия «Магги» —
бюро похоронных процессий
свои проведут саркофаги.

Когда же, хмур и плачевен,
загасит фонарные знаки,
влюбляйтесь под небом харчевен
в фаянсовых чайников маки!

<1913>

КОЕ ЧТО ПРО ПЕТЕРБУРГ

Слезают слезы с крыши в трубы,
к руке реки чертя полоски,
а в неба свисшиеся губы
воткнули каменные соски.

И небу — стихши — ясно стало:
туда, где моря блещет блюдо,
сырой погонщик гнал устало
Невы двугорбого верблюда.

<1913>

ЗА ЖЕНЩИНОЙ

Раздвинув локтем тумана дрожжи,
цедил белила из черной фляжки
и, бросив в небо косые вожжи,
качался в тучах, седой и тяжкий.

В расплаве меди домов полуда,
дрожанья улиц едва хранимы,
дразнимы красным покровом блуда,
рогами в небо вонзались дымы.

Вулканы-бедра за льдами платий,
колосья грудей для жатвы спелы.
От тротуаров с ужимкой татьей
ревниво взвились тупые стрелы.

Вспугнув копытом молитвы высей,
арканом в небе поймали бога
и, ощипавши с улыбкой крысьей,
глумясь, тащили сквозь щель порога.

Восток заметил их в переулке,
гримасу неба отбросил выше
и, выдрав солнце из черной сумки,
ударил с злобой по ребрам крыши.

<1913>

Я

1

По мостовой
моей души изъезженной
шаги помешанных
вьют жестких фраз пяты.
Где города
повешены
и в петле óблака
застыли
башен
кривые выи —
иду
один рыдать,
что перекрестком
рáспяты
городовые.

<1913>

2

Несколько слов о моей жене

Морей неведомых далеким пляжем
идет луна —
жена моя.
Моя любовница рыжеволосая.
За экипажем
крикливо тянется толпа созвездий пестрополосая.
Венчается автомобильным гаражом,
целуется газетными киосками,
а шлейфа млечный путь моргающим пажом
украшен мишурными блестками.
А я?
Несло же, палимому, бровей коромысло
из глаз колодцев студеные ведра.
В шелках озерных ты висла,
янтарной скрипкой пели бедра?
В края, где злоба крыш,
не кинешь блесткой лесни.
В бульварах я тону, тоской песков овеян:
ведь это ж дочь твоя —
моя песня
в чулке ажурном
у кофеен!

<1913>

3

Несколько слов о моей маме

У меня есть мама на васильковых обоях.
А я гуляю в пестрых павах,
вихрастые ромашки, шагом меряя, мучу.
Заиграет вечер на гобоях ржавых,
подхожу к окошку,
веря,
что увижу опять
севшую
на дом
тучу.

А у мамы больной
пробегают народа шорохи
от кровати до угла пустого.
Мама знает —
это мысли сумасшедшей ворохи
вылезают из-за крыш завода Шустова.
И когда мой лоб, венчанный шляпой фетровой,
окровавит гаснущая рама,
я скажу,
раздвинув басом ветра вой:
«Мама.
Если станет жалко мне
вазы вашей муки,
сбитой каблуками облачного танца, —
кто же изласкает золотые руки,
вывеской заломленные у витрин Аванцо?..»

<1913>

4

Несколько слов обо мне самом

Я люблю смотреть, как умирают дети.
Вы прибоя смеха мглистый вал заметили
за тоски хоботом?
А я —
в читальне улиц —
так часто перелистывал гро́ба том.
Полночь
промокшими пальцами щупала
меня
и забитый забор,
и с каплями ливня на лысине купола
скакал сумасшедший собор.
Я вижу, Христос из иконы бежал,
хитона оветренный край
целовала, плача, слякоть.
Кричу кирпичу,
слов исступленных вонзаю кинжал
в неба распухшего мякоть:
«Солнце!

Отец мой!
Сжалься хоть ты и не мучай!
Это тобою пролитая кровь моя льется
дорогою дольней.

Это душа моя
клочьями порванной тучи
в выжженном небе
на ржавом кресте колокольни!

Время!
Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой
в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!»

<1913>

ШУМИКИ, ШУМЫ И ШУМИЩИ

По эхам города проносят шумы
на шепоте подошв и на громах колес,
а люди и лошади — это только грумы,
следящие линии убегающих кос.

Проносят девоньки крохотные шумики.
Ящики гула пронесет грузовоз.
Рысак прошуршит в сетчатой ту́нике.
Трамвай расплещет перекаты гроз.

Все на площадь сквозь туннели пассажей
плывут каналами перекрещенных дум,
где мордой перекошенный, размалеванный сажей
на царство базаров коронован шум.

<1913>

ОТ УСТАЛОСТИ

Земля!
Дай исцелую твою лысеющую голову
лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот.

Дымом волос над пожарами глаз из олова
дай обовью я впалые груди болот.
Ты! Нас — двое,
ораненных, загнанных ланями,
вздыбилось ржанье оседланных смертью коней.
Дым из-за дома догонит нас длинными дланями,
мутью озлобив глаза догнивающих в ливнях
огней.

Сестра моя!
В богадельнях идущих веков,
может быть, мать мне сыщется;
бросил я ей окровавленный песнями рог.
Квакая, скачет по полю
канава, зеленая сыщица,
нас заневолить
веревками грязных дорог.

<1913>

АДИЩЕ ГОРОДА

Адище города окна разбили
на крохотные, сосущие светами адки́.
Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,
над самым ухом взрывая гудки.

А там, под вывеской, где сельди из Керчи, —
сбитый старикашка шарил очки
и заплакал, когда в вечереющем смерче
трамвай с разбега взметнул зрачки.

В дырах небоскребов, где горела руда
и железо поездов громоздило лаз, —
крикнул аэроплан и упал туда,
где у раненого солнца вытекал глаз.

И тогда уже — скомкав фонарей одеяла —
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.

<1913>

НАТЕ!

Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я — бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озвереет, будет тереться,
ощетинит ножки стоглавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется — и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я — бесценных слов транжир и мот.

Осень 1913

НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ

Вошел к парикмахеру, сказал — спокойный:
«Будьте добры, причешите мне уши».
Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,
лицо вытянулось, как у груши.
«Сумасшедший!
Рыжий!» —
запрыгали слова.
Ругань металась от писка до писка,
и до-о-о-о-лго
хихикала чья-то голова,
выдергиваясь из толпы, как старая редиска.

Конец 1913

КОФТА ФАТА

Я сошью себе черные штаны
из бархата голоса моего.
Желтую кофту из трех аршин заката.
По Невскому мира, по лощеным полосам его,
профланирую шагом Дон-Жуана и фата.

Пусть земля кричит, в покое обабившись:
«Ты зеленые весны идешь насиловать!»
Я брошу солнцу, нагло осклабившись:
«На глади асфальта мне хорошо грассировать!»

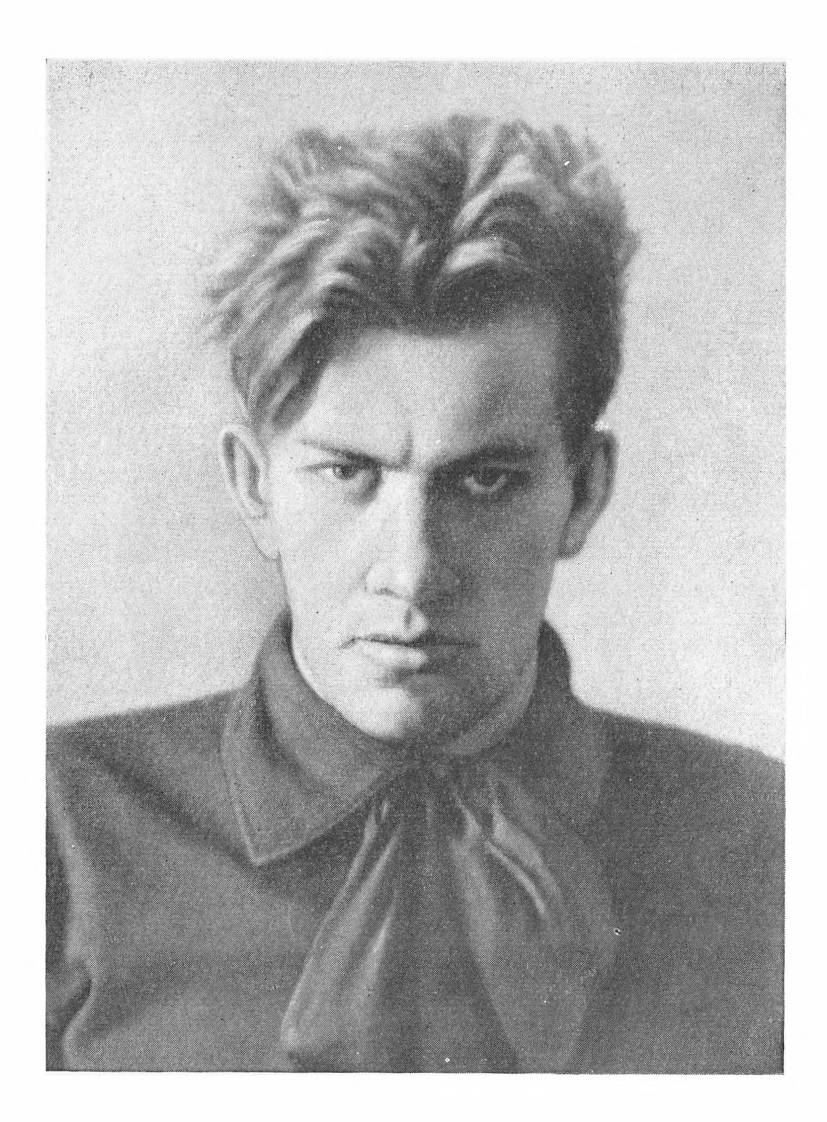
Не потому ли, что небо голубо́,
а земля мне любовница в этой праздничной чистке,
я дарю вам стихи, веселые, как би-ба-бо,
и острые и нужные, как зубочистки!

Женщины, любящие мое мясо, и эта
девушка, смотрящая на меня, как на брата,
закидайте улыбками меня, поэта, —
я цветами нашью их мне на кофту фата!

<1914>

ПОСЛУШАЙТЕ

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плево́чки
жемчужиной?
И, надрываясь,
в метелях полу́денной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную му́ку!



А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

<1914>

А ВСЕ-ТАКИ

Улица провалилась, как нос сифилитика.
Река — сладострастье, растекшееся в слюни.
Отбросив белье до последнего листика,
сады похабно развалились в июне.

Я вышел на площадь,
выжженный квартал
надел на голову, как рыжий парик.
Людям страшно — у меня изо рта
шевелит ногами непрожеванный крик.

Но меня не осудят, но меня не облают,
как пророку, цветами устелят мне след.
Все эти, провалившиеся носами, знают:
я — ваш поэт.

Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!
Меня одного сквозь горящие здания
проститутки, как святыню, на руках понесут
и покажут богу в свое оправдание.

И бог заплачет над моею книжкой!
Не слова — судороги, слипшиеся комом;
и побежит по небу с моими стихами под мышкой
и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.

<1914>

ЕЩЕ ПЕТЕРБУРГ

В ушах обрывки теплого бала,
а с севера — снега седей —
туман, с кровожадным лицом каннибала,
жевал невкусных людей.

Часы нависали, как грубая брань,
за пятым навис шестой.
А с неба смотрела какая-то дрянь
величественно, как Лев Толстой.

<1914>

СКРИПКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО

Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?
Как это?»
А когда геликон —

меднорожий,
потный —
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» —
я встал,
шатаясь полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»,
Бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!»
А мне — наплевать!
Я — хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте —
будем жить вместе!
А?»

<1914>

ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
И на площадь, мрачно очерченную чернью,
багровой крови пролилась струя!

Морду в кровь разбила кофейня,
зверьим криком багрима:
«Отравим кровью игры Рейна!
Громáми ядер на мрамор Рима!»

С неба, изодранного о штыков жала,
слезы звезд просеивались, как мукá в сите,
и подошвами сжатая жалость визжала:
«Ах, пустите, пустите, пустите!»

Бронзовые генералы на граненом цоколе
молили: «Раскуйте, и мы поедем!»
Прощающейся конницы поцелуи цокали,
и пехоте хотелось к убийце — победе.

Громоздящемуся городу урóдился во сне
хохочущий голос пушечного баса,
а с запада падает красный снег
сочными клочьями человечьего мяса.

Вздувается у площади за ротой рота,
у злящейся на лбу вздуваются вены.
«Постойте, шашки о шелк кокоток
вытрем, вытрем в бульварах Вены!»

Газетчики надрывались: «Купите вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
А из ночи, мрачно очерченной чернью,
багровой крови лилась и лилась струя.

20 июля 1914

МАМА И УБИТЫЙ НЕМЦАМИ ВЕЧЕР

По черным улицам белые матери
судорожно простерлись, как по гробу глазет.
Вплакались в орущих о побитом неприятеле:
«Ах, закройте, закройте глаза газет!»

Письмо.

Мама, громче!
Дым.
Дым.
Дым еще!
Что вы мямлите, мама, мне?

Видите —
весь воздух вымощен
громыхающим под ядрами камнем!
Ма — а — а — ма!
Сейчас притащили израненный вечер.
Крепился долго,
кургузый,
шершавый,
и вдруг,
надломивши тучные плечи,
расплакался, бедный, на шее Варшавы.
Звезды в платочках из синего ситца
визжали:
«Убит,
дорогой,
дорогой мой!»
И глаз новолуния страшно косится
на мертвый кулак с зажатой обоймой.
Сбежались смотреть литовские села,
как, поцелуем в обрубок вкована,
слезя золотые глаза костелов,
пальцы улиц ломала Ковна.
А вечер кричит,
безногий,
безрукий:
«Неправда,
я еще могу-с —
хе! —
выбряцав шпоры в горящей мазурке,
выкрутить русый ус!»

Звонок.

Что вы,
мама?
Белая, белая, как на гробе глазет.
«Оставьте!
О нем это,
об убитом, телеграмма.
Ах, закройте,
закройте глаза газет!»

Октябрь 1914

МЫСЛИ В ПРИЗЫВ

Войне ли думать:
«Некрасиво в шраме»?
Ей ли жалеть
городов гиль?
Как хороший игрок,
раскидала шарами
смерть черепа
в лузы могил.

Горит материк.
Стра́ны — на нет.
Прилизанная
треплется мира челка.
Слышите?
Хорошо?
Почище кастаньет.
Это вам не на счетах щелкать.

А мне не жалко.
Лица не выгрущу.
Пусть
из нежного
делают казака́.
Посланный
на выучку новому игрищу,
вернется
облеченный в новый закал.
Была душа поэтами рыта.
Сияющий говорит о любом.
Сердце —
с длинноволосыми открыток
благороднейший альбом.

А теперь
попробуй.
Сунь ему «Анатэм».
В норах мистики вели ему мышиться.
Теперь
у него
душа канатом,

и хоть гвоздь вбивай ей —
каждая мышца.

Ему ли
ныть
в квартирной яме?
А такая
нравится манера вам:
нежность
из памяти
вырвать с корнями,
гóловы скрутить орущим нервам.

Туда!
В мировую кузню,
в ремонт.
Вернетесь,
о новой поведаю Спарте я.
А слабым
смерть,
маркер времен,
ори:
«Партия!»

1914

Я И НАПОЛЕОН

Я живу на Большой Пресне,
36, 24.
Место спокойненькое.
Тихонькое.
Ну?
Кажется — какое мне дело,
что где-то
в буре-мире
взяли и выдумали войну?

Ночь пришла.
Хорошая.
Вкрадчивая.

И чего это барышни некоторые
дрожат, пугливо поворачивая
глаза громадные, как прожекторы?
Уличные толпы к небесной влаге
припали горящими устами,
а город, вытрепав ручонки-флаги,
молится и молится красными крестами.
Простоволосая церковка бульварному изголовью
припала, — набитый слезами куль, —
а у бульвара цветники истекают кровью,
как сердце, изодранное пальцами пуль.
Тревога жиреет и жиреет,
жрет зачерствевший разум.
Уже у Ноева оранжереи
покрылись смертельно-бледным газом!

Скажите Москве —
пускай удержится!
Не надо!
Пусть не трясется!
Через секунду
встречу я
неб самодержца, —
возьму и убью солнце!
Видите!
Флаги по небу полощет.
Вот он!
Жирен и рыж.
Красным копытом грохнув о площадь,
въезжает по трупам крыш!

Тебе,
орущему:
«Разрушу,
разрушу!»,
вырезавшему ночь из окровавленных карнизов,
я,
сохранивший бесстрашную душу,
бросаю вызов!

Идите, изъеденные бессонницей,
сложите в костер лица!

Всё равно!
Это нам последнее солнце —
солнце Аустерлица!

Идите, сумасшедшие, из России, Польши.
Сегодня я — Наполеон!
Я полководец и больше.
Сравните:
я и — он!

Он раз чуме приблизился троном,
смелостью смерть поправ, —
я каждый день иду к зачумленным
по тысячам русских Яфф!
Он раз, не дрогнув, стал под пули
и славится столетий сто, —
а я прошел в одном лишь июле
тысячу Аркольских мостов!
Мой крик в граните времени выбит,
и будет греметь и гремит,
оттого, что
в сердце, выжженном, как Египет,
есть тысяча тысяч пирамид!

За мной, изъеденные бессонницей!
Выше!
В костер лица!
Здравствуй,
мое предсмертное солнце,
солнце Аустерлица!

Люди!
Будет!
На солнце!
Прямо!
Солнце съежится аж!
Громче из сжатого горла храма
хрипи, похоронный марш!
Люди!
Когда канонизируете имена
погибших,

меня известней, —
помните:
еще одного убила война —
поэта с Большой Пресни!

<1915>

ВАМ!

Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..

Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре блядям буду
подавать ананасную воду!

<1915>

ГИМН СУДЬЕ

По Красному морю плывут каторжане,
трудом выгребая галеру,
рыком покрыв кандальное ржанье,
орут о родине Перу.

О рае Перу орут перуанцы,
где птицы, танцы, бабы
и где над венцами цветов померанца
были до небес баобабы.

Банан, ананасы! Радостей груда!
Вино в запечатанной посуде...
Но вот, неизвестно зачем и откуда,
на Перу наперли судьи!

И птиц, и танцы, и их перуанок
кругом обложили статьями.
Глаза у судьи — пара жестянок
мерцает в помойной яме.

Попал павлин оранжево-синий
под глаз его строгий, как пост, —
и вылинял моментально павлиний
великолепный хвост!

А возле Перу летали по прерии
птички такие — колибри;
судья поймал и пух и перья
бедной колибри выбрил.

И нет ни в одной долине ныне
гор, вулканом горящих.
Судья написал на каждой долине:
«Долина для некурящих».

В бедном Перу стихи мои даже
в запрете под страхом пыток.
Судья сказал: «Те, что в продаже,
тоже спиртной напиток».

Экватор дрожит от кандальных звонов.
А в Перу бесптичье, безлюдье...
Лишь, злобно забившись под своды законов,
живут унылые судьи.

А знаете, все-таки жаль перуанца.
Зря ему дали галеру.
Судьи мешают и птице, и танцу,
и мне, и вам, и Перу.

<1915>

ГИМН УЧЕНОМУ

Народонаселение всей империи —
люди, птицы, сороконожки,
ощетинив щетину, выперев перья,
с отчаянным любопытством висят на окошке.

И солнце интересуется, и апрель еще,
даже заинтересовало трубочиста черного
удивительное, необыкновенное зрелище —
фигура знаменитого ученого.

Смотрят: и ни одного человеческого качества.
Не человек, а двуногое бессилие,
с головой, откусанной начисто
трактатом «О бородавках в Бразилии».

Вгрызлись в букву едящие глаза, —
ах, как букву жалко!
Так, должно быть, жевал вымирающий ихтиозавр
случайно попавшую в челюсти фиалку.

Искривился позвоночник, как оглоблей ударенный,
но ученому ли думать о пустяковом изъяне?
Он знает отлично написанное у Дарвина,
что мы — лишь потомки обезьяньи.

Просочится солнце в крохотную щелку,
как маленькая гноящаяся ранка,
и спрячется на пыльную полку,
где громоздится на банке банка.

Сердце девушки, вываренное в иоде.
Окаменелый обломок позапрошлого лета.
И еще на булавке что-то вроде
засушенного хвоста небольшой кометы.

Сидит все ночи. Солнце из-за домишки
опять осклабилось на людские безобразия,
и внизу по тротуарам опять приготовишки
деятельно ходят в гимназии.

Проходят красноухие, а ему не нудно,
что растет человек глуп и покорен;
ведь зато он может ежесекундно
извлекать квадратный корень.

<1915>

ВОЕННО-МОРСКАЯ ЛЮБОВЬ

По морям, играя, носится
с миноносцем миноносица.

Льнет, как будто к меду осочка,
к миноносцу миноносочка.

И конца б не довелось ему,
благодушью миноносьему.

Вдруг прожектор, вздев на нос очки,
впился в спину миноносочки.

Как взревет медноголосина:
«Р-р-р-астакая миноносина!»

Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится,
а сбежала миноносица.

Но ударить удалось ему
по ребру по миноносьему.

Плач и вой морями носится:
овдовела миноносица.

И чего это несносен нам
мир в семействе миноносином?

<1915>

ГИМН КРИТИКУ

От страсти извозчика и разговорчивой прачки
невзрачный детеныш в результате вытек.
Мальчик — не мусор, не вывезешь на тачке.
Мать поплакала и назвала его: критик.

Отец, в разговорах вспоминая родословные,
любил поспорить о правах материнства.
Такое воспитание, светское и салонное,
оберегало мальчика от уклона в свинство.

Как роется дворником к кухарке сапа,
щебетала мамаша и кальсоны мыла;
от мамаши мальчик унаследовал запах
и способность вникать легко и без мыла.

Когда он вырос приблизительно с полено
и веснушки рассыпались, как рыжики на блюде,
его изящным ударом колена
провели на улицу, чтобы вышел в люди.

Много ль человеку нужно? — Клочок —
небольшие штаны и что-нибудь из хлеба.
Он носом, хорошеньким, как построчный пятачок,
обнюхал приятное газетное небо.

И какой-то обладатель какого-то имени
нежнейший в двери услыхал стук.
И скоро критик из имениного вымени
выдоил и брюки, и булку, и галстук.

Легко смотреть ему, обутому и одетому,
молодых искателей изысканные игры
и думать: хорошо — ну, хотя бы этому —
потрогать зубенками шальные икры.

Но если просочится в газетной сети
о том, как велик был Пушкин или Дант,
кажется, будто разлагается в газете
громадный и жирный официант.

И когда вы наконец в столетний юбилей
продерете глазки в кадильной гари,
имя его первое, голубицы белей,
чисто засияет на поднесенном портсигаре.

Писатели, нас много. Собирайте миллион.
И богадельню критикам построим в Ницце.
Вы думаете — легко им наше белье
ежедневно прополаскивать в газетной странице!

<1915>

ГИМН ОБЕДУ

Слава вам, идущие обедать миллионы!
И уже успевшие наесться тысячи!
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
и тысячи блюдищ всяческой пищи.

Если ударами ядр
тысячи Реймсов разбить удалось бы —
по-прежнему будут ножки у пулярд
и дышать по-прежнему будет ростбиф!

Желудок в панаме! Тебя ль заразят
величием смерти для новой эры?!
Желудку ничем болеть нельзя,
кроме аппендицита и холеры!

Пусть в сале совсем потонут зрачки —
всё равно их зря отец твой выделал;
на слепую кишку хоть надень очки,
кишка всё равно ничего б не видела.

Ты так не хуже! Наоборот,
если б рот один, без глаз, без затылка —
сразу могла б поместиться в рот
целая фаршированная тыква.

Лежи спокойно, безглазый, безухий,
с куском пирога в руке,
а дети твои у тебя на брюхе
будут играть в крокет.

Спи, не тревожась картиной крови
и тем, что пожаром мир опоясан, —
молоком богаты силы коровьи,
и безмерно богатство бычьего мяса.

Если взрежется последняя шея бычья
и злак последний с камня серого,
ты, верный раб твоего обычая,
из звезд сфабрикуешь консервы.

А если умрешь от котлет и бульонов,
на памятнике прикажем высечь:
«Из стольких-то и стольких-то котлет
миллионов —
твоих четыреста тысяч».

<1915>

ВОТ ТАК Я СДЕЛАЛСЯ СОБАКОЙ

Ну, это совершенно невыносимо!
Весь как есть искусан злобой.
Злюсь не так, как могли бы вы:
как собака лицо луны гололобой —
взял бы
и всё обвыл.

Нервы, должно быть...
Выйду,
погуляю.
И на улице не успокоился ни на ком я.
Какая-то прокричала про добрый вечер.
Надо ответить:
она — знакомая.
Хочу.
Чувствую —
не могу по-человечьи.

Что это за безобразие!
Сплю я, что ли?

Ощупал себя:
такой же, как был,
лицо такое же, к какому привык.
Тронул губу,
а у меня из-под губы —
клык.

Скорее закрыл лицо, как будто сморкаюсь.
Бросился к дому, шаги удвоив.
Бережно огибаю полицейский пост,
вдруг оглушительное:
— Городовой!
Хвост!

Провел рукой и — остолбенел!
Этого-то,
всяких клыков почище,
я и не заметил в бешеном скаче:
у меня из-под пиджака
развеерился хвостище
и вьется сзади,
большой, собачий.

Что теперь?
Один заорал, толпу растя.
Второму прибавился третий, четвертый.
Смяли старушонку.
Она, крестясь, что-то кричала про черта.

И когда, ощетинив в лицо усища-веники,
толпа навалилась,
огромная,
злая,
я стал на четвереньки
и залаял:
Гав! гав! гав!

<1915>

КОЕ-ЧТО ПО ПОВОДУ ДИРИЖЕРА

В ресторане было от электричества рыжо́.
Кресла облиты в дамскую мякоть.
Когда обиженный выбежал дирижер,
приказал музыкантам плакать.

И сразу тому, который в бороду
толстую семгу вкусно нес,
труба — изловчившись — в сытую морду
ударила горстью медных слез.

Еще не успел он, между икотами,
выпихнуть крик в золотую челюсть,
его избитые тромбонами и фаготами
смяли и скакали через.

Когда последний не дополз до двери,
умер щекою в соусе,
приказав музыкантам выть по-зверьи, —
дирижер обезумел вовсе!

В самые зубы туше опо́енной
втиснул трубу, как медный калач,
дул и слушал — раздутым удвоенный,
мечется в брюхе плач.

Когда наутро, от злобы не евший,
хозяин принес расчет,
дирижер на люстре уже посиневший
висел и синел еще.

<1915>

ПУСТЯК У ОКИ

Нежно говорил ей —
мы у реки
шли камышами:
«Слышите: шуршат камыши у Оки.
Будто наполнена Ока мышами.

А в небе, лучик сережкой вдев в ушко,
звезда, как вы, хорошая, — не звезда, а девушка...
А там, где кончается звездочки точка,
месяц улыбается и заверчен, как
будто на небе строчка
из Аверченко...
Вы прекрасно картавите.
Только жалко Италию...»
Она: «Ах, зачем вы давите
и локоть и талию.
Вы мне мешаете
у камыша идти...»

<1915>

ГИМН ВЗЯТКЕ

Пришли и славословим покорненько
тебя, дорогая взятка,
все здесь, от младшего дворника
до того, кто в золото заткан.

Всех, кто за нашей десницей
посмеет с укором глаза весть,
мы так, как им и не снится,
накажем мерзавцев за зависть.

Чтоб больше не смела вздыматься хула,
наденем мундиры и медали
и, выдвинув вперед убедительный кулак,
спросим: «А это видали?»

Если сверху смотреть — разинешь рот.
И взыграет от радости каждая мышца.
Россия — сверху — прямо огород,
вся наливается, цветет и пышится.

А разве видано где-нибудь, чтоб стояла коза
и лезть в огород козе лень?..
Было бы время, я б доказал,
которые — коза и зелень.

И нечего доказывать — идите и берите.
Умолкнет газетная нечисть ведь.
Как баранов, надо стричь и брить их.
Чего стесняться в своем отечестве?

<1915>

ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЗЯТОЧНИКАМ

Неужели и о взятках писать поэтам!
Дорогие, нам некогда. Нельзя так.
Вы, которые взяточники,
хотя бы поэтому,
не надо, не берите взяток.
Я, выколачивающий из строчек штаны, —
конечно, как начинающий, не очень часто, —
я — еще и российский гражданин,
беззаветно чтущий и чиновника и участок.
Прихожу и выплакиваю все мои просьбы,
приникши щекою к светлому кителю.
Думает чиновник: «Эх, удалось бы!
Этак на двести птичку вытелю».
Сколько раз под сень чинов ник,
приносил обиды им.
«Эх, удалось бы, — думает чиновник, —
этак на триста бабочку выдоим».
Я знаю, надо и двести и триста вам, —
возьмут, всё равно, не те, так эти;
и руганью ни одного не обижу пристава:
может быть, у пристава дети.
Но лишний труд — доить поодиночно,
вы и так ведете в работе года.
Вот что я выдумал для вас нарочно —
Господа!
Взломайте шкапы, сундуки и ларчики,
берите деньги и драгоценности мамашины,
чтоб последний мальчонка в потненьком кулачике
зажал сбереженный рубль бумажный.
Костюмы соберите. Чтоб не было рваных.
Мамаша! Вытряхивайтесь из шубы беличьей!

У старых брюк обшарьте карманы —
в карманах копеек на сорок мелочи.
Все это узлами уложим и свяжем,
а сами, без денег и платья,
придем, поклонимся и скажем:
Нате!
Что нам деньги, транжирам и мотам!
Мы даже не знаем, куда нам деть их.
Берите, милые, берите, чего там!
Вы наши отцы, а мы ваши дети.
От холода не попадая зубом на́ зуб,
станем голые под голые небеса.
Берите, милые! Но только сразу,
Чтоб об этом больше никогда не писать.

<1915>

ЧУДОВИЩНЫЕ ПОХОРОНЫ

Мрачные до черного вышли люди,
тяжко и чинно выстроились в городе,
будто сейчас набираться будет
хмурых монахов черный орден.

Траур воронов, выкаймленный под окна,
небо, в бурю крашеное, —
всё было так подобрано и подогнано,
что волей-неволей ждалось страшное.

Тогда разверзлась, кряхтя и нехотя,
пыльного воздуха сухая охра,
вылез из воздуха и начал ехать
тихий катафалк чудовищных похорон.

Встревоженная о́жила глаз масса,
гору взоров в гроб бросили.
Вдруг из гроба прыснула гримаса,
после —

крик: «Хоронят умерший смех!» —
из тысячегрудого меха

гремел, омиллионенный множеством эх,
за гробом, который ехал.

И тотчас же отчаяннейшего плача ножи
врезались, заставив ничего не понимать.
Вот за гробом, в плаче, старуха-жизнь —
усопшего смеха седая мать.

К кому же, к кому вернуться назад ей?
Смотрите: в лысине — тот —
это большой, носатый
плачет армянский анекдот.

Еще не забылось, как выкривил рот он,
а за ним, ободранная, куцая,
визжа, бежала острота.
Куда — если умер — уткнуться ей?

Уже до неба плачей глыба.
Но еще,
еще откуда-то плачики —
это целые полчища улыбочек и улыбок
ломали в горе хрупкие пальчики.

И вот сквозь строй их, смокших в один
сплошной изрыдавшийся Гаршин,
вышел ужас — вперед пойти —
весь в похоронном марше.

Размокло лицо, стало — кашица,
смятая морщинками на выхмуренном лбу,
а если кто смеется — кажется,
что ему разодрали губу.

<1915>

МОЕ К ЭТОМУ ОТНОШЕНИЕ
(ГИМН ЕЩЕ ПОЧТЕЕ)

Май ли уже расцвел над городом,
плачет ли, как побитый, хмуренький декабрик, —
весь год эта пухлая морда
маячит в дымах фабрик.

Брюшком обвисшим и гаденьким
лежит на воздушном откосе,
и пухлые губы бантиком
сложены в 88.

Внизу суетятся рабочие,
нищий у тумбы виден,
а у этого брюхо и все прочее —
лежит себе сыт, как Сытин.

Вкусной слюны разли́лись волны,
во рту громадном плещутся, как в бухте.
А полный! Боже, до чего он полный!
Сравнить если с ним, то худ и Апухтин.

Кони ли, цокая, по асфальту мчатся,
шарканье пешеходов ли подвернется
под взгляд ему,
а ему всё кажется: «Цаца! Цаца!» —
кричат ему, и всё ему нравится, проклятому.

Растет улыбка, жирна и нагла,
рот до ушей разросся,
будто у него на роже спектакль-гала́
затеяла труппа малороссов.

Солнце взойдет, и сейчас же луч его
ему щекочет пятки хо́леные,
и луна ничего не находит лучшего.
Объявляю всенародно: очень недоволен я.

Я спокоен, вежлив, сдержан тоже,
характер — как из кости слоновой то́чен,
а этому взял бы да и дал по роже:
не нравится он мне очень.

<1915>

ЭЙ!

Мокрая, будто ее облизали,
толпа.
Прокисший воздух плесенью веет.

Эй!
Россия,
нельзя ли
чего поновее?

Блажен, кто хоть раз смог,
хотя бы закрыв глаза,
забыть вас,
ненужных, как насморк,
и трезвых,
как нарзан.

Вы все такие скучные, точно
во всей вселенной нету Капри.
А Капри есть.
От сияний цветочных
весь остров как женщина в розовом капоре.

Помчим поезда к берегам, а берег
забудем, качая тела в пароходах.
Наоткрываем десятки Америк.
В неведомых полюсах вынежим отдых.

Смотри, какой ты ловкий,
а я —
вон у меня рука груба как.
Быть может, в турнирах,
быть может, в боях
я был бы самый искусный рубака.

Как весело, сделав удачный удар,
смотреть, растопырил ноги как.
И вот врага, где предки,
туда
отправила шпаги логика.

А после в огне раззолоченных зал,
забыв привычку спанья,
всю ночь напролет провести,
глаза
уткнув в желтоглазый коньяк.

И наконец, ощетинясь, как еж,
с похмельем придя поутру,
неверной любимой грозить, что убьешь
и в море выбросишь труп.

Сорвем ерунду пиджаков и манжет,
крахмальные груди раскрасим под панцырь,
загнем рукоять на столовом ноже,
и будем все хоть на день, да испанцы.

Чтоб все, забыв свой северный ум,
любились, дрались, волновались.
Эй!
Человек,
землю саму
зови на вальс!

Возьми и небо заново вышей,
новые звезды придумай и выставь,
чтоб, исступленно царапая крыши,
в небо карабкались души артистов.

<1915>

КО ВСЕМУ

Нет.
Это неправда.
Нет!
И ты?
Любимая,
за что,
за что же?!
Хорошо —
я ходил,
я дарил цветы,
я ж из ящика не выкрал серебряных ложек!

Белый,
сшатался с пятого этажа.

Ветер щеки ожег.
Улица клубилась, визжа и ржа.
Похотливо взлазил рожок на рожок.

Вознес над суетой столичной одури
строгое —
древних икон —
чело.
На теле твоем — как на смертном óдре —
сердце
дни
кончило.

В грубом убийстве не пачкала рук ты.
Ты
уронила только:
«В мягкой постели
он,
фрукты,
вино на ладони ночного столика».

Любовь!
Только в моем
воспаленном
мозгу была ты!
Глупой комедии остановите ход!
Смотри́те —
срываю игрушки-латы
я,
величайший Дон-Кихот!

Помните:
под ношей креста
Христос
секунду
усталый стал.
Толпа орала:
«Марала!
Мааарррааала!»

Правильно!
Каждого,

кто
об отдыхе взмолится,
оплюй в его весеннем дне!
Армии подвижников, обреченным добровольцам
от человека пощады нет!

Довольно!

Теперь —
клянусь моей языческой силою! —
дайте
любую
красивую,
юную, —
души не растрачу,
изнасилую
и в сердце насмешку плюну ей!

Око за око!

Севы мести в тысячу крат жни!
В каждое ухо ввой:
вся земля —
каторжник
с наполовину выбритой солнцем головой!

Око за око!

Убьете,
похороните —
выроюсь!
Об камень обточатся зубов ножи еще!
Собакой забьюсь под нары казарм!
Буду,
бешеный,
вгрызаться в ножища,
пахнущие пóтом и базаром.

Ночью вскóчите!
Я
звал!
Белым быком возрос над землей:

Муууу!
В ярмо замучена шея-язва,
над язвой смерчи мух.

Лосем обернусь,
в провода
впутаю голову ветвистую
с налитыми кровью глазами.
Да!
Затравленным зверем над миром выстою.

Не уйти человеку!
Молитва у рта, —
лег на плиты просящ и грязен он.
Я возьму
намалюю
на царские врата
на божьем лике Разина.

Солнце! Лучей не кинь!
Сохните, реки, жажду утолить не дав ему, —
чтоб тысячами рождались мои ученики
трубить с площадей анафему!

И когда
наконец,
на веков верхи́ став,
последний выйдет день им, —
в черных душах убийц и анархистов
зажгусь кровавым видением!

Светает.
Все шире разверзается неба рот.
Ночь
пьет за глотком глоток он.
От окон зарево.
От окон жар течет.
От окон густое солнце льется на спящий город.

Святая месть моя!
Опять
над уличной пылью
ступенями строк ввысь поведи!

До края полное сердце
вылью
в исповеди!

Грядущие люди!
Кто вы?
Вот — я,
весь
боль и ушиб.
Вам завещаю я сад фруктовый
моей великой души.

<1916>

НАДОЕЛО

Не высидел дома.
Анненский, Тютчев, Фет.
Опять,
тоскою к людям ведомый,
иду
в кинематографы, в трактиры, в кафе.

За столиком.
Сияние.
Надежда сияет сердцу глупому.
А если за неделю
так изменился россиянин,
что щеки сожгу огнями губ ему.

Осторожно поднимаю глаза,
роюсь в пиджачной куче.
«Назад,
наз-зад,
н а з а д!»
Страх орет из сердца.
Мечется по лицу, безнадежен и скучен.

Не слушаюсь.
Вижу,
вправо немножко,
неведомое ни на суше, ни в пучинах вод,

старательно работает над телячьей ножкой
загадочнейшее существо.
Глядишь и не знаешь: ест или не ест он.
Глядишь и не знаешь: дышит или не дышит он.
Два аршина безлицого розоватого теста:
хоть бы метка была в уголочке вышита.

Только колышутся спадающие на плечи
мягкие складки лоснящихся щек.
Сердце в исступлении,
рвет и мечет.
«Назад же!
Чего еще?»

Влево смотрю.
Рот разинул.
Обернулся к первому, и стало иначе:
для увидевшего вторую образину
первый —
воскресший Леонардо да Винчи.

Нет людей.
Понимаете
крик тысячедневных мук?
Душа не хочет немая идти,
а сказать кому?

Брошусь на землю,
камня корою
в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая.
Истомившимися по ласке губами тысячью
поцелуев покрою
умную морду трамвая.

В дом уйду.
Прилипну к обоям.
Где роза есть нежнее и чайнее?
Хочешь —
тебе
рябое
прочту «Простое как мычание»?

Для истории

Когда все расселятся в раю и в аду,
земля итогами подведена будет —
помните:
в 1916 году
из Петрограда исчезли красивые люди.

<1916>

ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА

Женщину ль опутываю в трогательный роман,
просто на прохожего гляжу ли —
каждый опасливо придерживает карман.
Смешные!
С нищих —
что с них сжулить?

Сколько лет пройдет, узнают пока —
кандидат на сажень городского морга —
я
бесконечно больше богат,
чем любой Пьерпонт Мо́рган.

Через столько-то, столько-то лет
— словом, не выживу —
с голода сдохну ль,
стану ль под пистолет —
меня,
сегодняшнего рыжего,
профессора́ разучат до последних иот,
как,
когда,
где явлен.
Будет
с кафедры лобастый идиот
что-то молоть о богодьяволе.
Скло́нится толпа,
лебезяща,
суетна.
Даже не узнаете —
я не я:

облысевшую голову разрисует она
в рога или в сияния.

Каждая курсистка,
прежде чем лечь,
она
не забудет над стихами моими замлеть.
Я — пессимист,
знаю —
вечно
будет курсистка жить на земле.

Слушайте ж:

всё, чем владеет моя душа,
— а ее богатства пойдите смерьте ей! —
великолепие,
что в вечность украсит мой шаг,
и самое мое бессмертие,
которое, громыхая по всем векам,
коленопреклоненных соберет мировое вече, —
всё это — хотите? —
сейчас отдам
за одно только слово
ласковое,
человечье.

Люди!

Пыля проспекты, топоча рожь,
идите со всего земного лона.
Сегодня
в Петрограде
на Надеждинской
ни за грош
продается драгоценнейшая корона.
За человечье слово —
не правда ли, дешево?
Пойди,
попробуй, —
как же,
найдешь его!
<1916>

ХВОИ

Не надо.
Не просите.
Не будет елки.
Как же
в лес
отпу́стите папу?
К нему
из-за леса
ядер осколки
протянут,
чтоб взять его,
хищную лапу.

Нельзя.
Сегодня
горящие блестки
не будут лежать
под елкой
в вате.
Там —
миллион смертоносных о́сок
ужалят,
а раненым ваты не хватит.

Нет.
Не зажгут.
Свечей не будет.
В море
железные чудища лазят.
А с этих чудищ
злые люди
ждут:
не блеснет ли у о́кон в глазе.

Не говорите.
Глупые речь заводят:
чтоб дед пришел,
чтоб игрушек ворох.
Деда нет.

Дед на заводе.
Завод?
Это тот, кто делает порох.

Не будет музыки.
Ру́ченек
где взять ему?
Не сядет, играя.
Ваш брат
теперь,
безрукий мученик,
идет, сияющий, в воротах рая.

Не плачьте.
Зачем?
Не хмурьте личек.
Не будет —
что же с того!
Скоро
все, в радостном кличе
голоса сплетая,
встретят новое Рождество.

Елка будет.
Да какая —
не обхватишь ствол.
Навесят на елку сиянья разного.
Будет стоять сплошное Рождество.
Так что
даже —
надоест его праздновать.

<1916>

СЕБЕ, ЛЮБИМОМУ, ПОСВЯЩАЕТ ЭТИ СТРОКИ АВТОР

Четыре.
Тяжелые, как удар.
«Кесарево кесарю — богу богово».

А такому,
как я,
ткнуться куда?
Где для меня уготовано логово?

Если б был я
маленький,
как Великий океан, —
на цыпочки б волн встал,
приливом ласкался к луне бы.
Где любимую найти мне,
такую, как и я?
Такая не уместилась бы в крохотное небо!

О, если б я нищ был!
Как миллиардер!
Что деньги душе?
Ненасытный вор в ней.
Моих желаний разнузданной орде
не хватит золота всех Калифорний.

Если б быть мне косноязычным,
как Дант
или Петрарка!
Душу к одной зажечь!
Стихами велеть истлеть ей!
И слова
и любовь моя —
триумфальная арка:
пышно,
бесследно пройдут сквозь нее
любовницы всех столетий.

О, если б был я
тихий,
как гром, —
ныл бы,
дрожью объял бы земли одряхлевший скит.
Я
если всей его мощью
выреву голос огромный —

кометы заломят горящие руки,
бросятся вниз с тоски.

Я бы глаз лучами грыз ночи —
о, если б был я
тусклый,
как солнце!
Очень мне надо
сияньем моим поить
земли отощавшее лонце!

Пройду,
любовищу мою волоча.
В какой ночи́,
бредово́й,
недужной,
какими Голиафами я зача́т —
такой большой
и такой ненужный?

<1916>

ЛИЛИЧКА!

ВМЕСТО ПИСЬМА

Дым табачный воздух выел.
Комната —
глава в крученыховском аде.
Вспомни —
за этим окном
впервые
руки твои, исступленный, гладил.
Сегодня сидишь вот,
сердце в железе.
День еще —
выгонишь,
может быть, изругав.
В мутной передней долго не влезет
сломанная дрожью рука в рукав.
Выбегу,
тело в улицу брошу я.
Дикий,

обезумлюсь,
отчаяньем иссечась.
Не надо этого,
дорогая,
хорошая,
дай простимся сейчас.
Все равно
любовь моя —
тяжкая гиря ведь —
висит на тебе,
куда ни бежала б.
Дай в последнем крике выреветь
горечь обиженных жалоб.
Если быка трудом умóрят —
он уйдет,
разляжется в холодных водах.
Кроме любви твоей,
мне
нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.
Захочет покоя уставший слон —
царственный ляжет в опожаренном песке.
Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем.
Если б так поэта измучила,
он
любимую на деньги б и славу выменял,
а мне
ни один не радостен звон,
кроме звона твоего любимого имени.
И в пролет не брошусь,
и не выпью яда,
и курок не смогу над виском нажать.
Надо мною,
кроме твоего взгляда,
не властно лезвие ни одного ножа.
Завтра забудешь,
что тебя короновал,
что душу цветущую любовью выжег,
и суетных дней взметенный карнавал

растреплет страницы моих книжек...
Слов моих сухие листья ли
заставят остановиться,
жадно дыша?

Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.

26 мая 1916
Петроград

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ СКАЗКА

Стоит император Петр Великий,
думает:
«Запирую на просторе я!» —
а рядом
под пьяные клики
строится гостиница «Астория».

Сияет гостиница,
за обедом обед она
дает.
Завистью с гранита снят,
слез император.
Трое медных
слазят
тихо,
чтоб не спугнуть Сенат.

Прохожие стремились войти и выйти.
Швейцар в поклоне не уменьшил рост.
Кто-то
рассеянный
бросил:
«Извините»,
наступив нечаянно на зме́ин хвост.

Император,
лошадь и змей

неловко
по карточке
спросили гренадин.
Шума язык не смолк, немея.
Из пивших и евших не обернулся ни один.

И только
когда
над пачкой соломинок
в коне заговорила привычка древняя,
толпа сорвáлась, криком сломана:
— Жует!
Не знает, зачем они.
Деревня!

Стыдом овихрены шаги коня.
Выбелена грива от уличного газа.
Обратно
по Набережной
гонит гиканье
последнюю из петербургских сказок.

И вновь император
стоит без скипетра.
Змей.
Унынье у лошади на морде.
И никто не поймет тоски Петра —
узника,
закованного в собственном городе.

1916

РОССИИ

Вот иду я,
заморский страус,
в перьях строф, размеров и рифм.
Спрятать голову, глупый, стараюсь,
в оперенье звенящее врыв.

Я не твой, снеговая уродина.
Глубже
в перья, душа, уложись!

И иная окажется родина,
вижу —
выжжена южная жизнь.

Остров зноя.
В пальмы овазился.
«Эй,
дорогу!»
Выдумку мнут.
И опять
до другого оазиса
вью следы песками минут.

Иные жмутся —
уйти б,
не кусается ль?
Иные изогнуты в низкую лесть.
«Мама,
а мама,
несет он яица?»
— «Не знаю, душечка.
Должен бы несть».

Ржут этажия.
Улицы пялятся.
Обдают водой холода́.
Весь истыканный в дымы и в пальцы,
переваливаю года.
Что ж, бери меня хваткой мёрзкой!
Бритвой ветра перья обрей.
Пусть исчезну,
чужой и заморский,
под неистовства всех декабрей.

1916

БРАТЬЯ ПИСАТЕЛИ

Очевидно, не привыкну
сидеть в «Бристоле»,
пить чай,
построчно врать я, —

опрокину стаканы,
взлезу на столик.
Слушайте,
литературная братия!

Сидите,
глазенки в чаишко канув.
Вытерся от строчения локоть плюшевый.
Подымите глаза от недопитых стаканов.
От косм освободите уши вы.

Вас,
прилипших
к стене,
к обоям,
милые,
что вас со словом свело?
А знаете,
если не писал,
разбоем
занимался Франсуа Виллон.

Вам,
берущим с опаской
и перочинные ножи,
красота великолепнейшего века вверена вам!
Из чего писать вам?
Сегодня
жизнь
в сто крат интересней
у любого помощника присяжного поверенного.

Господа поэты,
неужели не наскучили
пажи,
дворцы,
любовь,
сирени куст вам?
Если
такие, как вы,

творцы —
мне наплевать на всякое искусство.

Лучше лавочку открою.
Пойду на биржу.
Тугими бумажниками растопырю бока.
Пьяной песней
душу выржу
в кабинете кабака.

Под копны волос проникнет ли удар?
Мысль
одна под волосища вложена:
«Причесываться? Зачем же?!
На время не стоит труда,
а вечно
причесанным быть
невозможно».

<1917>

РЕВОЛЮЦИЯ
ПОЭТОХРОНИКА

26 февраля. Пьяные, смешанные с полицией,
солдаты стреляли в народ.

27-е.

Разли́лся по блескам дул и лезвий
рассвет.
Рдел багрян и до́лог.
В промозглой казарме
суровый,
трезвый
молился Волынский полк.

Жестоким
солдатским богом божились
роты,
бились об пол головой многолобой.

Кровь разжигалась, висками жилясь.
Руки в железо сжимались злобой.

Первому же,
приказавшему —
    «Стрелять за голод!» —
    заткнули пулей орущий рот.
    Чье-то — «Смирно!»
    Не кончил.
Заколот.
Вырвалась городу буря рот.

9 часов.

На своем постоянном месте
в Военной автомобильной школе
стоим,
зажатые казарм оградою.
Рассвет растет,
сомненьем колет,
предчувствием страша и радуя.

Окну!
Вижу —
оттуда,
где режется небо
дворцов иззубленной линией,
взлетел,
простерся орел самодержца,
черней, чем раньше,
злей,
орлинее.

Сразу —
люди,
лошади,
фонари,
дома
и моя казарма
толпами
пó сто
ринулись на улицу.

Шагами ломаемая, звенит мостовая.
Уши крушит невероятная поступь.

И вот неведомо,
из пенья толпы ль,
из рвущейся меди ли труб гвардейцев
нерукотворный,
сияньем пробивая пыль,
образ возрос.
Горит.
Рдеется.

Шире и шире крыл окружие.
Хлеба нужней,
воды изжажданней,
вот она:
«Граждане, за ружья!
К оружию, граждане!»

На крыльях флагов
стоглавой лавою
из горла города ввысь взлетела.
Штыков зубами вгрызлась в двуглавое
орла императорского черное тело.

Граждане!
Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».
Сегодня пересматривается миров основа.
Сегодня
до последней пуговицы в одежде
жизнь переделаем снова.

Граждане!
Это первый день рабочего потопа.
Идем
запутавшемуся миру на выручу!
Пусть толпы в небо вбивают топот!
Пусть флоты ярость сиренами вырычут!

Горе двуглавому!
Пенится пенье.
Пьянит толпу.

Площади плещут.
На крохотном форде
мчим,
обгоняя погони пуль.
Взрывом гудков продираемся в городе.

В тумане.
Улиц река дымит.
Как в бурю дюжина груженых барж,
над баррикадами
плывет, громыхая, марсельский марш.

Первого дня огневое ядро
жужжа скатилось за купол Думы.
Нового утра новую дрожь
встречаем у новых сомнений в бреду мы.

Что будет?
Их ли из окон выломим,
или на нарах
ждать,
чтоб снова
Россию
могилами
выгорбил монарх?!

Душу глушу об выстрел резкий.
Дальше
в шинели орыт.
Рассыпав дома в пулеметном треске,
город грохочет.
Город горит.

Везде языки.
Взовьются и лягут.
Вновь взвиваются, искры рассея.
Это улицы,
взяв по красному флагу,
призывом зарев зовут Россию.

Еще!
О, еще!

О, ярче учи, красноязыкий оратор!
Зажми и солнца
и лун лучи
мстящими пальцами тысячерукого Марата!

Смерть двуглавому!
Каторгам в двери
ломись,
когтями ржавые выев.
Пучками черных орлиных перьев
подбитые падают городовые.

Сдается столицы горящий остов.
По чердакам раскинули поиск.
Минута близко.
На Троицкий мост
вступают толпы войск.

Скрип содрогает устои и скрепы.
Стиснулись.
Бьемся.
Секунда! —
и в лак
заката
с фортов Петропавловской крепости
взвился огнем революции флаг.

Смерть двуглавому!
Шеищи глав
рубите наотмашь!
Чтоб больше не ожил.
Вот он!
Падает!
В последнего из-за угла! — вцепился.
«Боже,
четыре тысячи в лоно твое прими!»

Довольно!
Радость трубите всеми голосами!
Нам
до бога
дело какое?

Сами
со святыми своих упокоим.

Что ж не поете?
Или
души задушены Сибирей саваном?
Мы победили!
Слава нам!
Сла-а-ав-в-ва нам!

Пока на оружии рук не разжали,
повелевается воля иная.
Новые несем земле скрижали
с нашего серого Синая.

Нам,
Поселянам Земли,
каждый Земли Поселянин родной.
Все
по станкам,
по конторам,
по шахтам братья.
Мы все
на земле
солдаты одной,
жизнь созидающей рати.

Пробеги планет,
держав бытие
подвластны нашим волям.
Наша земля.
Воздух — наш.
Наши звезд алмазные копи.
И мы никогда,
никогда!
никому,
никому не позволим!
землю нашу ядрами рвать,
воздух наш раздирать остриями отточенных копий.

Чья злоба на́двое землю сломала?
Кто вздыбил дымы над заревом боен?

Или солнца
одного
на всех мало?!
Или небо над нами мало́ голубое?!

Последние пушки грохочут в кровавых спорах,
последний штык заводы гранят.
Мы всех заставим рассыпать порох.
Мы детям раздарим мячи гранат.

Не трусость вопит под шинелью серою,
не крики тех, кому есть нечего;
это народа огромного громо́вое:
— Верую
величию сердца человечьего! —

Это над взбитой битвами пылью,
над всеми, кто грызся, в любви изверясь,
днесь
небывалой сбывается былью
социалистов великая ересь!

17 апреля 1917
Петроград

СКАЗКА О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ

Жил да был на свете кадет.
В красную шапочку кадет был одет.

Кроме этой шапочки, доставшейся кадету,
ни черта́ в нем красного не было и нету.

Услышит кадет — революция где-то,
шапочка сейчас же на голове кадета.

Жили припеваючи за кадетом кадет,
и отец кадета и кадетов дед.

Поднялся однажды пребольшущий ветер,
в клочья шапчонку изорвал на кадете.

И остался он черный. А видевшие это
волки революции сцапали кадета.

Известно, какая у волков диета.
Вместе с манжетами сожрали кадета.

Когда будете делать политику, дети,
не забудьте сказочку об этом кадете.

Июль 1917.

К ОТВЕТУ!

Гремит и гремит войны барабан.
Зовет железо в живых втыкать.
Из каждой страны
за рабом раба
бросают на сталь штыка.
За что?
Дрожит земля
голодна,
раздета.
Выпарили человечество кровавой баней
только для того,
чтоб кто-то
где-то
разжи́лся Албанией.
Сцепилась злость человечьих свор,
падает на мир за ударом удар
только для того,
чтоб бесплатно
Босфор
проходили чьи-то суда.
Скоро
у мира
не останется неполоманного ребра.
И душу вытащат.
И растопчут там ее
только для того,
чтоб кто-то
к рукам прибрал
Месопотамию.
Во имя чего
сапог
землю растаптывает скрипящ и груб?

Кто над небом боев —
свобода?
бог?
Рубль!
Когда же встанешь во весь свой рост
ты,
отдающий жизнь свою им?
Когда же в лицо им бросишь вопрос:
за что воюем?

Август 1917

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ БАСНЯ

Петух однажды,
дог
и вор
такой скрепили договор:
дог
соберет из догов свору,
накрасть предоставлялось вору,
а петуху
про гром побед
орать,
и будет всем обед.
Но это всё раскрылось скоро.
Прогнали
с трона
в шею
вора.

Навертывается мораль:
туда же
догу
не пора ль?

Между февралем и октябрем 1917

* * *

Ешь ананасы, рябчиков жуй,
День твой последний приходит, буржуй.

Сентябрь или октябрь 1917

ТРАГЕДИЯ
ПОЭМЫ
(1913—1917)

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ
ТРАГЕДИЯ

Пролог. Два действия. Эпилог.

ДЕЙСТВУЮТ:

Владимир Маяковский (поэт 20—25 лет).
Его знакомая (сажени 2—3. Не разговаривает).
Старик с черными сухими кошками (несколько тысяч лет).
Человек без глаза и ноги.
Человек без уха.
Человек без головы.
Человек с растянутым лицом.
Человек с двумя поцелуями.
Обыкновенный молодой человек.
Женщина со слезинкой.
Женщина со слезой.
Женщина со слезищей.
Газетчики, мальчики, девочки и др.

Пролог

В. Маяковский

Вам ли понять,
почему я,
спокойный,
насмешек грозою
душу на блюде несу
к обеду идущих лет.
С небритой щеки площадей

стекая ненужной слезою,
я,
быть может,
последний поэт.
Замечали вы —
качается
в каменных аллеях
полосатое лицо повешенной скуки,
а у мчащихся рек
на взмыленных шеях
мосты заломили железные руки.
Небо плачет
безудержно,
звонко;
а у облачка
гримаска на морщинке ротика,
как будто женщина ждала ребенка,
а бог ей кинул кривого идиотика.
Пухлыми пальцами в рыжих волосиках
солнце изласкало вас назойливостью овода —
в ваших душах выцелован раб.
Я, бесстрашный,
ненависть к дневным лучам понес в веках;
с душой натянутой, как нервы про́вода,
я —
царь ламп!
Придите все ко мне,
кто рвал молчание,
кто выл
оттого, что петли полдней туги, —
я вам открою
словами
простыми, как мычанье,
наши новые души,
гудящие,
как фонарные дуги.
Я вам только головы пальцами трону,
и у вас
вырастут губы
для огромных поцелуев
и язык,
родной всем народам.

А я, прихрамывая душонкой,
уйду к моему трону
с дырами звезд по истертым сводам.
Лягу,
светлый,
в одеждах из лени
на мягкое ложе из настоящего навоза,
и тихим,
целующим шпал колени,
обнимет мне шею колесо паровоза.

Первое действие

Весело. Сцена — город в паутине улиц. Праздник нищих. Один В. Маяковский. Проходящие приносят еду — железного сельдя с вывески, золотой огромный калач, складки желтого бархата.

В. Маяковский

Милостивые государи!
Заштопайте мне душу,
пустота сочиться не могла бы.
Я не знаю, плевок — обида или нет.
Я сухой, как каменная баба.
Меня выдоили.
Милостивые государи,
хотите —
сейчас перед вами будет танцевать
замечательный поэт?

Входит Старик с черными сухими кошками. Гладит. Весь — борода.

В. Маяковский

Ищите жирных в домах-скорлупах
и в бубен брюха веселье бейте!
Схватите за ноги глухих и глупых
и дуйте в уши им, как в ноздри флейте.
Разбейте днища у бочек злости,
ведь я горящий булыжник дум ем.
Сегодня в вашем кричащем тосте
Я овенчаюсь моим безумием.

Сцена постепенно наполняется. Человек без уха. Человек без головы и др. Тупые. Стали беспорядком, едят дальше.

В. Маяковский

Граненых строчек босой алмазник,
взметя перины в чужих жилищах,
зажгу сегодня всемирный праздник
таких богатых и пестрых нищих.

Старик с кошками

Оставь.
Зачем мудрецам погремушек потеха?
Я — тысячелетний старик.
И вижу — в тебе на кресте из смеха
распят замученный крик.
Легло на город громадное горе
и сотни махоньких горь.
А свечи и лампы в галдящем споре
покрыли шопоты зорь.
Ведь мягкие луны не властны над нами, —
огни фонарей и нарядней и хлеще.
В земле городов нареклись господами
и лезут стереть нас бездушные вещи.
А с неба на вой человечьей орды
глядит обезумевший бог.
И руки в отрепьях его бороды,
изъеденных пылью дорог.
Он — бог,
а кричит о жестокой расплате,
а в ваших душонках поношенный вздошек.
Бросьте его!
Идите и гладьте —
гладьте сухих и черных кошек!
Громадные брюха возьмете хвастливо,
лоснящихся щек надуете пышки.
Лишь в кошках,
где шерсти вороньей отливы,
наловите глаз электрических вспышки.
Весь лов этих вспышек
(он будет обилен!)
вольем в провода,
в эти мускулы тяги, —
заскачут трамваи,
пламя светилен
зареет в ночах, как победные стяги.

Мир зашевéлится в радостном гриме,
цветы испавлинятся в каждом окошке,
по рельсам потащат людей,
а за ними
все кошки, кошки, черные кошки!
Мы солнца приколем любимым на платье,
из звезд накуем серебрящихся брошек.
Бросьте квартиры!
Идите и гладьте —
гладьте сухих и черных кошек!

Человек без уха

Это — правда!
Над городом —
где флюгéров древки —
женщина —
черные пещеры век —
мечется,
кидает на тротуары плевки, —
а плевки вырастают в огромных калек.
Отмщалась над городом чья-то вина, —
люди столпились,
табуном бежали.
А там,
в обоях,
меж тенями вина,
сморщенный старикашка плачет на рояле.

Окружают.

Над городом ширится легенда мук.
Схватишься за ноту —
пальцы окровавишь!
А музыкант не может вытащить рук
из белых зубов разъяренных клавиш.

Все в волнении.

И вот
сегодня
с утра
в душу
врезал матчиш гу́бы.
Я ходил, подергиваясь,

руки растопыря,
а везде по крышам танцевали трубы,
и каждая коленями выкидывала 44!
Господа!
Остановитесь!
Разве это можно?!
Даже переулки засучили рукава для драки.
А тоска моя растет,
непонятна и тревожна,
как слеза на морде у плачущей собаки.

Еще тревожнее.

Старик с кошками

Вот видите!
Вещи надо рубить!
Недаром в их ласках провидел врага я!

Человек с растянутым лицом

А может быть, вещи надо любить?
Может быть, у вещей душа другая?

Человек без уха

Многие вещи сшиты наоборот.
Сердце не сердится,
к злобе глухо.

Человек с растянутым лицом

(радостно поддакивает)

И там, где у человека вырезан рот,
многим вещам пришито ухо!

В. Маяковский

(поднял руку, вышел в середину)

Злобой не мажьте сердец концы!
Вас,
детей моих,
буду учить непреклонно и строго.
Все вы, люди,
лишь бубенцы
на колпаке у бога.

Я
ногой, распухшей от исканий,
обошел
и вашу сушу
и еще какие-то другие страны
в домино и в маске темноты.
Я искал
ее,
невиданную душу,
чтобы в губы-раны
положить ее целящие цветы.

(Остановился.)

И опять,
как раб
в кровавом поте,
тело безумием качаю.
Впрочем,
раз нашел ее —
душу.
Вышла
в голубом капоте,
говорит:
«Садитесь!
Я давно вас ждала.
Не хотите ли стаканчик чаю?»

(Остановился.)

Я — поэт,
я разницу стер
между лицами своих и чужих.
В гное моргов искал сестер.
Целовал узорно больных.
А сегодня
на желтый костер,
спрятав глубже слёзы морей,
я взведу и стыд сестер
и морщины седых матерей!
На тарелках зализанных зал
будем жрать тебя, мясо, век!

Срывает покрывало. Громадная женщина. Боязливо. Вбегает Обыкновенный молодой человек. Суетится.

В. Маяковский
(в стороне — тихо)

Милостивые государи!
Говорят,
где-то —
кажется, в Бразилии —
есть один счастливый человек!

Обыкновенный молодой человек
(подбегает к каждому, цепляется)

Милостивые государи!
Стойте!
Милостивые государи!
Господин,
господин,
скажите скорей:
это здесь хотят сжечь
матерей?
Господа!
Мозг людей остер,
но перед тайнами мира ник;
а ведь вы зажигаете костер
из сокровищ знаний и книг!
Я придумал машинку для рубки котлет.
Я умом вовсе не плох!
У меня есть знакомый —
он двадцать пять лет
работает
над капканом для ловли блох.
У меня жена есть,
скоро родит сына или дочку,
а вы — говорите гадости!
Интеллигентные люди!
Право, как будто обидно.

Человек без уха

Молодой человек,
встань на коробочку!

Из толпы

Лучше на бочку!

Человек без уха

А то вас совсем не видно!

Обыкновенный молодой человек

И нечего смеяться!
У меня братец есть,
маленький, —
вы придете и будете жевать его кости.
Вы всё хотите съесть!

Тревога. Гудки. За сценой крики: «Штаны, штаны!»

В. Маяковский

Бросьте!

Обыкновенного молодого человека обступают со всех сторон.

Если б вы так, как я, голодали —
дали
востока и запада
вы бы глодали,
как гложут кость небосвода
заводов копченые рожи!

Обыкновенный молодой человек

Что же, —
значит, ничто любовь?
У меня есть Сонечка сестра!

(На коленях.)

Милые!
Не лейте кровь!
Дорогие,
не надо костра!

Тревога выросла. Выстрелы. Начинает медленно тянуть одну ноту водосточная труба. Загудело железо крыш.

Человек с растянутым лицом

Если б вы так, как я, любили,
вы бы убили любовь
или лобное место нашли
и растлили б
шершавое потное небо
и молочно-невинные звезды.

Человек без уха

Ваши женщины не умеют любить,
они от поцелуев распухли, как губки.

Вступают удары тысячи ног в натянутое брюхо площади.

Человек с растянутым лицом

А из моей души
тоже можно сшить
такие нарядные юбки!

Волнение не помещается. Все вокруг громадной женщины. Взваливают на плечи. Тащат.

Вместе

Идем, —
где за святость
распяли пророка,
тела отдадим раздетому плясу,
на черном граните греха и порока
поставим памятник красному мясу.

Дотаскивают до двери. Оттуда торопливые шаги. Человек без глаза и ноги. Радостный. Безумие надорвалось. Женщину бросили.

Человек без глаза и ноги

Стойте!
На улицах,
где лица —
как бремя,
у всех одни и те ж,
сейчас родила старуха-время
огромный
криворотый мятеж!
Смех!
Перед мордами вылезших годов
онемели земель старожилы,
а злоба
вздувала на лбах городов
ре́ки —
тысячеверстые жилы.
Медленно,
в ужасе,
стрелки во́лос
подымался на лысом темени времен.

И вдруг
все вещи
кинулись,
раздирая голос,
скидывать лохмотья изношенных имен.
Винные витрины,
как по пальцу сатаны,
сами плеснули в днища фляжек.
У обмершего портного
сбежали штаны
и пошли —
одни! —
без человечьих ляжек!
Пьяный —
разинув черную пасть —
вывалился из спальни комод.
Корсеты слезали, боясь упасть,
из вывесок «Robes et modes» [1].
Каждая калоша недоступна и строга.
Чулки-кокотки
игриво щурятся.
Я летел, как ругань.
Другая нога
еще добегает в соседней улице.
Что же,
вы,
кричащие, что я калека?! —
старые,
жирные,
обрюзгшие враги!
Сегодня
в целом мире не найдете человека,
у которого
две
одинаковые
ноги!

Занавес

---

[1] Платья и моды (франц.). — *Ред.*

Второе действие

Скучно. Площадь в новом городе. В. Маяковский переоделся в тогу. Лавровый венок. За дверью многие ноги.

Человек без глаза и ноги

(услужливо)

Поэт!
Поэт!
Вас объявили князем.
Покорные
толпятся за дверью,
пальцы сосут.
Перед каждым положен наземь
какой-то смешной сосуд.

В. Маяковский

Что же,
пусть идут!

Робко. Женщины с узлами. Много кланяются.

Первая

Вот это слёзка моя —
возьмите!
Мне не нужна она.
Пусть.
Вот она,
белая,
в шелке из нитей
глаз, посылающих грусть!

В. Маяковский

(беспокойно)

Не нужна она,
зачем мне?

(Следующей.)

И у вас глаза распухли?

Вторая

(беспечно)

Пустяки!
Сын умирает.

Не тяжко.
Вот еще слеза.
Можно на туфлю.
Будет красивая пряжка.

В. Маяковский испуган.

Третья

Вы не смотрите,
что я
грязная.
Вымоюсь —
буду чище.
Вот вам и моя слеза,
праздная,
большая слезища.

В. Маяковский

Будет!
Их уже гора.
Да и мне пора.
Кто этот очаровательный шатен?

Газетчики

— Фигаро!
— Фигаро!
— Матэн!

Человек с двумя поцелуями. Все оглядывают. Говорят вперебой:

— Смотрите —
какой дикий!
— Отойдите немного.
Темно.
— Пустите!
— Молодой человек,
не икайте!

Человек без головы

И-и-и-и...
Э-э-э-э...

Человек с двумя поцелуями

Тучи отдаются небу,
рыхлы и гадки.
День гиб.
Девушки воздуха тоже до золота падки,
и им только деньги.

В. Маяковский

Что?

Человек с двумя поцелуями

Деньги и деньги б!

Голоса

— Тише!
— Тише!

Человек с двумя поцелуями
(танец с дырявыми мячами)

Большому и грязному человеку
подарили два поцелуя.
Человек был неловкий,
не знал,
что с ними делать,
куда их деть.
Город,
весь в празднике,
возносил в соборах аллилуя,
люди выходили красивое надеть.
А у человека было холодно
и в подошвах дырочек овальцы.
Он выбрал поцелуй,
который побольше,
и надел, как калошу.
Но мороз ходил злой,
укусил его за пальцы.
«Что же, —
рассердился человек, —
я эти ненужные поцелуи брошу!»
Бросил.
И вдруг
у поцелуя выросли ушки,

он стал вертеться,
тоненьким голосочком крикнул:
«Мамочку!»
Испугался человек.
Обернул лохмотьями души своей дрожащее
тельце,
понес домой,
чтобы вставить в голубенькую рамочку.
Долго рылся в пыли по чемоданам
(искал рамочку).
Оглянулся —
поцелуй лежит на диване,
громадный,
жирный,
вырос,
смеется,
бесится!
«Господи! —
заплакал человек. —
Никогда не думал, что я так устану.
Надо повеситься!»
И пока висел он,
гадкий,
жаленький, —
в будуарах женщины
— фабрики без дыма и труб —
миллионами выделывали поцелуи —
всякие,
большие,
маленькие —
мясистыми рычагами шлепающих губ.

Вбежавшие дети-поцелуи

(резво)

Нас массу выпустили.
Возьмите!
Сейчас остальные придут.
Пока — восемь.
Я —
Митя.
Просим!

Каждый кладет слезу.

В. Маяковский

Господа!
Послушайте, —
я не могу!
Вам хорошо,
а мне с болью-то как?

Угрозы:

Ты поговори еще там!
Мы из тебя сделаем рагу,
как из кролика!

Старик с одной ощипанной кошкой

Ты один умеешь песни петь.

(На груду слёз.)

Отнеси твоему красивому богу.

В. Маяковский

Пустите сесть!

Не дают. В. Маяковский неуклюже топчется, собирает слезы в чемодан. Стал с чемоданом.

Хорошо!
Дайте дорогу!
Думал —
радостный буду.
Блестящий глазами
сяду на трон,
изнеженный телом грек.
Нет!
Век,
дорогие дороги,
не забуду
ваши ноги худые
и седые волосы северных рек!
Вот и сегодня —
выйду сквозь город,
душу
на копьях домов
оставляя за клоком клок.
Рядом луна пойдет —

туда,
где небосвод распорот.
Поравняется,
на секунду примерит мой котелок.
Я
с ношей моей
иду,
спотыкаюсь,
ползу
дальше
на север,
туда,
где в тисках бесконечной тоски
пальцами волн
вечно
грудь рвет
океан-изувер.

Я добреду —
усталый,
в последнем бреду
брошу вашу слезу
темному богу гроз
у истока звериных вер.

Занавес

Эпилог

В. Маяковский

Я это всё писал
о вас,
бедных крысах.
Жалел — у меня нет груди:
я кормил бы вас доброй ненянькой.
Теперь я немного высох,
я — блаженненький.
Но зато
кто
где бы

мыслям дал
такой нечеловечий простор!
Это я
попал пальцем в небо,
доказал:
он — вор!
Иногда мне кажется —
я петух голландский
или я
король псковский.
А иногда
мне больше всего нравится
моя собственная фамилия,
Владимир Маяковский.

Лето 1913

ОБЛАКО В ШТАНАХ

ТЕТРАПТИХ

Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут,
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огро́мив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.

Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!

Приходи́те учиться —
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.

И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.

Хотите —
буду от мяса бешеный —

и, как небо, меняя тона —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а — облако в штанах!

Не верю, что есть цветочная Ницца!
Мною опять славословятся
мужчины, залежанные, как больница,
и женщины, истрепанные, как пословица.

1

Вы думаете, это бредит малярия?

Это было,
было в Одессе.

«Приду в четыре», — сказала Мария.

Восемь.
Девять.
Десять.

Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрый.

В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.

Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!

Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце — холодной железкою.

Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.

И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любёночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.

Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом в его лицо рябое,
жду,
обрызганный громом городского прибоя.

Полночь, с ножом мечась,
догна́ла,
зарезала, —
вон его!

Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.

В стеклах дождинки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери.

Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.

Слышу:
тихо,

как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот —
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.
Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы —
большие,
маленькие,
многие! —
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!

А ночь по комнате тинится и тинится, —
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.

Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб нá зуб.

Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала:
«Знаете —
я выхожу замуж».

Что ж, выходи́те.
Ничего.
Покреплюсь.
Видите — спокоен как!

Как пульс
покойника.

Помните?
Вы говорили:
«Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть», —
а я одно видел:
вы — Джиоконда,
которую надо украсть!

И украли.

Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей зáгиб.
Что же!
И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!

Дрáзните?
«Меньше, чем у нищего копеек,
у вас изумрудов безумий».
Помните!
Погибла Помпея,
когда раздразнили Везувий!

Эй!
Господа!
Любители
святотатств,
преступлений,
боен, —
а самое страшное
видели —
лицо мое,
когда
я
абсолютно спокоен?

И чувствую —
«я»

для меня мало́.
Кто-то из меня вырывается упрямо.

Allo!
Кто говорит?
Мама?
Мама!

Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле, —
ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.

Люди нюхают —
запахло жареным!
Нагнали каких-то.
Блестящие!
В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.
Я сам.
Глаза наслезнённые бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!

На лице обгорающем
из трещины губ
обугленный поцелуишко броситься вырос.

Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается клирос!

Обгорелые фигурки слов и чисел
из черепа,
как дети из горящего здания.
Так страх
схватиться за небо
высил
горящие руки «Лузитании».

Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний, —
ты хоть
о том, что горю, в столетия выстони!

2

Славьте меня!
Я великим не чета.
Я над всем, что сделано,
ставлю «nihil» [1].

Никогда
ничего не хочу читать.
Книги?
Что книги!

Я раньше думал —
книги делаются так:
пришел поэт,
легко разжал уста,
и сразу запел вдохновенный простак —
пожалуйста!
А оказывается —
прежде чем начнет петься,
долго ходят, размозолев от брожения,
и тихо барахтается в тине сердца
глупая вобла воображения.

[1] «Ничто» (лат.). — *Ред.*

Пока выкипячивают, рифмами пиликая,
из любвей и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая —
ей нечем кричать и разговаривать.

Городов вавилонские башни,
возгордясь, возносим снова,
а бог
города на пашни
рушит,
мешая слово.

Улица му́ку молча пёрла.
Крик торчком стоял из глотки.
Топорщились, застрявшие поперек горла,
пухлые taxi [1] и костлявые пролетки.
Грудь испешеходили.
Чахотки площе.

Город дорогу мраком запер.

И когда —
все-таки! —
выхаркнула давку на площадь,
спихнув наступившую на горло паперть,
думалось:
в хо́рах архангелова хорала
бог, ограбленный, идет карать!

А улица присела и заорала:
«Идемте жрать!»

Гримируют городу Круппы и Круппики
грозящих бровей морщь,
а во рту
умерших слов разлагаются трупики,
только два живут, жирея, —
«сволочь»

---

[1] Такси (франц.). — *Ред.*

и еще какое-то,
кажется — «борщ».

Поэты,
размокшие в плаче и всхлипе,
бросились от улицы, ероша космы:
«Как двумя такими выпеть
и барышню,
и любовь,
и цветочек под росами?»

А за поэтами —
уличные тыщи:
студенты,
проститутки,
подрядчики.

Господа!
Остановитесь!
Вы не нищие,
вы не смеете просить подачки!

Нам, здоровенным,
с шагом саженьим,
надо не слушать, а рвать их —
их,
присосавшихся бесплатным приложением
к каждой двуспальной кровати!

Их ли смиренно просить:
«Помоги мне!»
Молить о гимне,
об оратории!
Мы сами творцы в горящем гимне —
шуме фабрики и лаборатории.

Что мне до Фауста,
феерией ракет
скользящего с Мефистофелем в небесном
паркете!
Я знаю —

гвоздь у меня в сапоге
кошмарней, чем фантазия у Гете!

Я,
златоустейший,
чье каждое слово
душу новородит,
именинит тело,
говорю вам:
мельчайшая пылинка живого
ценнее всего, что я сделаю и сделал!

Слушайте!
Проповедует,
мечась и стеня,
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!
Мы
с лицом, как заспанная простыня,
с губами, обвисшими, как люстра,
мы,
каторжане города-лепрозория,
где золото и грязь изъя́звили проказу, —
мы чище венецианского лазорья,
морями и солнцами омытого сразу!

Плевать, что нет
у Гомеров и Овидиев
людей, как мы,
от копоти в оспе.
Я знаю —
солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!

Жилы и мускулы — молитв верней.
Нам ли вымаливать милостей времени!
Мы —
каждый —
держим в своей пятерне
миров приводные ремни!

Это взвело на Голгофы аудиторий
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,
и не было ни одного,

который
не кричал бы:
«Распни,
распни его!»

Но мне —
люди,
и те, что обидели, —
вы мне всего дороже и ближе.

Видели,
как собака бьющую руку лижет?!

Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабрезный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.

Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

А я у вас — его предтеча;
я — где боль, везде;
на каждой капле слёзовой течи
ра́спял себя на кресте.
Уже ничего простить нельзя.
Я выжег души, где нежность растили.
Это труднее, чем взять
тысячу тысяч Бастилий!

И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю —
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! —
и окровавленную дам, как знамя.

Ах, зачем это,
откуда это
в светлое весело
грязных кулачищ замах!

Пришла
и голову отчаянием занавесила
мысль о сумасшедших домах.

И —
как в гибель дредноута
от душащих спазм
бросаются в разинутый люк —
сквозь свой
до крика разодранный глаз
лез, обезумев, Бурлюк.
Почти окровавив исслезенные веки,
вылез,
встал,
пошел
и с нежностью, неожиданной в жирном человеке,
взял и сказал:
«Хорошо!»

Хорошо, когда в желтую кофту
душа от осмотров укутана!
Хорошо,
когда брошенный в зубы эшафоту,
крикнуть:
«Пейте какао Ван-Гутена!»

И эту секунду,
бенгальскую,
громкую,
я ни на что б не выменял,
я ни на...

А из сигарного дыма
ликерною рюмкой
вытягивалось пропитое лицо Северянина.

Как вы смеете называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!
Сегодня
надо
кастетом
кроиться миру в черепе!

Вы,
обеспокоенные мыслью одной —
«изящно пляшу ли», —
смотрите, как развлекаюсь
я —
площадной
сутенер и карточный шулер!

От вас,
которые влюбленностью мокли,
от которых
в столетия слеза лилась,
уйду я,
солнце моноклем
вставлю в широко растопыренный глаз.

Невероятно себя нарядив,
пойду по земле,
чтоб нравился и жегся,
а впереди
на цепочке Наполеона поведу, как мопса.

Вся земля поляжет женщиной,
заерзает мясами, хотя отдаться;
вещи оживут —
губы вещины
засюсюкают:
«цаца, цаца, цаца!»

Вдруг
и тучи
и облачное прочее
подняло на небе невероятную качку,

как будто расходятся белые рабочие,
небу объявив озлобленную стачку.

Гром из-за тучи, зверея, вылез,
громадные ноздри задорно высморкал,
и небье лицо секунду кривилось
суровой гримасой железного Бисмарка.

И кто-то,
запутавшись в облачных путах,
вытянул руки к кафе —
и будто по-женски,
и нежный как будто,
и будто бы пушки лафет.

Вы думаете —
это солнце нежненько
треплет по щечке кафе?
Это опять расстрелять мятежников
грядет генерал Галифе!

Выньте, гулящие, руки из брюк —
берите камень, нож или бомбу,
а если у которого нету рук —
пришел чтоб и бился лбом бы!

Идите, голодненькие,
потненькие,
покорненькие,
закисшие в блохастом грязненьке!

Идите!
Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!
Пускай земле под ножами припомнится,
кого хотела опошлить!
Земле,
обжиревшей, как любовница,
которую вылюбил Ротшильд!

Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника, —

выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.

Изругивался,
вымаливался,
резал,
лез за кем-то
вгрызаться в бока.

На небе, красный, как марсельеза,
вздрагивал, околевая, закат.

Уже сумасшествие.

Ничего не будет.

Ночь придет,
перекусит
и съест.

Видите —
небо опять иудит
пригоршнью обрызганных предательством
звезд?

Пришла.
Пирует Мамаем,
задом на город насев.
Эту ночь глазами не проломаем,
черную, как Азеф!

Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы,
вином обливаю душу и скатерть
и вижу:
в углу — глаза круглы, —
глазами в сердце въелась богоматерь.

Чего одаривать по шаблону намалеванному
сиянием трактирную ораву!
Видишь — опять

голгофнику оплеванному
предпочитают Варавву?

Может быть, нарочно я
в человечьем меси́ве
лицом никого не новей.
Я,
может быть,
самый красивый
из всех твоих сыновей.

Дай им,
заплесневшим в радости,
скорой смерти времени,
чтоб стали дети, должные подрасти,
мальчики — отцы,
девочки — забеременели.

И новым рожденным дай обрасти
пытливой сединой волхвов,
и придут они —
и будут детей крестить
именами моих стихов.

Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном евангелии
тринадцатый апостол.

И когда мой голос
похабно ухает —
от часа к часу,
целые сутки,
может быть, Иисус Христос нюхает
моей души незабудки.

4

Мария! Мария! Мария!
Пусти, Мария!
Я не могу на улицах!

Не хочешь?
Ждешь,
как щеки провалятся ямкою,
попробованный всеми,
пресный,
я приду
и беззубо прошамкаю,
что сегодня я
«удивительно честный».

Мария,
видишь —
я уже начал сутулиться.

В улицах
люди жир продырявят в четыреэтажных зобах,
высунут глазки,
потертые в сорокгодовой таске, —
перехихикиваться,
что у меня в зубах
— опять! —
черствая булка вчерашней ласки.

Дождь обрыдал тротуары,
лужами сжатый жулик,
мокрый, лижет улиц забитый булыжником труп,
а на седых ресницах —
да! —
на ресницах морозных сосулек
слезы из глаз —
да! —
из опущенных глаз водосточных труб.

Всех пешеходов морда дождя обсосала,
а в экипажах лощился за жирным атлетом
атлет;
лопались люди,
проевшись насквозь,
и сочилось сквозь трещины сало,
мутной рекой с экипажей стекала

вместе с иссосанной булкой
жевотина старых котлет.

Мария!
Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово?
Птица
побирается песней,
поет,
голодна и звонка,
а я человек, Мария,
простой,
выхарканный чахоточной ночью в грязную руку
Пресни.

Мария, хочешь такого?
Пусти, Мария!
Судорогой пальцев зажму я железное горло
звонка!

Мария!

Звереют улиц выгоны.
На шее ссадиной пальцы давки.

Открой!

Больно!

Видишь — натыканы
в глаза из дамских шляп булавки!

Пустила.

Детка!
Не бойся,
что у меня на шее воловьей
потноживотые женщины мокрой горою сидят, —
это сквозь жизнь я тащу
миллионы огромных чистых любовей
и миллион миллионов маленьких грязных любят.

Не бойся,
что снова,
в измены ненастье,
прильну я к тысячам хорошеньких лиц, —
«любящие Маяковского!» —
да ведь это ж династия
на сердце сумасшедшего восшедших цариц.

Мария, ближе!

В раздетом бесстыдстве,
в боящейся дрожи ли,
но дай твоих губ неисцветшую прелесть:
я с сердцем ни разу до мая не дожили,
а в прожитой жизни
лишь сотый апрель есть.

Мария!
Поэт сонеты поет Тиане,
а я —
весь из мяса,
человек весь —
тело твое просто прошу,
как просят христиане —
«хлеб наш насущный
даждь нам днесь».

Мария — дай!

Мария!
Имя твое я боюсь забыть,
как поэт боится забыть
какое-то
в муках ночей рожденное слово,
величием равное богу.

Тело твое
я буду беречь и любить,
как солдат,
обрубленный войною,

ненужный,
ничей,
бережет свою единственную ногу.

Мария —
не хочешь?
Не хочешь!

Ха!

Значит — опять
темно и понуро
сердце возьму,
слезами окапав,
нести,
как собака,
которая в конуру
несет
переехнную поездом лапу.

Кровью сердца дорогу радую,
липнет цветами у пыли кителя.
Тысячу раз опляшет Иродиадой
солнце землю —
голову Крестителя.

И когда мое количество лет
выпляшет до конца —
миллионом кровинок устелется след
к дому моего отца.

Вылезу
грязный (от ночевок в канавах),
стану бок о бóк,
наклонюсь
и скажу ему нá ухо:

— Послушайте, господин бог!
Как вам не скушно
в облачный кисель
ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?

Давайте — знаете —
устроимте карусель
на дереве изучения добра и зла!

Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,
и вина такие расставим по́ столу,
чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу
хмурому Петру Апостолу.
А в рае опять поселим Евочек:
прикажи, —
сегодня ночью ж
со всех бульваров красивейших девочек
я натащу тебе.

Хочешь?

Не хочешь?

Мотаешь головою, кудластый?
Супишь седую бровь?
Ты думаешь —
этот,
за тобою, крыластый,
знает, что такое любовь?

Я тоже ангел, я был им —
сахарным барашком выглядывал в глаз,
но больше не хочу дарить кобылам
из севрской му́ки изваянных ваз.
Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого есть голова, —
отчего ты не выдумал,
чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать?!

Я думал — ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.

Крыластые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски!

Пустите!

Меня не остановите.
Вру я,
в праве ли,
но я не могу быть спокойней.
Смотрите —
звезды опять обезглавили
и небо окровавили бойней!

Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!

Глухо.

Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.

Начало 1914 — июль 1915

ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК

Пролог

За всех вас,
которые нравились или нравятся,
хранимых иконами у души в пещере,
как чашу вина в застольной здравице,
подъемлю стихами наполненный череп.

Все чаще думаю —
не поставить ли лучше
точку пули в своем конце.
Сегодня я
на всякий случай
даю прощальный концерт.

Память!
Собери у мозга в зале
любимых неисчерпаемые очереди.
Смех из глаз в глаза лей.
Былыми свадьбами ночь ряди.
Из тела в тело веселье лейте.
Пусть не забудется ночь никем.
Я сегодня буду играть на флейте.
На собственном позвоночнике.

1

Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда уйду я, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!

Буре веселья улицы у́зки.
Праздник нарядных черпал и че́рпал.
Думаю.
Мысли, крови сгустки,
больные и запекшиеся, лезут из черепа.

Мне,
чудотворцу всего, что празднично,
самому на праздник выйти не с кем.
Возьму сейчас и грохнусь навзничь
и голову вымозжу каменным Невским!
Вот я богохулил.
Орал, что бога нет,
а бог такую из пекловых глубин,
что перед ней гора заволнуется и дрогнет,
вывел и велел:
люби!

Бог доволен.
Под небом в круче
измученный человек одичал и вымер.
Бог потирает ладони ручек.
Думает бог:
погоди, Владимир!
Это ему, ему же,
чтоб не догадался, кто́ ты,
выдумалось дать тебе настоящего мужа
и на рояль положить человечьи ноты.
Если вдруг подкрасться к двери спа́ленной,
перекрестить над вами стёганье одеялово,
знаю —
запахнет шерстью па́ленной,
и серой издымится мясо дьявола.

А я вместо этого до утра раннего
в ужасе, что тебя любить увели,

метался
и крики в строчки выгранивал,
уже наполовину сумасшедший ювелир.
В карты б играть!
В вино
выполоскать горло сердцу изоханному.

Не надо тебя!
Не хочу!
Все равно
я знаю,
я скоро сдохну.

Если правда, что есть ты,
боже,
боже мой,
если звезд ковер тобою выткан,
если этой боли,
ежедневно множимой,
тобой ниспослана, господи, пытка,
судейскую цепь надень.
Жди моего визита.
Я аккуратный,
не замедлю ни на день.
Слушай,
всевышний инквизитор!

Рот зажму.
Крик ни один им
не выпущу из искусанных губ я.
Привяжи меня к кометам, как к хвостам
лошадиным,
и вымчи,
рвя о звездные зубья.
Или вот что:
когда душа моя выселится,
выйдет на суд твой,
выхмурясь тупенько,
ты,
Млечный Путь перекинув виселицей,
возьми и вздерни меня, преступника.
Делай что хочешь.

Хочешь, четвертуй.
Я сам тебе, праведный, руки вымою.
Только —
слышишь! —
убери проклятую ту,
которую сделал моей любимою!

Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда я денусь, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!

2

И небо,
в дымах забывшее, что голубо́,
и тучи, ободранные беженцы точно,
вызарю в мою последнюю любовь,
яркую, как румянец у чахоточного.

Радостью покрою рев
скопа
забывших о доме и уюте.
Люди,
слушайте!
Вылезьте из окопов.
После довоюете.

Даже если,
от крови качающийся, как Бахус,
пьяный бой идет —
слова любви и тогда не ветхи.
Милые немцы!
Я знаю,
на губах у вас
гётевская Гретхен.

Француз,
улыбаясь, на штыке мрет,
с улыбкой разбивается подстреленный
авиатор,

если вспомнят
в поцелуе рот
твой, Травиата.

Но мне не до розовой мякоти,
которую столетия выжуют.
Сегодня к новым ногам лягте!
Тебя пою,
накрашенную,
рыжую.

Может быть, от дней этих,
жутких, как штыков острия,
когда столетия выбелят бороду,
останемся только
ты
и я,
бросающийся за тобой от города к городу.

Будешь за́ море отдана,
спрячешься у ночи в норе —
я в тебя вцелую сквозь туманы Лондона
огненные губы фонарей.

В зное пустыни вытянешь караваны,
где львы начеку, —
тебе
под пылью, ветром рваной,
положу Сахарой горящую щеку.

Улыбку в губы вложишь,
смотришь —
тореадор хорош как!
И вдруг я
ревность метну в ложи
мрущим глазом быка.

Вынесешь на́ мост шаг рассеянный —
думать,
хорошо внизу бы.

Это я
под мостом разлился Сеной,
зову,
скалю гнилые зубы.

С другим зажгешь в огне рысаков
Стрелку или Сокольники.
Это я, взобравшись туда высоко,
луной томлю, ждущий и голенький.

Сильный,
понадоблюсь им я —
велят:
себя на войне убей!
Последним будет
твое имя,
запекшееся на выдранной ядром губе.

Короной кончу?
Святой Еленой?
Буре жизни оседлав валы,
я — равный кандидат
и на царя вселенной
и на
кандалы.

Быть царем назначено мне —
твое личико
на солнечном золоте моих монет
велю народу:
вычекань!
А там,
где тундрой мир вылинял,
где с северным ветром ведет река торги, —
на цепь нацарапаю имя Лилино
и цепь исцелую во мраке каторги.

Слушайте ж, забывшие, что небо голубо,
выщетинившиеся,
звери точно!
Это, может быть,
последняя в мире любовь
вызарилась румянцем чахоточного.

3

Забуду год, день, число.
Запрусь одинокий с листом бумаги я.
Творись, просветленных страданием слов
нечеловечья магия!

Сегодня, только вошел к вам,
почувствовал —
в доме неладно.
Ты что-то таила в шелковом платье,
и ширился в воздухе запах ладана.
Рада?
Холодное
«очень».
Смятеньем разбита разума ограда.
Я отчаянье громозжу, горящ и лихорадочен.

Послушай,
всё равно
не спрячешь трупа.
Страшное слово на голову лавь!
Все равно
твой каждый мускул
как в рупор
трубит:
умерла, умерла, умерла!
Нет,
ответь.
Не лги!
(Как я такой уйду назад?)
Ямами двух могил
вырылись в лице твоем глаза.

Могилы глубятся.
Нету дна там.
Кажется,
рухну с пóмоста дней.
Я душу над пропастью натянул канатом,
жонглируя словами, закачался над ней.

Знаю,
любовь его износила уже.

Скуку угадываю по стольким признакам.
Вымолоди себя в моей душе.
Празднику тела сердце вызнакомь.

Знаю,
каждый за женщину платит.
Ничего,
если пока
тебя вместо шика парижских платьев
одену в дым табака.

Любовь мою,
как апостол во время оно,
по тысяче тысяч разнесу дорог.
Тебе в веках уготована корона,
а в короне слова мои —
радугой судорог.

Как слоны стопудовыми играми
завершали победу Пиррову,
я поступью гения мозг твой выгромил.
Напрасно.
Тебя не вырву.

Радуйся,
радуйся,
ты доконала!
Теперь
такая тоска,
что только б добежать до канала
и голову сунуть воде в оскал.
Губы дала.
Как ты груба ими.
Прикоснулся и остыл.
Будто целую покаянными губами
в холодных скалах высеченный монастырь.

Захлопали
двери.
Вошел он,
весельем улиц орошен.

Я
как надвое раскололся в вопле.
Крикнул ему:
«Хорошо!
Уйду!
Хорошо!
Твоя останется.
Тряпок нашéй ей,
робкие крылья в шелках зажирели б.
Смотри, не уплыла б.
Камнем на шее
навесь жене жемчуга ожерелий!»

Ох, эта
ночь!
Отчаянье стягивал туже и туже сам.
От плача моего и хохота
морда комнаты выкосилась ужасом.

И видением вставал унесенный от тебя лик,
глазами вызарила ты на ковре его,
будто вымечтал какой-то новый Бялик
ослепительную царицу Сиона евреева.

В муке
перед той, которую отдáл,
коленопреклоненный выник.
Король Альберт,
все города
отдавший,
рядом со мной задаренный именинник.

Вызолачивайтесь в солнце, цветы и травы!
Весеньтесь, жизни всех стихий!
Я хочу одной отравы —
пить и пить стихи.

Сердце обокравшая,
всего его лишив,
вымучившая душу в бреду мою,

прими мой дар, дорогая,
больше я, может быть, ничего не придумаю.

В праздник красьте сегодняшнее число.
Творись,
распятью равная магия.
Видите —
гвоздями слов
прибит к бумаге я.

<1915>

ВОЙНА И МИР

Пролог

Хорошо вам.
Мертвые сраму не имут.
Злобу
к умершим убийцам туши.
Очистительнейшей влагой вымыт
грех отлетевшей души.

Хорошо вам!
А мне
сквозь строй,
сквозь грохот
как пронести любовь к живому?
Оступлюсь —
и последней любовишки кроха
навеки канет в дымный омут.

Что́ им
вернувшимся,
печали ваши,
что́ им
каких-то стихов бахрома?!
Им
на паре б деревяшек
день кое-как прохромать!

Боишься!
Трус!

Убьют!
А так
полсотни лет еще можешь, раб, расти.
Ложь!
Я знаю,
и в лаве атак
я буду первый
в геройстве,
в храбрости.

О, кто же,
набатом гибнущих годин
званый,
не выйдет брав?
Все!
А я
на земле
один
глашатай грядущих правд.

Сегодня ликую!
Не разбрызгав,
душу
сумел,
сумел донесть.
Единственный человечий,
средь воя,
средь визга,
голос
подъемлю днесь.

А там
расстреливайте,
вяжите к столбу!
Я ль изменюсь в лице!
Хотите —
туза
нацеплю на лбу,
чтоб ярче горела цель?!

Посвящение

Лиле

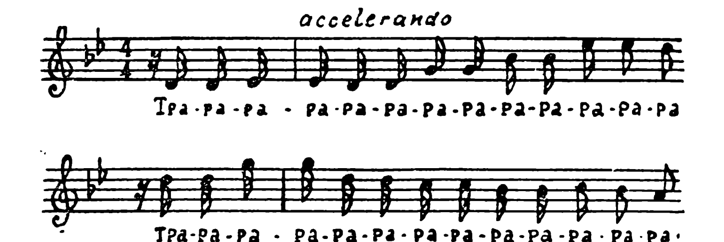
8 октября.
1915 год.
Даты
времени,
смотревшего в обряд
посвящения меня в солдаты.

«Слышите!
Каждый,
ненужный даже,
должен жить;
нельзя,
нельзя ж его
в могилы траншей и блиндажей
вкопать заживо —
убийцы!»

Не слушают.
Шестипудовый унтер сжал, как пресс.
От уха до уха выбрили аккуратненько.
Мишенью
на лоб
нацепили крест
ратника.

Теперь и мне на запад!
Буду идти и идти там,
пока не оплачут твои глаза
под рубрикой
«убитые»
набранного петитом.

Часть I



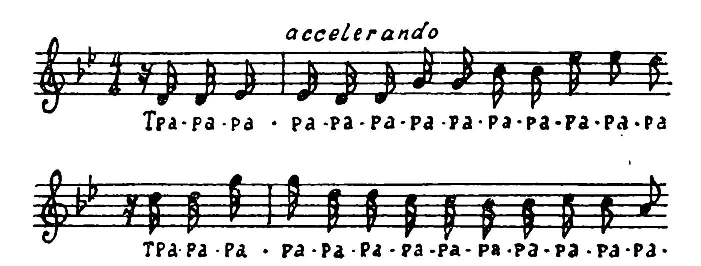
И вот
на эстраду,
колеблемую костром оркестра,
вывалился живот.
И начал!
Рос в глазах, как в тысячах луп.
Змеился.
Пот сиял лачком.
Вдруг —
остановил мелькающий пуп,
вывертелся волчком.

Что было!
Лысины слиплись в одну луну.
Смаслились глазки, щелясь.
Даже пляж,
расхлестав соленую слюну,
осклабил утыканную домами челюсть.

Вывертелся.
Рты,
как электрический ток,
скрючило «браво».
Браво!
Бра-аво!
Бра-а-аво!
Бра-а-а-аво!
Б-р-а-а-а-а-в-о!
Кто это,
кто?

Эта массомясая
быкомордая орава?

Стихам не втиснешь в тихие томики
крик гнева.
Это внуки Колумбов,
Галилеев потомки
ржут, запутанные в серпантинный невод!



А там,
всхлобучась на вечер чинный,
женщины
раскачивались шляпой стопёрой.
И в клавиши тротуаров бухали мужчины,
уличных блудилищ остервенелые тапёры.

Вправо,
влево,
вкривь,
вкось,
выфрантив полей лоно,
вихрились нанизанные на земную ось
карусели
Вавилонищ,
Вавилончиков,
Вавилонов.

Над ними
бутыли,
восхищающие длиной.

Под ними
бокалы
пьяной ямой.
Люди
или валялись,
как упившийся Ной,
или грохотали мордой многохамой!

Нажрутся,
а после,
в ночной слепоте,
вывалясь мясами в пухе и вате,
сползутся друг на друге потеть,
города содрогая скрипом кроватей.

Гниет земля,
ламп огни ей
взрывают кору горой волдырей;
дрожа городов агонией,
люди мрут
у камня в дыре.

Врачи
одного
вынули из гроба,
чтоб понять людей небывалую убыль:
в прогрызанной душе
золотолапым микробом
вился рубль.

Во все концы,
чтоб скорее вызлить
смерть,
взбурлив людей крышам вровень,
сердец столиц тысячесильные Дизели
вогнали вагоны зараженной крови.

Тихие!
Недолго пожили.

Сразу
железо рельс всочило по жиле
в загар деревень городов заразу.
Где пели птицы — тарелок лязги.
Где бор был — площадь стодомым содомом.
Шестиэтажными фавнами ринулись в пляски
публичный дом за публичным домом.

Солнце подымет рыжую голову,
запекшееся похмелье на вспухшем рте,
и нет сил удержаться голому —
взять
не вернуться ночам в вертеп.

И еще не успеет
ночь, арапка,
лечь, продажная,
в отдых,
в тень, —
на нее
раскаленную тушу вскарабкал
новый голодный день.

В крыши зажатые!
Горсточка звезд,
ори!
Шарахайся испуганно, вечер-инок!
Идем!
Раздуем на самок
ноздри,
выеденные зубами кокаина!

Часть II

Это случилось в одну из осеней,
были
горюче-сýхи
все.
Металось солнце,
сумасшедший маляр,
оранжевым колером пыльных выпачкав.

Откуда-то
на землю
нахлынули слухи.
Тихие.
Заходили на цыпочках.

Их шепот тревогу в гру́ди выселил,
а страх
под черепом
рукой красной
распутывал, распутывал и распутывал мысли,
и стало невыносимо ясно:
если не собрать людей пучками рот,
не взять и не взрезать людям вены —
зараженная земля
сама умрет —
сдохнут Парижи,
Берлины,
Вены!

Чего размякли?!
Хныкать поздно!
Раньше б раскаянье осеняло!
Тысячеруким врачам
ланцетами роздано
оружье из арсеналов.

Италия!
Королю,
брадобрею ли
ясно —
некуда деться ей!
Уже сегодня
реяли
немцы над Венецией!

Германия!
Мысли,
музеи,
книги,
каньте в разверстые жерла.

Зевы зарев, оскальтесь нагло!
Бурши,
скачите верхом на Канте!
Нож в зубы!
Шашки нáголо!

Россия!
Разбойной ли Азии зной остыл?!
В крови желанья бурлят ордой.
Выволакивайте забившихся под евангелие Толстых!
За ногу худую!
По камню бородой!

Франция!
Гони с бульваров любовный шепот!
В новые танцы — юношей выловить!
Слышишь, нежная?
Хорошо
под музыку митральезы жечь и насиловать!

Англия!
Турция!..
Т-р-а-а-ах!
Что это?
Послышалось!
Не бойтесь!
Ерунда!
Земля!
Смотрúте,
что по волосам ее?
Морщины окопов легли на чело!
Т-с-с-с-с-с... —
грохот.
Барабаны, музыка?
Неужели?
Она это,
она самая?
Да!
НАЧАЛОСЬ.

Часть III

Нерон!
Здравствуй!
Хочешь?
Зрелище величайшего театра.
Сегодня
бьются
государством в государство
16 отборных гладиаторов.

Куда легендам о бойнях Цезарей
перед былью,
которая теперь была!
Как на детском лице заря,
нежна ей
самая чудовищная гипербола.

Белкой скружишься у смеха в колесе,
когда узнает твой прах о том:
сегодня
мир
весь — Колизей,
и волны всех морей
по нем изостлались бархатом.

Трибуны — ска́лы,
и на скале там,
будто бой ей зубы выломил,
поднебесья соборов
скелет за скелетом
выжглись
и обнеслись перилами.

Сегодня
заревом в земную плешь она,
кровавя толп ропот,
в небо
люстрой подвешена
целая зажженная Европа.

Пришли,
расселись в земных долинах

гости
в страшном наряде.
Мрачно поигрывают на шеях длинных
ожерелья ядер.

Золото славян.
Черные мадьяр усы.
Негров непроглядные пятна.
Всех земных широт ярусы
вытолпила с головы до пят она.
И там,
где Альпы,
в закате грея,
выласкали в небе лед щеки, —
облаков галереей
нахохлились зоркие летчики.

И когда
на арену
воины
вышли
парадными парами,
в версты шарахнув театром удвоенный
грохот и гром миллиардных армий, —
шар земной
полюсы стиснул
и в ожидании замер.
Седоволосые океаны
вышли из берегов,
впились в арену мутными глазами.
Пылающими сходнями
спустилось солнце —
суровый
вечный арбитр.
Выгорая от любопытства,
звезд глаза повылезли из орбит.

А секунда медлит и медлит.
Лень ей.

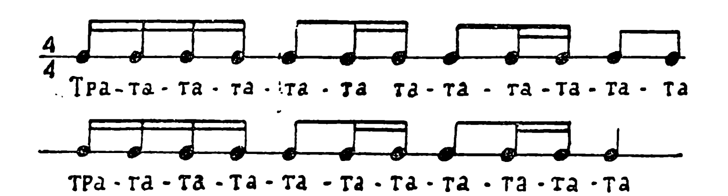
К началу кровавых игр,
напряженный, как совокупление,
не дыша, остановился миг.

Вдруг —
секунда вдребезги.
Рухнула арена дыму в дыру.
В небе — ни зги.
Секунды быстрились и быстрились —
взрывали,
ревели,
рвали.
Пеной выстрел на выстреле
огнел в кровавом вале.

Вперед!



Вздрогнула от крика грудь дивизий.
Вперед!
Пена у рта.
Разящий Георгий у знамен в девизе,
барабаны:



Бутафор!
Катафалк готовь!
Вдов в толпу!
Мало вдов еще в ней.
И взвился
в небо

фейерверк фактов,
один другого чудовищней.

Выпучив глаза,
маяк
из-за гор
через океаны плакал;
а в океанах
эскадры корчились,
насаженные мине на́ кол.

Дантова ада кошмаром намаранней,
громоголосие меди грохотом изоржав,
дрожа за Париж,
последним
на Марне
ядром отбивается Жоффр.

С юга
Константинополь,
оскалив мечети,
выблевывал
вырезанных
в Босфор.
Волны!
Мечите их,
впившихся зубами в огрызки просфор.

Лес.
Ни голоса.
Даже нарочен
в своей тишине.
Смешались их и наши.
И только
проходят
во́роны да ночи,
в чернь облачась, чредой монашьей.

И снова,
грудь обнажая зарядам,

плывя по вёснам,
пробиваясь в зиме,
армия за армией,
ряд за рядом
заливают мили земель.

Разгорается.
Новых из дубров волок.
Огня пентаграмма в пороге луга.
Молниями колючих проволок
сожраны сожженные в уголь.

Батареи добела раскалили жару.
Прыгают по трупам городов и сёл.
Медными мордами жрут
всё.

Огневержец!
Где не найдешь, карая!
Впутаюсь ракете,
в небо вбегу —
с неба,
красная,
рдея у края,
кровь Пегу.

И тверди,
и воды,
и воздух взрыт.
Куда направлю опромети шаг?
Уже обезумевшая,
уже навзрыд,
вырываясь, молит душа:

«Война!
Довольно!
Уйми ты их!
Уже на земле голó».
Метнулись гонимые разбегом убитые,

и еще
минуту
бегут без голов.

А над всем этим
дьявол
зарево зевот дымит.
Это в созвездии железнодорожных линий
стоит
озаренное пороховыми заводами
небо в Берлине.

Никому не ведомо,
дни ли,
годы ли,
с тех пор как на́ поле
первую кровь войне о́тдали,
в чашу земли сцедив по капле.

Одинаково —
камень,
болото,
халупа ли,
человечьей кровищей вымочили весь его.
Везде
шаги
одинаково хлюпали,
меся дымящееся мира ме́сиво.

В Ростове
рабочий
в праздничный отдых
захотел
воды для самовара выжать —
и отшатнулся:
во всех водопроводах
сочилась та же рыжая жижа.

В телеграфах надрывались машины Морзе.
Орали городам об юных они.

Где-то
на Ваганькове
могильщик заерзал.
Двинулись факельщики в хмуром Мюнхене.

В широко развороченную рану полка
раскаленную лапу всунули прожекторы.
Подняли одного,
бросили в окоп —
того,
на ноже который!
Библеец лицом,
изо рва
ряса.
«Вспомните!
За ны!
При Понтийстем Пилате!»
А ветер ядер
в клочки изорвал
и мясо и платье.



Выдернулась из дыма сотня голов.
Не сметь заплаканных глаз им!
Заволокло
газом.



Белые крылья выросли у души,
стон солдат в пальбе доносится.
«Ты на небо летишь, —
удуши,

удуши его,
победоносца».

Бьется грудь неровно...
Шутка ли!
К богу нá дом!
У рая, в облака бронированного,
дверь расшибаю прикладом.

Трясутся ангелы.
Даже жаль их.
Белее перышек личика овал.
Где они —
боги!
«Бежали,
все бежали,
и Саваоф,
и Будда,
и Аллах,
и Иегова».



Ухало.
Ахало.
Охало.
Но уже не та канонада, —
повздыхала еще
и заглохла.
Вылезли с белым.
Взмолились:
— Не надо! —

Никто не просил,
чтоб была победа
родине начертана.
Безрукому огрызку кровавого обеда
на чёрта она?!

Последний на штык насажен.
Наши отходят на Ковно,
на сажень
человечьего мяса нашинковано.

И когда затихли
все, кто напáдали,
лег
батальон на батальоне —
выбежала смерть
и затанцевала на падали,
балета скелетов безносая Тальони.

Танцует.
Ветер из-под носка.
Шевельнул папахи,
обласкал на мертвом два волоска,
и дальше —
попахивая.

Пятый день
в простреленной голове
поезда выкручивают за изгибом изгиб.
В гниющем вагоне
на сорок человек —
четыре ноги.

Часть IV

Эй!
Вы!
Притушите восторженные глазенки!
Лодочки ручек суньте в карман!
Это
достойная награда
за выжатое из бумаги и чернил.

А мне за что хлопать?
Я ничего не сочинил.

Думаете:
врет!

Нигде не прострелен.
В целехоньких висках биенья не уладить,
если рукоплещут
его барабанов трели,
его проклятий рифмованной руладе.

Милостивые государи!
Понимаете вы?
Боль берешь,
растишь и растишь ее:
всеми пиками истыканная грудь,
всеми газами свороченное лицо,
всеми артиллериями громимая цитадель
головы —
каждое мое четверостишие.

Не затем
взвела
по насыпям тел она,
чтоб, горестный,
сочил заплаканную гнусь;
страшной тяжестью всего, что сделано,
без всяких
«красиво»,
прижатый, гнусь.

Убиты —
и всё равно мне —
я или он их
убил.
На братском кладбище,
у сердца в яме,
легли миллионы, —
гниют,
шевелятся, приподымаемые червями!

Нет!
Не стихами!
Лучше
язык узлом завяжу,
чем разговаривать.

Этого
стихами сказать нельзя.
Выхоленным ли языком поэта
горящие жаровни лизать!

Эта!
В руках!
Смотрите!
Это не лира вам!
Раскаяньем вспоротый,
сердце вырвал —
рву аорты!

В кашу рукоплесканий ладош не вме́сите!
Нет!
Не вме́сите!
Рушься, комнат уют!
Смотрите,
под ногами камень.
На лобном месте стою.
Последними глотками
воздух...

Вытеку, срубленный,
но кровью выем
имя «убийца»,
выклейменное на человеке.
Слушайте!
Из меня
слепым Вием
время орет:
«Подымите,
подымите мне
веков веки!»

Вселенная расцветет еще,
радостна,
нова.
Чтоб не было бессмысленной лжи за ней,
каюсь:

я
один виноват
в растущем хрусте ломаемых жизней!

Слышите —
солнце первые лучи выдало,
еще не зная,
куда,
отработав, денется, —
это я,
Маяковский,
подножию идола
нес
обезглавленного младенца.

Простите!

В христиан зубов резцы
вонзая,
львы вздымали рык.
Вы думаете — Нерон?
Это я,
Маяковский
Владимир,
пьяным глазом обволакивал цирк.

Простите меня!

Воскрес Христос.
Свили
одной любовью
с устами уста вы;
Маяковский
еретикам
в подземелье Севильи
дыбой выворачивал суставы.

Простите,
простите меня!

Дни!
Вылазьте из годов лачуг!

Какой раскрыть за собой
еще?
Дымным хвостом по векам волочу
оперенное пожарами побоище!

Пришел.

Сегодня
не немец,
не русский,
не турок, —
это я
сам,
с живого сдирая шкуру,
жру мира мясо.
Тушами на штыках материки.
Города — груды глиняные.

Кровь!
Выцеди из твоей реки
хоть каплю,
в которой невинен я!

Нет такой!
Этот
выколотыми глазами —
пленник,
мною меченный.
Я,
в поклонах разбивший колени,
голодом выглодал зёмли неметчины.

Мечу пожаров рыжие пряди.
Волчьи щетинюсь из темени ям.
Люди!
Дорогие!
Христа ради,
ради Христа
простите меня!

Нет,
не подыму искаженного тоской лица!

Всех окаяннее,
пока не расколется,
буду лоб разбивать в покаянии!

Встаньте,
ложью верженные ниц,
оборванные войнами
калеки лет!
Радуйтесь!
Сам казнится
единственный людоед.

Нет,
не осужденного выдуманная хитрость!
Пусть с плахи не соберу разодранные
части я, —
всё равно
всего себя вытряс,
один достоин
новых дней приять причастие.

Вытеку срубленный,
и никто не будет —
некому будет человека мучить.
Люди родятся,
настоящие люди,
бога самого милосердней и лучше.

Часть V

А может быть,
больше
у времени-хамелеона
и красок никаких не осталось.
Дернется еще
и ляжет,
бездыхан и угловат.
Может быть,

дымами и боями охмеленная,
никогда не подымется земли голова.

Может быть...

Нет,
не может быть!
Когда-нибудь да выстеклится мыслей омут,
когда-нибудь да увидит, как хлещет из тел ала́.
Над вздыбленными волосами руки заломит,
выстонет:
«Господи,
что я сделала!»
Нет,
не может быть!
Грудь,
срази отчаянья лавину.
В грядущем счастье вырыщи ощупь.
Вот,
хотите,
из правого глаза
выну
целую цветущую рощу?!
Птиц причудливых мысли ройте.
Голова,
закинься восторженна и горда.
Мозг мой,
веселый и умный строитель,
строй города!

Ко всем,
кто зубы еще
злобой выщемил,
иду
в сияющих глаз заре.
Земля,
встань
тыщами
в ризы зарев разодетых Лазарей!

И радость,
радость! —

сквозь дымы
светлые лица я
вижу.
Вот,
приоткрыв помертвевшее око,
первая
приподымается Галиция.
В травы вкуталась ободранным боком.

Кинув ноши пушек,
выпрямились горбатые,
кровавленными сединами в небо канув,
Альпы,
Балканы,
Кавказ,
Карпаты.

А над ними,
выше еще —
двое великанов.
Встал золототелый,
молит:
«Ближе!
К тебе с изрытого взрывами дна я».
Это Рейн
размокшими губами лижет
иссеченную миноносцами голову Дуная.

До колоний, бежавших за стены Китая,
до песков, в которых потеряна Персия,
каждый город,
ревевший,
смерть кидая, —
теперь сиял.

Шепот.
Вся земля
черные губы разжала.
Громче.
Урагана ревом
вскипает.

«Клянитесь,
больше никого не скóсите!»
Это встают из могильных курганов,
мясом обрастают хороненные кости.

Было ль,
чтоб срезанные ноги
искали б
хозяев,
оборванные головы звали по имени?
Вот
на череп обрубку
вспрыгнул скальп,
ноги подбежали,
живые под ним они.

С днищ океанов и морей,
на реях,
оживших утопших выплыли залежи.
Солнце!
В ладонях твоих изогрей их,
лучей языками глаза лижи!
В старушье лицо твое
смеемся,
время!
Здоровые и целые вернемся в семьи!
Тогда
над русскими,
над болгарами,
над немцами,
над евреями,
над всеми
под тверди небес,
от зарев алой,
ряд к ряду,
семь тысяч цветов засияло
из тысячи разных радуг.

По обрывкам народов,
по банде рассеянной
эхом раскатилось

растерянное
«А-ах! ..»
День раскрылся такой,
что сказки Андерсена
щенками ползали у него в ногах.

Теперь не верится,
что мог идти
в сумерках уличек, темный, шаря.
Сегодня
у капельной девочки
на ногте мизинца
солнца больше,
чем раньше на всем земном шаре.

Большими глазами землю обводит
человек.
Растет,
главою гор достиг.
Мальчик
в новом костюме
— в свободе своей —
важен,
даже смешон от гордости.

Как священники,
чтоб помнили об искупительной драме,
выходят с причастием, —
каждая страна
пришла к человеку со своими дарами:

«На».

«Безмерной Америки силу несу тебе,
мощь машин!»

«Неаполя теплые ночи дарю,
Италия.

Палимый,
пальм веерами маши».

«В холоде севера мерзнущий,
Африки солнце тебе!»

«Африки солнцем сожженный,
тебе,
со своими снегами,
с гор спустился Тибет!»

«Франция,
первая женщина мира,
губ принесла алость».

«Юношей — Греция,
лучшие телом нагим они».

«Чьих голосов мощь
в песни звончее сплеталась?!
Россия
сердце свое
раскрыла в пламенном гимне!»

«Люди,
веками граненную,
Германия
мысль принесла».

«Вся
до недр напоенная золотом,
Индия
дары принесла вам!»

«Славься, человек,
во веки веков живи и славься!
Всякому
живущему на земле
слава,

слава,
слава!»

Захлебнешься!
А тут и я еще.
Прохожу осторожно,
огромен,
неуклюж.
О, как великолепен я
в самой сияющей
из моих бесчисленных душ!

Мимо поздравляющих,
праздничных мимо я,
— проклятое,
да не колотись ты! —
вот она
навстречу.

«Здравствуй, любимая!»

Каждый волос выласкиваю,
вьющийся,
золотистый.
О, какие ветры,
какого юга,
свершили чудо сердцем погребенным?
Расцветают глаза твои,
два луга!
Я кувыркаюсь в них,
веселый ребенок.

А кругом!
Смеяться.
Флаги.
Стоцветное.
Мимо.
Вздыбились.
Тысячи.
Насквозь.

Бегом.
В каждом юноше порох Маринетти,
в каждом старце мудрость Гюго.

Губ не хватит улыбке столицей.
Все
из квартир
на площади
вон!
Серебряными мячами
от столицы к столице
раскинем веселие,
смех,
звон!

Не поймешь —
это воздух,
цветок ли,
птица ль!
И поет,
и благоухает,
и пестрое сразу, —
но от этого
костром разгораются лица
и сладчайшим вином пьянеет разум.
И не только люди
радость личью
расцветили,
звери франтовато завили руно,
вчера бушевавшие
моря,
мурлыча,
легли у ног.

Не поверишь,
что плыли,
смерть изрыгав, они.
В трюмах,
навек забывших о порохе,
броненосцы

провозят в тихие гавани
всякого вздора яркие ворохи.

Кому же страшны пушек шайки, —
эти,
кроткие,
рвут?
Они
перед домом,
на лужайке,
мирно щиплют траву.

Смотрите,
не шутка,
не смех сатиры —
средь бела дня,
тихо,
попарно,
цари-задиры
гуляют под присмотром нянь.

Земля,
откуда любовь такая нам?
Представь —
там
под деревом
видели
с Каином
играющего в шашки Христа.

Не видишь,
прищурилась, ищешь?
Глазенки — щелки две.
Шире!
Смотри,
мои глазища —
всем открытая собора дверь.

Люди! —
любимые,

нелюбимые,
знакомые,
незнакомые,
широким шествием излейтесь в двери те.
И он,
свободный,
ору о ком я,
человек —
придет он,
верьте мне,
верьте!

Конец 1915—1916

ЧЕЛОВЕК

Священнослужителя мира, отпустителя всех грехов — солнца ладонь на голове моей.

Благочестивейшей из монашествующих — ночи облачение на плечах моих.

Дней любви моей тысячелистое Евангелие целую.

Звенящей болью любовь замоля,
душой
иное шествие чающий,
слышу
твое, земля:
«Ныне отпущаеши!»

В ковчеге ночи,
новый Ной,
я жду —
в разливе риз
сейчас придут,
придут за мной
и узел рассекут земной
секирами зари.
Идет!
Пришла.
Раскуталась.
Лучи везде!
Скребут они.
Запели петли утло,

и тихо входят будни
с их шелухою сутолок.

Солнце снова.

Зовет огневых воевод.
Барабанит заря,
и туда,
за земную грязь вы!
Солнце!
Что ж,
своего
глашатая
так и забудешь разве?

Рождество Маяковского

Пусть, науськанные современниками, пишут глупые историки: «Скушной и неинтересной жизнью жил замечательный поэт».

Знаю,
не призовут мое имя
грешники,
задыхающиеся в аду.
Под аплодисменты попов
мой занавес не опустится на Голгофе.
Так вот и буду
в Летнем саду
пить мой утренний кофе.

В небе моего Вифлеема
никаких не горело знаков,
никто не мешал
могилами
спать кудроголовым волхвам.
Был абсолютно как все
— до тошноты одинаков —
день
моего сошествия к вам.
И никто

не догадался намекнуть
недалекой
неделикатной звезде:
«Звезда — мол —
лень сиять напрасно вам!
Если не
человечьего рождения день,
то чёрта ль,
звезда,
тогда еще
праздновать?!»

Суди́те:
говорящую рыбёшку
выудим нитями невода
и поем,
поем золотую,
воспеваем рыбачью удаль.
Как же
себя мне не петь,
если весь я —
сплошная невидаль,
если каждое движение мое —
огромное,
необъяснимое чудо.

Две стороны обойдите.
В каждой
дивитесь пятилучию.
Называется «Руки».
Пара прекрасных рук!
Заметьте:
справа налево двигать могу
и слева направо.
Заметьте:
лучшую
шею выбрать могу
и обовьюсь вокруг.

Черепа шкатулку вскройте —
сверкнет
драгоценнейший ум.

Есть ли,
чего б не мог я!
Хотите,
новое выдумать могу
животное?
Будет ходить
двухвостое
или треногое.
Кто целовал меня —
скажет,
есть ли
слаще слюны моей со́ка.
Покоится в нем у меня
прекрасный
красный язык.
«О-го-го» могу —
зальется высо́ко, высо́ко.
«О-ГО-ГО» могу —
и — охоты поэта сокол —
голос
мягко сойдет на низы.
Всего не сочтешь!
Наконец,
чтоб в лето
зи́мы,
воду в вино превращать чтоб мог —
у меня
под шерстью жилета
бьется
необычайнейший комок.
Ударит вправо — направо свадьбы.
Налево грохнет — дрожат мира́жи.
Кого еще мне
любить устлать бы?
Кто ляжет
пьяный,
ночами ряжен?

Прачечная.
Прачки.
Много и мокро.
Радоваться, что ли, на мыльные пузыри?

Смотрите,
исчезает стоногий окорок!
Кто это?
Дочери неба и зари?

Булочная.
Булочник.
Булки выпек.
Что булочник?
Мукой измусоленный ноль.
И вдруг
у булок
загибаются грифы скрипок.
Он играет.
Всё в него влюблено.

Сапожная.
Сапожник.
Прохвост и нищий.
Надо
на сапоги
какие-то головки.
Взглянул —
и в арфы распускаются голенища.
Он в короне.
Он принц.
Веселый и ловкий.

Это я
сердце флагом по́днял.
Небывалое чудо двадцатого века!

И отхлынули паломники от гроба господня.
Опустела правоверными древняя Мекка.

Жизнь Маяковского

Ревом встревожено логово банкиров, вельмож и дожей.

Вышли
латы,
золото тенькая.

«Если сердце всё,
то на что,
на что же
вас нагреб, дорогие деньги, я?
Как смеют петь,
кто право дал?
Кто дням велел июлиться?
Заприте небо в провода!
Скрутите землю в улицы!
Хвалился:
«Руки?!»
На ружье ж!
Ласкался днями летними?
Так будешь —
весь! —
колюч, как еж.
Язык оплюйте сплетнями!»

Загнанный в земной загон,
влеку дневное иго я.
А на мозгах
верхом
«Закон»,
на сердце цепь —
«Религия».

Полжизни прошло, теперь не вырвешься.
Тысячеглаз надсмотрщик, фонари, фонари,
фонари...
Я в плену.
Нет мне выкупа!
Оковала земля окаянная.
Я бы всех в любви моей выкупал,
да в дома обнесен океан ее!

Кричу...
и чу!
ключи звучат!
Тюремщика гримаса.
Бросает

с острия луча
клочок гнилого мяса.

Под хохотливое
«Ага!»
бреду́ по бре́ду жара.
Гремит,
приковано к ногам,
ядро земного шара.

Замкнуло золото ключом
глаза.
Кому слепого весть?
Навек
теперь я
заключен
в бессмысленную повесть!

Долой высоких вымыслов бремя!
Бунт
муз обреченного данника.
Верящие в павлинов
— выдумка Брэма! —
верящие в розы
— измышление досужих ботаников! —
мое
безупречное описание земли
передайте из рода в род.

Рвясь из меридианов,
атласа арок,
пенится,
звенит золотоворот
франков,
долларов,
рублей,
крон,
иен,
марок.

Тонут гении, курицы, лошади, скрипки.
Тонут слоны.

Мелочи тонут.
В горлах,
в ноздрях,
в ушах звон его липкий.
«Спасите!»
Места нет недоступного стону.

А посредине,
обведенный невозмутимой каймой,
целый остров расцветоченного ковра.
Здесь
живет
Повелитель Всего —
соперник мой,
мой неодолимый враг.
Нежнейшие горошинки на тонких чулках его.
Штанов франтовских восхитительны полосы.
Галстук,
выпестренный ахово,
с шеищи
по глобусу пуза расползся.

Гибнут кругом.
Но, как в небо бурав,
в честь
твоего — сиятельный — сана:
Бр-р-а-во!
Эвива!
Банзай!
Ура!
Гох!
Гип-гип!
Вив!
Осанна!

Пророков могущество в громах винят.
Глупые!
Он это
читает Локка!
Нравится.
От смеха

на брюхе
звенят,
молнятся целые цепи брелоков.
Онемелые
стоим
перед делом эллина.
Думаем:
«Кто бы,
где бы,
когда бы?»
А это
им
покойному Фидию велено:
«Хочу,
чтоб из мрамора
пышные бабы».

Четыре часа —
прекрасный повод:
«Рабы,
хочу отобедать заново!»
И бог
— его проворный повар —
из глин
сочиняет мясо фазаново.
Вытянется,
самку в любви олелеяв.
«Хочешь
бесценнейшую из звездного скопа?»
И вот
для него
легион Галилеев
елозит по звездам в глаза телескопов.

Встрясывают революции царств тёльца,
меняет погонщиков человечий табун,
но тебя,
некоронованного сердец владельца,
ни один не трогает бунт!

Страсти Маяковского

Слышите?
Слышите лошажье ржанье?
Слышите?
Слышите вопли автомобильи?
Это идут,
идут горожане
выкупаться в Его обилии.

Разлив людей.
Затерся в люд,
расстроенный и хлюпкий.
Хватаюсь за уздцы.
Ловлю
за фалды и за юбки.

Что это?
Ты?
Туда же ведома?!
В святошестве изолгалáсь!
Как красный фонарь у публичного дома,
кровав
налившийся глаз.

Зачем тебе?
Остановись!
Я знаю радость слаже!
Надменно лес ресниц навис.
Остановись!
Ушла уже...

Там, возносясь над головами, Он.

Череп блестит,
Хоть надень его нá ноги,
безволосый,
весь рассиялся в лоске.
Только
у пальца безымянного
на последней фаланге

три
из-под бриллианта —
выщетинились волосики.

Вижу — подошла.
Склонилась руке.
Губы волосикам,
шепчут над ними они,
«Флейточкой» называют один,
«Облачком» — другой,
третий — сияньем неведомым
какого-то,
только что
мною творимого имени.

Вознесение Маяковского

Я сам поэт. Детей учите: «Солнце встает над ковылями». С любовного ложа из-за Его волосиков любимой голова.

Глазами взвила ввысь стрелу.
Улыбку убери твою!
А сердце рвется к выстрелу,
а горло бредит бритвою.
В бессвязный бред о демоне
растет моя тоска.
Идет за мной,
к воде манит,
ведет на крыши скат.
Снега кругом.
Снегов налет.
Завьются и замрут.
И падает
— опять! —
на лед
замерзший изумруд.
Дрожит душа.
Меж льдов она,
и ей из льдов не выйти!

Вот так и буду,
заколдованный,
набережной Невы идти.
Шагну —
и снова в месте том.
Рванусь —
и снова зря.

Воздвигся перед носом дом.
Разверзлась за оконным льдом
пузатая заря.

Туда!

Мяукал кот.
Коптел, горя,
ночник.
Звонюсь в звонок.
Аптекаря!
Аптекаря!
Повис на палки ног.

Выросли,
спутались мысли,
оленьи
рога.
Плачем марая
пол,
распластался в моленьи
о моем потерянном рае.

Аптекарь!
Аптекарь!
Где
до конца
сердце тоску изноет?
У неба ль бескрайнего в нивах,
в бреде ль Сахар,
у пустынь в помешанном зное
есть приют для ревнивых?

За стенками склянок столько тайн.
Ты знаешь высшие справедливости.
Аптекарь,
дай
душу
без боли
в просторы вывести.

Протягивает.
Череп.
«Яд».
Скрестилась кость на кость.

Кому даешь?
Бессмертен я,
твой небывалый гость.
Глаза слепые,
голос нем,
и разум запер дверь за ним,
так что ж
— еще! —
нашел во мне,
чтоб ядом быть растерзанным?

Мутная догадка по глупому пробрела.
В окнах зеваки.
Дыбятся волоса.
И вдруг я
плавно оплываю прилавок.
Потолок отверзается сам.

Визги.
Шум.
«Над домом висит!»
Над домом вишу.

Церковь в закате.
Крест огарком.
Мимо!
Ле́са верхи.

Вороньём окаркан.
Мимо!

Студенты!
Вздор
всё, что знаем и учим!
Физика, химия и астрономия — чушь.
Вот захотел —
и по тучам
лечу ж.

Всюду теперь!
Можно везде мне.
Взбурься, баллад поэтовых тина.
Пойте теперь
о новом — пойте — Демоне
в американском пиджаке
и блеске желтых ботинок.

Маяковский в небе

Стоп!

Скидываю на тучу
вещей
и тела усталого
кладь.

Благоприятны места, в которых доселе
не был.

Оглядываюсь.
Эта вот
зализанная гладь —
это и есть хваленое небо?

Посмотрим, посмотрим!

Искрило,
сверкало,
блестело,

и
шорох шел —
облако
или
бестелые
тихо скользили.

«Если красавица в любви клянется...»

Здесь,
на небесной тверди,
слышать музыку Верди?
В облаке скважина.
Заглядываю —
ангелы поют.
Важно живут ангелы.
Важно.

Один отделился
и так любезно
дремотную немоту расторг:
«Ну, как вам,
Владимир Владимирович,
нравится бездна?»
И я отвечаю так же любезно:
«Прелестная бездна.
Бездна — восторг!»

Раздражало вначале:
нет тебе
ни угла ни одного,
ни чаю,
ни к чаю газет.
Постепенно вживался небесам в уклад.
Выхожу с другими глазеть,
не пришло ли новых.
«А, и вы!»
Радостно обнял.
«Здравствуйте, Владимир Владимирович!»
«Здравствуйте, Абрам Васильевич!

Ну, как кончались?
Ничего?
Удобно ль?»

Хорошие шуточки, а?

Понравилось.
Стал стоять при въезде.
И если
знакомые
являлись, умирав,
сопровождал их,
показывая в рампе созвездий
величественную бутафорию миров.

Центральная станция всех явлений,
путаница штепселей, рычагов и ручек.
Вот сюда
— и миры застынут в лени —
вот сюда
— завертятся шибче и круче.
«Крутните, — просят, —
да так, чтоб вымер мир.
Что им?
Кровью поля поливать?»
Смеюсь горя́чности.
«Шут с ними!
Пусть поливают,
плевать!»

Главный склад всевозможных лучей.
Место выгоревшие звезды кидать.
Ветхий чертеж
— неизвестно чей —
первый неудавшийся проект кита.

Серьезно.
Занято.
Кто тучи чи́нит,
кто жар надбавляет солнцу в пе́чи.

Всё в страшном порядке,
в покое,
в чине.
Никто не толкается.
Впрочем, и нечем.

Сперва ругались.
«Шатается без дела!»
Я для сердца,
а где у бестелых сердца?!
Предложил им:
«Хотите,
по облаку
телом
развалюсь
и буду всех созерцать».

«Нет,—говорят,—это нам не подходит!»
«Ну, не подходит — как знаете!
Мое дело предложить».

Кузни времен вздыхают меха —
и новый
год
готов.
Отсюда
низвергается, громыхая,
страшный оползень годов.

Я счет не веду неделям.
Мы,
хранимые в рамах времен,
мы любовь на дни не делим,
не меняем любимых имен.

Стих.
Лучам луны на мéли
слег,
волнение снами сморя.
Будто на пляже южном,

только еще онемелей,
и по мне,
насквозь излаская,
катятся вечности моря.

Возвращение Маяковского

1, 2, 4, 8, 16, тысячи, миллионы.

Вставай,
довольно!
На солнце очи!
Доколе будешь распластан, нем?

Бурчу спросонок:
«Чего грохочут?
Кто смеет сердцем шуметь во мне?»

Утро,
вечер ли?
Ровен белесый свет небес.

Сколько их,
веков,
успело уйти,
вдребезги дней разбилось о даль...
Думаю,
глядя на млечные пути, —
не моя седая развеялась борода ль?

Звезды падают.
Стал глаза вести.
Ишь
туда,
на землю, быстрая!

Проснулись в сердце забытые зависти,
а мозг
досужий
фантазию выстроил.

— Теперь
на земле,
должно быть, ново.
Пахучие вёсны развесили в селах.
Город каждый, должно быть,
иллюминован.
Поет семья краснощеких и веселых.

Тоска возникла.
Резче и резче.
Царственно туча встает,
дальнее вспыхнет облако,
всё мне мерещится
близость
какого-то земного облика.

Напрягся,
ищу
меж другими точками
землю.

Вот она!

Въелся.
Мóря различаю,
горы в орлином клёкоте...

Рядом отец.
Такой же.
Только на ухо больше туг,
да поистерся
немного
на локте
форменный лесничего сюртук.

Раздражает.
Тоже
уставился наземь.
Какая старому мысль ясна?
Тихо говорит:

«На Кавказе,
вероятно, весна».

Бестелое стадо,
ну и тоску ж оно
гонит!

Взбу́бнилась злоба апаша.

Папаша,
мне скушно!
Мне скушно, папаша!
Глупых поэтов небом ма́ните,
вырядились,
звезд ордена!
Солнце!
Чего расплескалось мантией?
Думаешь — кардинал?
Довольно лучи обсасывать в спячке.
За мной!
Всё равно без ножек —
чего вам пачкать?!
И галош не понадобится в гря́зи земной.

Звезды!
Довольно
мученический плести
венок
земле!
Озакатили красным.
Кто там
крылами
к земле блестит?
Заря?
Стой!
По дороге как раз нам.

То перекинусь радугой,
то хвост завью кометою.

Чего пошел играть дугой?
Какую жуть в кайме таю?

Показываю
мирам
номера
невероятной скорости.
Дух
бездомный давно
полон дум о давних
днях.
Земных полушарий горсти
вижу —
лежат города в них.

Отдельные голоса различает ухо.

Взмахах в ста.

«Здравствуй, старуха!»
Поскользнулся в асфальте.
Встал.

То-то удивятся не ихней силище
путешественника неб.

Голоса:
«Смотрите,
должно быть, красильщик
с крыши.
Еще удачно!
Тяжелый хлеб».

И снова
толпа
в поводу у дела,
громоголосый катился день ее.

О, есть ли
глотка,

чтоб громче вгудела
— города громче —
в его гудение.

Кто схватит улиц рвущийся вымах!
Кто может распутать тоннелей подкопы!
Кто их остановит,
по воздуху
в дымах
аэропланами буравящих копоть!

По скату экватора
Из Чикаг
сквозь Тамбовы
катятся рубли.
Вытянув выи,
гонятся все,
телами утрамбовывая
горы,
моря,
мостовые.

Их тот же лысый
невидимый водит,
главный танцмейстер земного канкана.
То в виде идеи,
то чёрта вроде,
то богом сияет, за облако канув.

Тише, философы!
Я знаю —
не спорьте, —
зачем источник жизни дарен им.
Затем, чтоб рвать,
затем, чтоб портить
дни листкам календарным.

Их жалеть!
А меня им жаль?
Сожрали бульвары,

сады,
предместья!
Антиквар?
Покажите!
Покупаю кинжал.

И сладко чувствовать,
что вот
пред местью я.

Маяковский векам

Куда я,
зачем я?
Улицей сотой
мечусь
человечьим
разжужженным ульем.

Глаза пролетают оконные соты,
и тяжко,
и чуждо,
и мёрзко в июле им.

Витрины и окна тушит
город.

Устал и сник.

И только
туч выпотрашивает туши
кровавый закат-мясник.

Слоняюсь.
Мост феерический.
Влез.
И в страшном волненьи взираю с него я.
Стоял, вспоминаю.
Был этот блеск.

И это
тогда
называлось Невою.

Здесь город был.
Бессмысленный город,
выпутанный в дымы трубного леса.
В этом самом городе
скоро
ночи начнутся,
остекленелые,
белесые.

Июлю капут.

Обезночел загретый.
Избредился в шепот чего-то сквозного.
То видится крест лазаретной кареты,
то слышится выстрел.
Умолкнет —
и снова.

Я знаю,
такому, как я,
накалиться
недолго,
конечно,
но все-таки дико,
когда не фонарные тыщи,
а лица.
Где было подобие этого тика?

И вижу, над домом
по риску откоса
лучами идешь,
собираешь их в копны.
Тянусь,
но туманом ушла из-под носа.

И снова стою
онемелый и вкопанный.

Гуляк полуночных толпа раскололась,
почти что чувствую запах кожи,
почти что дыханье,
почти что голос,
я думаю — призрак,
он взял да и ожил.

Рванулась,
вышла из воздуха уз она.
Ей мало
— одна! —
раскинулась в шествие.
Ожившее сердце шарахнулось грузно.
Я снова земными мученьями узнан.
Да здравствует
— снова! —
мое сумасшествие!

Фонари вот так же врезаны были
в середину улицы.
Дома похожи.
Вот так же,
из ниши,
головы кобыльей
вылеп.

— Прохожий!
Это улица Жуковского?

Смотрит,
как смотрит дитя на скелет,
глаза вот такие,
старается мимо.

«Она — Маяковского тысячи лет:
он здесь застрелился у двери любимой».
Кто,
я застрелился?
Такое загнут!
Блестящую радость, сердце, вычекань!

Окну
лечу.
Небес привычка.

Высóко.
Глубже ввысь зашел
за этажем этаж.
Завесилась.
Смотрю за шелк —
всё то же,
спальня та ж.

Сквозь тысячи лет прошла — и юна.
Лежишь,
волосá луною высиня.
Минута...
и то,
что было — луна,
Его оказалась голая лысина.

Нашел!

Теперь пускай поспят.
Рука,
кинжала жало стисни!
Крадусь,
приглядываюсь —
и опять!
люблю
и вспять
иду в любви и в жалости.

Доброе утро!

Зажглось электричество.
Глаз два выката.
«Кто вы?» —
«Я Николаев
— инженер.

Это моя квартира.
А вы кто?
Чего пристаете к моей жене?»

Чужая комната.
Утро дрогло.
Трясясь уголками губ,
чужая женщина,
раздетая догола.

Бегу.

Растерзанной тенью,
большой,
косматый,
несусь по стене,
луной облитый.
Жильцы выбегают, запахивая халаты.
Гремлю о плиты.
Швейцара ударами в угол загнал.
«Из сорок второго
куда ее дели?»
— «Легенда есть:
к нему
из окна.
Вот так и валялись
тело на теле».

Куда теперь!
Куда глаза
глядят.
Поля?
Пускай поля!
Траля-ля, дзин-дза,
тра-ля-ля, дзин-дза,
тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля!

Петлей на шею луч накинь!
Сплетусь в палящем лете я!

Гремят на мне
наручники,
любви тысячелетия...

Погибнет всё.
Сойдет на нет.
И тот,
кто жизнью движет,
последний луч
над тьмой планет
из солнц последних выжжет.
И только
боль моя
острей —
стою,
огнем обвит,
на несгорающем костре
немыслимой любви.

Последнее

Ширь,
бездомного
снова
лоном твоим прими!
Небо какое теперь?
Звезде какой?
Тысячью церквей
подо мной
затянул
и тянет мир:
«Со святыми упокой!»

1916—1917

СТИХОТВОРЕНИЯ

(1917 – 1924)

НАШ МАРШ

Бейте в площади бунтов топот!
Выше, гордых голов гряда!
Мы разливом второго потопа
перемоем миров города.

Дней бык пег.
Медленна лет арба.
Наш бог бег.
Сердце наш барабан.

Есть ли наших золот небесней?
Нас ли сжалит пули оса?
Наше оружие — наши песни.
Наше золото — звенящие голоса.

Зеленью ляг, луг,
выстели дно дням.
Радуга, дай дуг
лет быстролётным коням.

Видите, скушно звезд небу!
Без него наши песни вьем.
Эй, Большая Медведица! требуй,
чтоб на небо нас взяли живьем.

Радости пей! Пой!
В жилах весна разлита.
Сердце, бей бой!
Грудь наша — медь литавр.

Ноябрь 1917

ОДА РЕВОЛЮЦИИ

Тебе,
освистанная,
осмеянная батареями,
тебе,
изъязвленная злословием штыков,
восторженно возношу
над руганью реемой
оды торжественное
«О»!
О, звериная!
О, детская!
О, копеечная!
О, великая!
Каким названьем тебя еще звали?
Как обернешься еще, двуликая?
Стройной постройкой,
грудой развалин?
Машинисту,
пылью угля овеянному,
шахтеру, пробивающему толщи руд,
кадишь,
кадишь благоговейно,
славишь человечий труд.
А завтра
Блаженный
стропила соборовы
тщетно возносит, пощаду моля, —
твоих шестидюймовок тупорылые боровы
взрывают тысячелетия Кремля.
«Слава»
хрипит в предсмертном рейсе.
Визг сирен придушенно тонок.
Ты шлешь моряков
на тонущий крейсер,
туда,
где забытый
мяукал котенок.
А после!
Пьяной толпой орала.
Ус залихватский закручен в форсе.

Прикладами гонишь седых адмиралов
вниз головой
с моста в Гельсингфорсе.
Вчерашние раны лижет и лижет,
и снова вижу вскрытые вены я.
Тебе обывательское
— о, будь ты проклята трижды! —
и мое,
поэтово
— о, четырежды славься, благословенная! —

1917 или 1918

ТУЧКИНЫ ШТУЧКИ

Плыли по небу тучки.
Тучек — четыре штучки:

от первой до третьей — люди,
четвертая была верблюдик.

К ним, любопытством объятая,
по дороге пристала пятая,

от нее в небосинем лоне
разбежались за слоником слоник.

И, не знаю, спугнула шестая ли,
тучки взяли все — и растаяли.

И следом за ними, гонясь и сжирав,
солнце погналось — желтый жираф.

1917 или 1918

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ

Били копыта.
Пели будто:
— Гриб.
Грабь.

Гроб.
Груб. —

Ветром опита,
льдом обута,
улица скользила.
Лошадь на круп
грохнулась,
и сразу
за зевакой зевака,
штаны пришедшие Кузнецким клёшить,
сгрудились.
Смех зазвенел и зазвякал:
— Лошадь упала! —
— Упала лошадь! —
Смеялся Кузнецкий.
Лишь один я
голос свой не вмешивал в вой ему.
Подошел
и вижу
глаза лошадиные...

Улица опрокинулась,
течет по-своему...
Подошел и вижу —
за каплищей каплища
по морде катится,
прячется в шéрсти...

И какая-то общая
звериная тоска
плеща вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
Может быть
— старая —
и не нуждалась в няньке,

может быть, и мысль ей моя казалась
пошла́,
только
лошадь
рванулась,
встала на́ ноги,
ржанула
и пошла.
Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И все ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.

<1918>

ПРИКАЗ ПО АРМИИ ИСКУССТВА

Канителят стариков бригады
канитель одну и ту ж.
Товарищи!
На баррикады! —
баррикады сердец и душ.
Только тот коммунист истый,
кто мосты к отступлению сжег.
Довольно шагать, футуристы, —
в будущее прыжок!
Паровоз построить мало —
накрутил колес и утек.
Если песнь не громит вокзала,
то к чему переменный ток?
Громоздите за звуком звук вы —
и вперед,
поя и свища.
Есть еще хорошие буквы:
Эр,
Ша,
Ща.

Это мало — построить пáрами,
распушить по штанине канты.
Все совдепы не сдвинут армий,
если марш не дадут музыканты.
На улицу тащи́те рояли,
барабан из окна багром!
Барабан,
рояль раскроя́ ли,
но чтоб грохот был,
чтоб гром.
Это что — корпеть на заводах,
перемазать рожу в копоть
и на роскошь чужую
в отдых
осовелыми глазками хлопать.
Довольно грошовых истин.
Из сердца старое вытри.
Улицы — наши кисти.
Площади — наши палитры.
Книгой времени
тысячелистой
революции дни не воспеты.
На улицы, футуристы,
барабанщики и поэты!

Декабрь 1918

РАДОВАТЬСЯ РАНО

Будущее ищем.
Исходили вёрсты торцов.
А сами
расселились кладби́щем,
придавлены плитами дворцов.
Белогвардейца
найдете — и к стенке.
А Рафаэля забыли?
Забыли Растрелли вы?
Время
пулям
по стенке музеев тенькать.
Стодюймовками глоток старье расстреливай!

Сеете смерть во вражьем стане.
Не попадись, капитала наймиты.
А царь Александр
на площади Восстаний
стоит?
Туда динамиты!
Выстроили пушки по опушке,
глухи к белогвардейской ласке.
А почему
не атакован Пушкин?
А прочие
генералы классики?
Старье охраняем искусства именем.
Или
зуб революций ступился о короны?
Скорее!
Дым развейте над Зимним —
фабрики макаронной!
Попалили денек-другой из ружей
и думаем —
старому нос утрем.
Это что!
Пиджак сменить снаружи —
мало, товарищи!
Выворачивайтесь нутром!

Декабрь 1918

ПОЭТ РАБОЧИЙ

Орут поэту:
«Посмотреть бы тебя у токарного станка.
А что стихи?
Пустое это!
Небось работать — кишка тонка».
Может быть,
нам
труд
всяких занятий роднее.
Я тоже фабрика.
А если без труб,

то, может,
мне
без труб труднее.
Знаю —
не любите праздных фраз вы,
Ру́бите дуб — работать дабы.
А мы
не деревообделочники разве?
Голов людских обделываем дубы.
Конечно,
почтенная вещь — рыбачить.
Вытащить сеть.
В сетях осетры б!
Но труд поэтов — почтенный паче —
людей живых ловить, а не рыб.
Огромный труд — гореть над горном,
железа шипящие класть в закал.
Но кто же
в безделье бросит укор нам?
Мозги шлифуем рашпилем языка.
Кто выше — поэт
или техник,
который
ведет людей к вещественной выгоде?
Оба.
Сердца — такие ж моторы.
Душа — такой же хитрый двигатель.
Мы равные.
Товарищи в рабочей массе.
Пролетарии тела и духа.
Лишь вместе
вселенную мы разукрасим
и маршами пустим ухать.
Отгородимся от бурь словесных молом.
К делу!
Работа жива и нова.
А праздных ораторов —
на мельницу!
К мукомолам!
Водой речей вертеть жернова.

Декабрь 1918

ТОЙ СТОРОНЕ

Мы
не вопль гениальничанья —
«все дозволено»,
мы
не призыв к ножовой расправе,
мы
просто
не ждем фельдфебельского
«вольно!»,
чтоб спину искусства размять,
расправить.

Гарцуют скелеты всемирного Рима
на спинах наших.
В могилах мало́ им.
Так что ж удивляться,
что непримиримо
мы
мир обложили сплошным «долоем».

Характер различен.
За целость Венеры вы
готовы щадить веков камарилью.
Вселенский пожар размочалил нервы.
Орете:
«Пожарных!
Горит Мурильо!»

А мы —
не Корнеля с каким-то Расином —
отца, —
предложи на старье меняться, —
мы
и его
обольем керосином
и в улицы пустим —
для иллюминаций.
Бабушка с дедушкой.
Папа да мама.

Чинопочитанья проклятого тина.
Лачуги рушим.
Возносим дома мы.
А вы нас —
«ловить арканом картинок!?»

Мы
не подносим —
«Готово!
На блюде!
Хлебайте сладкое с чайной ложицы!»
Клич футуриста:
были б люди —
искусство приложится.

В рядах футуристов пусто.
Футуристов возраст — призыв.
Изрубленные, как капуста,
мы войн,
революций призы.
Но мы
не зовем обывателей гроба.
У пьяной,
в кровавом пунше,
земли —
смотрите! —
взбухает утроба.
Рядами выходят юноши.
Идите!
Под ноги —
топчите ими —
мы
бросим
себя и свои творенья.
Мы смерть зовем рожденья во имя.
Во имя бега,
паренья,
реянья.
Когда ж
прорвемся сквозь заставы
и праздник будет за болью боя, —

мы
все украшенья
расставить заставим —
любите любое!

Декабрь 1918

ЛЕВЫЙ МАРШ
(МАТРОСАМ)

Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.
Левой!
Левой!
Левой!

Эй, синеблузые!
Рейте!
За океаны!
Или
у броненосцев на рейде
ступлены острые кили?!
Пусть,
оскалясь короной,
вздымает британский лев вой.
Коммуне не быть покоренной.
Левой!
Левой!
Левой!

Там
за горами гóря
солнечный край непочатый.

За голод,
за мора море
шаг миллионный печатай!
Пусть бандой окружат на́нятой,
стальной изливаются ле́евой, —
России не быть под Антантой.
Левой!
Левой!
Левой!

Глаз ли померкнет орлий?
В старое ль станем пялиться?
Крепи
у мира на горле
пролетариата пальцы!
Грудью вперед бравой!
Флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

Декабрь 1918

ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ РЕВОЛЮЦИИ

Герои

Рабочий

Стали орлы из рабов.
Отчего?
Спроси рабочего.

Красноармеец

Если красное знамя рдеется,
если люди дорвались до света,
это дело красноармейца,
первой опоры Совета.

Батрак

Эх! и потрудилась для дела свобод рука
батрака.

Матрос

Потрудился в октябре я,
день и ночь буржуев брея.

Швея

Довольно купчихам строчить тряпицы.
Золотом знамя теперь расшей-ка!
Октябрь идет, пора торопиться.
Вперед, швейка!

Прачка

Довольно, поотносились ласково,
заждались Нева, Фонтанка и Мойка.
Прачка! Буржуя иди прополаскивать!
Чтоб был белее, в Неве промой-ка!

Автомобилист

Если белогвардеец задрожит, как лист,
и кучи его рассыплются, воя, —
это едет автомобилист
машиной броневою.

Телеграфист

Это я о врагах — где конный, где пеший —
восставшим товарищам слал депеши.

Железнодорожник

Ни сайка не достанется, ни рожь никому,
коли забудем железнодорожника мы.

Жертвы

Заводчик

Резвясь, жила синица-птица
за мóрем и за вóдами.
И день и ночь бедняге снится,
как он владел заводами.

Банкир

Все буржуи в панике —
отобрали банки.
Долю не найдешь другую
тяжелей банкирочной —
встал, селедками торгуя,
на углу у Кирочной.

Помещик

У кого кулак, как пуд?
Кто свиньи щекастей?
Отобрали всё, — капут
помещичьей касте.

Кулак

Бочки коньяку лакал,
нынче сдох от скуки ж.
И теперь из кулака
стал я просто кукиш.

Барыня

Расстрелялись парни,
беспокойство барыне.
Надоел хозяйке пост,
самолично стала в хвост.

Поп

Развевались флаги ало
по России-матушке.
Больше всех попам попало,
матушке и батюшке.

Бюрократ

Сидел себе, попивал и покрадывал.
Упокой, господи, душу бюрократову.

Генерал

И честь никто не отдает,
и нет суконца алого, —
рабочему на флаг пошла
подкладка генералова.

Купец

Эх, пойду, мои отцы,
с горя нализаться я.
Света близятся концы —
национализация.

1918

ПОТРЯСАЮЩИЕ ФАКТЫ

Небывалей не было у истории в аннале
факта:
вчера,
сквозь иней,
звеня в «Интернационале»,
Смольный
ринулся
к рабочим в Берлине.
И вдруг
увидели
деятели сыска,
все эти завсегдатаи баров и опер,
триэтажный
призрак
со стороны российской.
Поднялся.
Шагает по Европе.
Обедающие не успели окончить обед —
в место это
грохнулся,
и над Аллеей Побед —
знамя
«Власть Советов».
Напрасно пухлые руки взмóлены, —
не остановить в его неслышном карьере.
Раздавил
и дальше ринулся Смольный,
республик и царств беря барьеры.
И уже
из лоска

тротуарного глянца
Брюсселя,
натягивая нерв,
росла легенда
про Летучего голландца —
Голландца революционеров.
А он —
по полям Бельгии,
по рыжим от крови полям,
туда,
где гудит союзное ржанье,
метнулся.
Красный встал над Парижем.
Смолкли парижане.
Стоишь и сладостным маршем манишь.
И вот,
восстанию в лапы о́тдана,
рухнула республика,
а он — за Ламанш.
На площадь выводит подвалы Лондона.
А после
пароходы
низко-низко
над океаном Атлантическим видели —
пронесся.
К шахтерам калифорнийским.
Говорят —
огонь из зева выделил.
Сих фактов оценки различна мерка.
Не верили многие.
Ловчились в спорах.
А в пятницу
утром
вспыхнула Америка,
землей казавшаяся, оказалась порох.
И если
скулит
обывательская моль нам:
— Не увлекайтесь Россией, восторженные дети, —
я
указываю
на эту историю со Смольным.

А этому
я,
Маяковский,
свидетель.

<1919>

МЫ ИДЕМ

Кто вы?
Мы
разносчики новой веры,
красоте задающей железный тон.
Чтоб природами хилыми не сквернили скверы,
в небеса шарахаем железобетон.
Победители,
шествуем по свету
сквозь рев стариков злючий.
И всем,
кто против,
советуем
следующий вспомнить случай.
Раз
на радугу
кулаком
замахнулся городовой:
— чего, мол, меня нарядней и чище! —
а радуга
вырвалась
и давай
опять сиять на полицейском кулачище.
Коммунисту ль
распластываться
перед тем, кто старей?
Беречь сохранность насиженных мест?
Это революция
и на Страстном монастыре
начертила:
«Не трудящийся не ест».
Революция
отшвырнула

тех, кто
рушащееся
оплакивал тысячью родов,
ибо знает:
новый грядет архитектор —
это мы,
иллюминаторы завтрашних городов.
Мы идем
нерушимо,
бодро.
Эй, двадцатилетние!
Взываем к вам.
Барабаня,
тащите красок вёдра.
Заново обкрасимся.
Сияй, Москва!
И пускай
с газеты
какой-нибудь выродок
сражается с нами
(не на смерть, а на живот).
Всех младенцев перебили по приказу Ирода;
а молодость —
ничего —
живет.

<1919>

С ТОВАРИЩЕСКИМ ПРИВЕТОМ, МАЯКОВСКИЙ

Дралось
некогда
греков триста
сразу с войском персидским всем.
Так и мы.
Но нас,
футуристов,
нас всего — быть может — семь.
Тех
нашли у истории в пылях.

Подсчитали
всех, кто сражен.
И поют
про смерть в Фермопилах.
Восхваляют, что лез на рожон.
Если петь
про залезших в щели,
меч подъявших
и павших от, —
как не петь
нас,
у мыслей в ущелье,
не сдаваясь дерущихся год?
Слава вам!
Для посмертной лести
да не словит вас смерти лов.
Неуязвимые, лезьте
по скользящим скалам слов.
Пусть
хотя б по капле,
пó две
ваши души в мир вольются
и растят
рабочий подвиг,
именуемый
«Революция».
Поздравители
не хлопают дверью?
Им
от страха
небо в овчину?
И не надо.
Сотую —
верю! —
встретим годовщину.

Начало 1919

ОКНА РОСТА И ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТА

* * *

1. Рабочий!
Глупость беспартийную выкинь!
Если хочешь жить с другими вразброд, —
всех по очереди словит Деникин,
всех сожрет генеральский рот.
2. Если ж на зов партийной недели
придут миллионы с фабрик и с пашен, —
рабочий быстро докажет на деле,
что коммунистам никто не страшен.

Октябрь 1919

ПЕСНЯ РЯЗАНСКОГО МУЖИКА

1. Не хочу я быть советской.
Батюшки!
А хочу я жизни светской.
Матушки!
Походил я в белы страны.
Батюшки!
Мужичков встречают странно.
Матушки!
2. Побывал у Дутова.
Батюшки!
Отпустили вздутого.
Матушки!
3. Я к Краснову,
у Краснова —
Батюшки!
Кулачище —
сук сосновый.
Матушки!
4. Я к Деникину,
а он —
Батюшки!

Бьет крестьян, как фараон.
Матушки!
5. Мамонтов-то генерал —
Батюшки!
Матершинно наорал.
Матушки!
Я ему:
«Все люди братья».
Батюшки!
А он:
«И братьев буду драть я».
Матушки!
6. Я поддался Колчаку.
Батюшки!
Своротил со скул щеку.
Матушки!
На Украину махнул.
Батюшки!
Думаю: теперь вздохну.
Матушки!
А Петлюра с Киева —
Батюшки!
Уж орет: «Секи его!»
Матушки!
7. Видно, белый ананас —
Батюшки!
Наработан не для нас.
Матушки!
Не пойду я ни к кому,
Батюшки!
Окромя родных Коммун.
Матушки!

Октябрь 1919

ДВА ГРЕНАДЕРА И ОДИН АДМИРАЛ
(НА МОТИВ «ВО ФРАНЦИЮ ДВА ГРЕНАДЕРА»)

1. Три битых брели генерала,
был вечер печален и сер.
Все трое, задавшие драла
из РСФСР.

2. Юденич баском пропитым
скулит: «Я, братцы, готов,
прогнали обратно побитым,
да еще прихватили Гдов.
Нет целого места на теле,
за фрак эполеты продам,
пойду служить в метрдотели,
по ярмарочным городам».
3. Деникин же мрачно горланил:
«Куда мне направить курс?
Не только не дали Орла они,
а еще и оттяпают Курск.
Пойду я просить Христа ради,
а то не прожить мне никак.
На бойню бы мне в Петрограде
на должность пойти мясника».
4. Визглив голосок адмирала,
и в нем безысходная мука:
«А я, я — вовсе марала,
Сибирь совершенно профукал.
Дошел я, братцы, до точки,
и нет ни двора, ни кола,
пойду и буду цветочки
сажать, как сажал Николя́».
5. Три битых плелись генерала,
был вечер туманен и сер.
А флаги маячили ало
над РСФСР.

Ноябрь 1919

БАЛЛАДА ОБ ОДНОМ КОРОЛЕ И ТОЖЕ ОБ ОДНОЙ БЛОХЕ
(ОН ЖЕ ДЕНИКИН)

1. Жил-был король английский,
весь в горностай-мехах.
Раз пил он с содой виски —
вдруг —
скок к нему блоха.

Блоха?
Ха-ха-ха-ха!

2. Блоха кричит: «Хотите,
Большевиков сотру?
Лишь только заплатите
побольше мне за труд!»
За труд? блохи?
Хи-хи-хи-хи!

3. Король разлился в ласке,
его любезней нет.
Дал орден ей «Подвязки»
и целый воз монет.
Монет?
Блохе?
Хе-хе-хе-хе!

4. Войска из блох он тоже
собрал и драться стал.
Да вышла наша кожа
для блошьих зуб толста.
Для зуб блохи!
Хи-хи-хи-хи!

5. Хвастнул генерал немножко —
красноармеец тут...
схватил блоху за ножку,
под ноготь, и капут!
Капут блохе!
Хе-хе-хе-хе!

6. У королей унынье.
Идем, всех блох кроша.
И, говорят, им ныне
не платят ни гроша.
Вот и конец блохи.
Хи-хи-хи-хи!

Ноябрь — декабрь 1919

НЕДЕЛЯ ФРОНТА — НЕДЕЛЯ ПОБЕДЫ

I

Неделя фронта

Последние усилия на чашу сыпь,
чтоб навсегда перевесились истории весы.

II

Неделя фронта—неделя победы

Эй, товарищи!
Все, кто еще
военной звезды не надели,
пополните Красных Армий счет
на зов фронтовой недели.
Стройся в ряды!
Греми и громи!
Все и всё для победы!
И будет хлеб,
и будет мир,
и рухнут блокады беды.
Враг надломлен,
враг бежит
от наших ударов смелых!
Еще напор,
и не будет межи
ни одной
под властью белых!
Разбившись об твердость советских скал,
враги подчинятся силе!
Еще напор, —
победа близка,
сомкнитесь последним усилием!!!
Эй, товарищи!
Все, кто еще
военной звезды не надели,
пополните Красных Армий счет
на зов фронтовой недели!!!

III

Одно из двух

1. Не хотят подписывать мир пером —
2. так сами его подпишем штыком.

IV

1. Вот «национальное отечество», за которое
сражались солдаты при царях.
2. Вот социалистическое отечество, за которое
сражается красноармеец.

Январь 1920

ДЕНЬ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ

1. Рабочий Парижа
Коммуну
хотел
на благо выстроить мира.
2. Их смял генерал Галифе
и тел
груде
могилу вырыл.
3. Расстрелов дымом объят горизонт,
шабаш буржуев неистов:
4. буржуйка парижская
тыкала зонт
в простреленный глаз коммуниста.
5. Не смыть
убийцам
борцов имена
ни виселицей
и ни тюрьмою.
6. Во всем урожае
взошли семена,
и в небе
знамена моют.
7. Россия
сквозь горечь смертей и ран

пробилась
Коммуну строить,
8. и снова
Коммуну
в каждой из стран
увидят
в советском строе.

Февраль — март 1920

* * *

1. Мчит Пилсудский,
пыль столбом,
звон идет от марша...
2. Разобьется глупым лбом
об Коммуну маршал.
3. Паны красным ткут петлю,
нам могилу роют.
4. Ссыпь в могилу эту тлю
вместе с Петлюрою!
5. Лезут, в дрожь вгоняя аж,
на Коммуну пáны.
6. Да оборвут
об штык
об наш
белые жупаны.
7. Быть под панским сапогом
нам готовит лях-то,
8. да побежит от нас бегом
выдранная шляхта.
9. Шляхта ждет конец такой.[1]
Ладно,
ждите больше!
10. А за этой
за войной
быть Коммуне в Польше!

Апрель 1920

---

[1] На рисунке: рабочий на коленях перед паном. — *Ред.*

* * *

1. Оружие Антанты — деньги.
2. Белогвардейцев оружие — ложь.
3. Меньшевиков оружие — в спину нож.
4. Правда,
5. глаза открытые
6. и ружья —
вот коммунистов оружие.

Июль 1920

НОРМАЛИЗОВАННАЯ ГАЙКА

1. Подходи, рабочий!
Обсудим, дай-ка,
что это за вещь такая гайка?
2. Что гайка?
Ерунда! Малость!
3. А попробуй-ка
езжай, ежели сломалась.
Без этой вещи,
без гайки той —
ни взад, ни вперед.
Становись и стой!
4. Наконец отыскали гайку эту...
5. Прилаживают...
Никакой возможности нету!..
6. Эта мала,
та велика, —
словом,
не приладишь ее никак.
7. И пошли пешком,
как гуляки праздные.
Отчего?
Оттого, что гайки разные.
8. А если гайки одинаковые ввесть,
сломалась —
новая сейчас же есть.
9. И нечего долго разыскивать тут:
бери любую —
хоть эту, хоть ту!

10. И не только в гайке наше счастье.
Надо
всем машинам
одинаковые части,
а не то, как теперь —
паровоз и паровоз, —
один паровозом,
а другой, как воз.
11. Если это
поймет
рабочего разум, —
к Коммуне
на паровозах
ринемся разом.

Июль 1920

КТО?

1. Кто виноват,
что снова встретил Врангеля я?
2. Англия!
3. Эй, товарищ,
что делать,
если новый лезет государь?
4. Ударь!
5. Если Врангеля и пана добьем,
мир будет тогда?
6. Да!

Июль 1920

* * *

1. Щадите пленных!
2. Помните, красноармейцы, когда будете брать их,
3. о польских рабочих,
наших братьях.
4. Помните,
втретясь с врагами в поле,
5. что рабочие
идут
не по доброй воле.

6. Так в Польше держат рабочего.[1]
7. В бараний рог их в Польше гнут,
8. воевать их гонит
только кнут.
9. Образуются, очутившись на нашем
месте,[2]
10. и в панов
ударят
с нами вместе!
11. Бей панов,
к победе иди!
12. Но если
в плен рабочий, —
щади!

Август 1920

ИСТОРИЯ ПРО БУБЛИКИ И ПРО БАБУ, НЕ ПРИЗНАЮЩУЮ РЕСПУБЛИКИ

1. Сья история была
в некоей республике, —
баба на базар плыла,
а у бабы бублики.
2. Слышит, топот близ её
музыкою ве́ется:
бить на фронте пановьё
мчат красноармейцы.
3. Кушать хотца одному,
говорит ей: «Тетя,
бублик дай голодному, —
вы ж на фронт нейдете?!
4. Коль без дела будет рот,
буду слаб, как мощи.
5. Пан республику сожрет,
если будем тощи».
6. Баба молвила: «Ни в жисть
не отдам я бублики!

---

[1] На рисунке: польский рабочий, прикованный цепями к фабрике и с повязкой на глазах. — *Ред.*

[2] На рисунке: «школа», «читальня». — *Ред.*

Прочь, служивый, отвяжись!
Чорта ль мне в республике?!»

7. Шел наш полк и худ и тощ,
паны ж все саженные.
Нас смела панова мощь
в первом же сражении.

8. Мчится пан, и лют и яр,
смерть неся рабочим,
к глупой бабе на базар
влез он между прочим.

9. Видит пан — бела, жирна
баба между публики.
Миг — и съедена она,
и она и бублики.

10. Посмотри, на площадь выйдь:
ни крестьян, ни ситника.
Надо вовремя кормить
красного защитника.

11. Так кормите ж красных рать!
Хлеб неси без вою,
чтобы хлеб не потерять
вместе с головою!

Июль — август 1920

* * *

1. Врангель подбит.
2. Красные в Крыму.
3. Последнее усилие —
4. и конец ему!

11—15 ноября 1920

КРАСНЫЙ ЕЖ

Голой рукою нас не возьмешь.
Товарищи, — все под ружья!
Красная Армия — Красный еж —
железная сила содружья.

Рабочий на фабрике, куй, как куёшь,
Деникина день сосчитан!
Красная Армия — Красный еж —
верная наша защита.
Крестьяне, спокойно сейте рожь,
час Колчака сосчитан!
Красная Армия — Красный еж —
лучшая наша защита.
Врангель занес на Коммуну нож,
баронов срок сосчитан!
Красная Армия — Красный еж —
не выдаст наша защита.
Назад, генералы, нас не возьмешь!
Наземь кидайте оружье.
Красная Армия — Красный еж —
железная сила содружья.

1920

* * *

1. Каждый прогул —
2. радость врагу.
3. А герой труда —
4. для буржуев удар.

Январь 1921

* * *

1. Красноармеец!
Если ты демобилизован,
2. не забывай:
жив империализм!
3. Будь всегда готов!
4. Явись на гром партийного зова!

Январь 1921

* * *

1. Сдай налог.
2. А остальной фураж,
3. остальное сырье,
4 остальное продовольствие —
5. хочешь — храни,
6. хочешь — меняй,
7. хочешь — ешь в свое удовольствие.

Март 1921

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ!

Я знаю —
не герои
низвергают революций лаву.
Сказка о героях —
интеллигентская чушь!
Но кто ж
удержится,
чтоб славу
нашему не воспеть Ильичу?

Ноги без мозга — вздорны.
Без мозга
рукам нет дела.
Металось
во все стороны
мира безголовое тело.
Нас
продавали на вырез.
Военный вздымался вой.
Когда
над миром вырос
Ленин
огромной головой.
И зéмли
сели на óси.

Каждый вопрос — прост.
И выявилось
два
в хаосе
мира
во весь рост.
Один —
животище на животище.
Другой —
непреклонно скалистый —
влил в миллионы тыщи.
Встал
горой мускулистой.

Теперь
не промахнемся мимо.
Мы знаем, кого — мети!
Ноги знают,
чьими
трупами
им идти.

Нет места сомненьям и воям.
Долой улитье — «подождем»!
Руки знают,
кого им
крыть смертельным дождем.

Пожарами землю дымя,
везде,
где народ испле́нен,
взрывается
бомбой
имя:
Ленин!
Ленин!
Ленин!

И это —
не стихов вееру
обмахивать юбиляра уют. —

Я
в Ленине
мира веру
славлю
и веру мою.

Поэтом не быть мне бы,
если б
не это пел —
в звездах пятиконечных небо
безмерного свода РКП.

Апрель 1920

НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, БЫВШЕЕ С ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ ЛЕТОМ НА ДАЧЕ

(ПУШКИНО, АКУЛОВА ГОРА, ДАЧА РУМЯНЦЕВА, 27 ВЕРСТ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ЖЕЛ. ДОР.)

В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова
мир залить
вставало солнце áло.
И день за днем
ужасно злить
меня

вот это
стало.
И так однажды разозлясь,
что в страхе всё поблекло,
в упор я крикнул солнцу:
«Слазь!
довольно шляться в пекло!»
Я крикнул солнцу:
«Дармоед!
занежен в облака ты,
а тут — не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!»
Я крикнул солнцу:
«Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»
Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать —
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя,
валилась солнца масса,
ввалилось;
дух переводя,
заговорило басом:
«Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чай гони,
гони, поэт, варенье!»

Слеза из глаз у самого —
жара с ума сводила,
но я ему —
на самовар:
«Ну что ж,
садись, светило!»
Черт дернул дерзости мои
орать ему, —
сконфужен,
я сел на уголок скамьи,
боюсь — не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась, —
и, степенность
забыв,
сижу, разговорясь
с светилом постепенно.
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко?
— Поди, попробуй! —
А вот идешь —
взялось идти,
идешь — и светишь в оба!»
Болтали так до темноты —
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На «ты»
мы с ним, совсем освоясь.
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
«Ты да я,
нас, товарищ, двое!

Пойдем, поэт,
взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
а ты — свое,
стихами».
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма —
сияй во что попало!
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг — я
во всю светаю мочь —
и снова день трезвонится.
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!

Июнь — июль 1920

III ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Мы идем
революционной лавой.
Над рядами
флаг пожаров ал.
Наш вождь —
миллионноглавый
Третий Интернационал.

В стены столетий
воль вал

бьет Третий
Интернационал.

Мы идем.
Рядов разливу нет истока.
Волгам красных армий нету устья.
Пояс красных армий,
к западу
с востока
опоясав землю,
полюсами пустим.

Нации сети.
Мир мал.
Ширься, Третий
Интернационал!

Мы идем.
Рабочий мира,
слушай!
Революция идет.
Восток в шагах восстаний.
За Европой
океанами пройдет, как сушей,
Красный флаг
на крыши ньюйоркских зданий.

В новом свете
и в старом
ал
будет
Третий
Интернационал.

Мы идем.
Вставайте, цветнокожие колоний!
Белые рабы империй —
встаньте!
Бой решит —
рабочим властвовать у мира в лоне
или
войнами звереть Антанте.

Те
или эти.
Мир мал.
К оружию,
Третий
Интернационал!

Мы идем!
Штурмуем двери рая.
Мы идем.
Пробили дверь другим.
Выше, наше знамя!
Серп,
огнем играя,
обнимайся с молотом радугой дуги.

В двери эти!
Стар и мал!
Вселенься, Третий
Интернационал!

Лето 1920

ОТНОШЕНИЕ К БАРЫШНЕ

Этот вечер решал —
не в любовники выйти ль нам? —
Темно,
никто не увидит нас.
Я наклонился действительно,
и действительно
я,
наклонясь,
сказал ей,
как добрый родитель:
«Страсти крут обрыв —
будьте добры,
отойдите.
Отойдите,
будьте добры».

Лето 1920

ГЕЙНЕОБРАЗНОЕ

Молнию метнула глазами:
«Я видела —
с тобой другая.
Ты самый низкий,
ты подлый самый...» —
И пошла,
и пошла,
и пошла, ругая.
Я ученый малый, милая,
громыханья оставьте ваши.
Если молния меня не убила —
то гром мне,
ей-богу, не страшен.

Лето 1920

* * *

Портсигар в траву
ушел на треть.
И, как крышка
блестит,
наклонились смотреть
муравьишки всяческие и травишка.
Обалдело дивились
выкрутас монограмме,
дивились сиявшему серебром
полированным —
не стоившие со своими морями и горами
перед делом человечьим
ничего ровно.
Было в диковинку,
слепило зрение им,
ничего не видевшим этого рода.
А портсигар блестел
в окружающее с презрением:
— Эх, ты, мол,
природа!

Лето 1920

РАССКАЗ ПРО ТО, КАК КУМА О ВРАНГЕЛЕ ТОЛКОВАЛА БЕЗ ВСЯКОГО УМА

СТАРАЯ, НО ПОЛЕЗНАЯ ИСТОРИЯ

Врангель прет.
Отходим мы.
Врангелю удача.
На базаре
две кумы,
вставши в хвост, судачат:
— Кум сказал, —
а в ём ума —
я-то куму верю, —
что барон-то,
слышь, кума,
меж Москвой и Тверью.
Чуть не даром
всё
в Твери
стало продаваться.
Пуд крупчатки...
— Ну,
не ври! —
пуд за рупь за двадцать.
— А вина, скажу я вам!
Дух над Тверью водочный.
Пьяных
лично
по домам
водит околоточный.
Влюблены в барона власть
левые и правые.
Ну, не власть, а прямо сласть,
просто — равноправие. —

Встали, ртом ловя ворон.
Скоро ли примчится?
Скоро ль будет царь-барон
и белая мучица?

Шел волшебник мимо их.
— На́, — сказал он бабе, —

скороходы-сапоги,
к Врангелю зашла бы! —
Вмиг обувшись,
шага в три
в Тверь кума на это.
Кум сбрехнул ей:
во Твери
власть стоит Советов.
Мчала баба суток пять,
рвала юбки в ветре,
чтоб баронский
увидать
флаг
на Ай-Петри.
Разогнавшись с дальних стран,
удержаться силясь,
баба
прямо
в ресторан
в Ялте опустилась.

В «Грандотеле»
семгу жрет
Врангель толсторожий.
Разевает баба рот
на рыбешку тоже.

Метрдотель
желанья те
зрит —
и на подносе
ей
саженный метрдотель
карточку подносит.
Всё в копеечной цене.
Съехал сдуру разум.
Молвит баба:
— Дайте мне
всю программу разом! —

От лакеев мчится пыль.
Прошибает пот их.

Мчат котлеты и супы,
вина и компоты.
Уж из глаз еда течет
у разбухшей бабы!
Наконец-то
просит счет
бабин голос слабый.
Вся собралась публика.
Стали щелкать счеты.
Сто четыре рублика
выведено в счете.
Что такая сумма ей?!
Даром!
С неба манна.
Двести вынула рублей
баба из кармана.

Отскочил хозяин.
— Нет!
(Бледность мелом в роже.)
Наш-то рупь не в той цене,
наш в миллион дороже. —
Завопил хозяин лют:
— Знаешь разницу валют?!
Беспортошных нету тут,
генералы тута пьют! —
Возопил хозяин в яри:
— Это, тетка, что же!
Этак
каждый пролетарий
жрать захочет тоже. —
— Будешь знать, как есть и пить! —
все завыли в злости.
Стал хозяин тетку бить,
метрдотель
и гости.

Околоточный
на шум
прибежал из части.

Взвыла баба:
— Ой,
прошу,
защитите, власти! —
Как подняла власть сия
с шпорой сапожища...
Как полезла
мигом
вся
вспять
из бабы пища.

— Много, — молвит, — благ в Крыму
только для буржуя,
а тебя,
мою куму,
в часть препровожу я. —

Влезла
тетка
в скороход
пред тюремной дверью,
как задала тетка ход —
в Эрэсэфэсэрью.

Бабу видели мою,
наши обыватели?
Не хотите
в том раю
сами побывать ли?!

Октябрь — ноябрь 1920

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЧКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Слава тебе, краснозвездный герой!
Землю кровью вымыв,
во славу коммуны,
к горе за горой
шедший твердынями Крыма.

Они проползали танками рвы,
выпятив пушек шеи, —
телами рвы заполняли вы,
по трупам перейдя перешеек.
Они
за окопами взрыли окоп,
хлестали свинцовой рекою, —
а вы
отобрали у них Перекоп
чуть не голой рукою.
Не только тобой завоеван Крым
и белых разбита орава, —
удар твой двойной:
завоевано им
трудиться великое право.
И если
в солнце жизнь суждена
за этими днями хмурыми,
мы знаем —
вашей отвагой она
взята в перекопском штурме.
В одну благодарность сливаем слова
тебе,
краснозвездная лава.
Во веки веков, товарищи,
вам —
слава, слава, слава!

Конец 1920

О ДРЯНИ

Слава, Слава, Слава героям!!!

Впрочем,
им
довольно воздали дани.
Теперь
поговорим
о дряни.

Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мешанина.

И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина.

(Меня не поймаете на слове,
я вовсе не против мещанского сословия.
Мещанам
без различия классов и сословий
мое славословие.)

Со всех необъятных российских нив,
с первого дня советского рождения
стеклись они,
наскоро оперенья переменив,
и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,
живут и поныне —
тише воды.
Свили уютные кабинеты и спаленки.

И вечером
та или иная мразь,
на жену,
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморясь:
«Товарищ Надя!
К празднику прибавка —
24 тыщи.
Тариф.
Эх,
и заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать
как коралловый риф!»
А Надя:
«И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!

В чем
сегодня
буду фигурять я
на балу в Реввоенсовете?!»
На стенке Маркс.
Рамочка а́ла.
На «Известиях» лежа, котенок греется.
А из-под потолочка
верещала
оголтелая канареица.

Маркс со стенки смотрел, смотрел...
И вдруг
разинул рот,
да как заорет:
«Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните —
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!»

Конец 1920

СТИХОТВОРЕНИЕ О МЯСНИЦКОЙ, О БАБЕ И О ВСЕРОССИЙСКОМ МАСШТАБЕ

Сапоги почистить — 1 000 000.
Состояние!
Раньше б дом купил —
и даже неплохой.

Привыкли к миллионам.
Даже до луны расстояние
советскому жителю кажется чепухой.

Дернул меня черт
писать один отчет.
«Что это такое?» —
спрашивает с тоскою
машинистка.

Ну что отвечу ей?!
Черт его знает, что это такое,
если сзади
у него
тридцать семь нулей.
Недавно уверяла одна дура,
что у нее
тридцать девять тысяч семь сотых температура.
Так привыкли к этаким числам,
что меньше сажени число и не мыслим.
И нам,
если мы на митинге ревем,
рамки арифметики, разумеется, у́зки —
все разрешаем в масштабе мировом.
В крайнем случае — масштаб общерусский.
«Электрификация!?» — масштаб всероссийский.
«Чистка!» — во всероссийском масштабе.
Кто-то
даже,
чтоб избежать переписки,
предлагал —
сквозь землю
до Вашингтона кабель.

Иду.
Мясницкая.
Ночь глуха.
Скачу трясогузкой с ухаба на ухаб.
Сзади с тележкой баба.
С вещами
на Ярославский
хлюпает по ухабам.
Сбивают ставшие в хвост на галоши;
то грузовик обдаст,
то лошадь.
Балансируя, —
четырехлетний навык! —
тащусь меж канавищ,
канав,
канавок.
И то —
на лету вспоминая маму —

с размаху
у почтамта
плюхаюсь в яму.
На меня тележка.
На тележку баба.
В грязи ворочаемся с боку нá бок.
Что бабе масштаб грандиозный наш?!
Бабе грязью обдало рыло,
и баба,
взбираясь с этажа на этаж,
сверху
и меня
и власти крыла.
Правдив и свободен мой вещий язык
и с волей советскою дружен,
но, натолкнувшись на эти низы,
даже я запнулся, сконфужен.
Я
на сложных агитвопросах рос,
а вот
не могу объяснить бабе,
почему это
о грязи
на Мясницкой
вопрос
никто не решает в общемясницком масштабе?!

Осень 1921

ПРИКАЗ № 2 АРМИИ ИСКУССТВ

Это вам —
упитанные баритоны —
от Адама
до наших лет,
потрясающие — театрами именуемые —
притоны
ариями Ромеов и Джульетт.

Это вам —
пентры,
раздобревшие, как кони,
жрущая и ржущая России краса,

прячущаяся мастерскими,
по-старому драконя
цветочки и телеса.

Это вам —
прикрывшиеся листиками мистики,
лбы морщинками изрыв, —
футуристики,
имажинистики,
акмеистики,
запутавшиеся в паутине рифм.
Это вам —
на растрепанные сменившим
гладкие прически,
на лапти — лак,
пролеткультцы,
кладущие заплатки
на вылинявший пушкинский фрак.

Это вам —
пляшущие, в дуду дующие,
и открыто предающиеся,
и грешащие тайком,
рисующие себе грядущее
огромным академическим пайком.
Вам говорю
я —
гениален я или не гениален,
бросивший безделушки
и работающий в Росте,
говорю вам —
пока вас прикладами не прогнали:
Бросьте!

Бросьте!
Забудьте,
плюньте
и на рифмы,
и на арии,
и на розовый куст,
и на прочие мерехлюндии
из арсеналов искусств.

Кому это интересно,
что — «Ах, вот бедненький!
Как он любил
и каким он был несчастным...»?
Мастера,
а не длинноволосые проповедники
нужны сейчас нам.
Слушайте!
Паровозы стонут,
дует в щели и в пол:
«Дайте уголь с Дону!
Слесарей,
механиков в депо!»

У каждой реки на истоке,
лежа с дырой в боку,
пароходы провыли доки:
«Дайте нефть из Баку!»
Пока канителим, спорим,
смысл сокровенный ища:
«Дайте нам новые формы!» —
несется вопль по вещам.

Нет дураков,
ждя, что выйдет из уст его,
стоять перед «маэстрами» толпой разинь.
Товарищи,
дайте новое искусство —
такое,
чтобы выволочь республику из грязи́.

Конец 1921

ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ

Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.

Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
отобрав с полсотни —
самые важные! —
служащие расходятся на заседания.

Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени о́на».
— «Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
объединение Тео и Гукона».

Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели придти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».

Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет —
го́ло!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя на́ ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?»
— «На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья доро́гой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!

Убили!»
Мечусь, оря́.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».

С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»

<1922>

СВОЛОЧИ!

Гвоздимые строками,
стойте не́мы!
Слушайте этот волчий вой,
еле прикидывающийся поэмой!
Дайте сюда
самого жирного,
самого плешивого!
За шиворот!
Ткну в отчет Помгола.
Смотри!
Видишь —
за цифрой голой...

Ветер рванулся.
Рванулся и тише...
Снова снегами огрёб

тысяче-
миллионнокрыший
волжских селений гроб.
Трубы —
гробовые свечи.
Даже во́роны
исчезают,
чуя,
что, дымя́сь,
тянется
слащавый,
тошнотворный
дух
зажариваемых мяс.
Сына?
Отца?
Матери?
Дочери?
Чья?!
Чья в людоедчестве очередь?!.

Помощи не будет!
Отрезаны снегами.
Помощи не будет!
Воздух пуст.
Помощи не будет!
Под ногами
даже глина сожрана,
даже куст.

Нет,
не помогут!
Надо сдаваться.
В 10 губерний могилу вы́меряйте!
Двадцать
миллионов!
Двадцать!
Ложитесь!
Вымрите!..

Только одна,
осипшим голосом,

сумасшедшие проклятия метелями меля,
рек,
дорог снеговые волосы
ветром рвя, рыдает земля.

Хлеба!
Хлебушка!
Хлебца!

Сам смотрящий смерть воочию,
еле едящий —
только б не сдох, —
тянет город руку рабочую
горстью сухих крох.

«Хлеба!
Хлебушка!
Хлебца!»
Радио ревет за все границы.
И в ответ
за нелепицей нелепица
сыплется в газетные страницы.

«Лондон.
Банкет.
Присутствие короля и королевы.
Жрущих — не вместишь в раззолоченные
хлевы».

Будьте прокляты!
Пусть
за вашей головою вéнчанной
из колоний
дикари придут,
питаемые человечиной!
Пусть
горят над королевством
бунтов зарева!
Пусть
столицы ваши
будут выжжены дотла!

Пусть из наследников,
из наследниц варево
варится в коронах-котлах!

«Париж.
Собрались парламентарии.
Доклад о голоде.
Фритиоф Нансен.
С улыбкой слушали.
Будто соловьиные арии.
Будто тéнора слушали в модном романсе».

Будьте прокляты!
Пусть
вовеки
вам
не слышать речи человечьей!
Пролетарий французский!
Эй,
стягивай петлею вместо речи
толщь непроходимых шей!

«Вашингтон.
Фермеры,
доевшие,
допившие
до того,
что лебедками подымают пузы,
в океане
пшеницу
от излишества топившие, —
топят паровозы грузом кукурузы».

Будьте прокляты!
Пусть
ваши улицы
бунтом будут запрýжены.
Выбрав
место, где более больно,
пусть
по Америке —

по Северной,
по Южной —
гонят
брюх ваших
мячище футбольный!

«Берлин.
Оживает эмиграция.
Банды радуются:
с голодными драться им.
По Берлину,
закручивая усики,
ходят,
хвастаются:
— Патриот!
Русский!»

Будьте прокляты!
Вечное «вон!» им!
Всех отвращая иудьим видом,
французского золота преследуемые звоном,
скитайтесь чужбинами Вечным жи́дом!
Леса российские,
соберитесь все!
Выберите по самой большой осине,
чтоб образ ихний
вечно висел,
под самым небом качался, синий.

«Москва.
Жалоба сборщицы:
в «Ампирах» морщатся
или дадут
тридцатирублевку,
вышедшую из употребления в 1918 году».

Будьте прокляты!
Пусть будет так,
чтоб каждый проглоченный
глоток
желудок жег!

Чтоб ножницами оборачивался бифштекс
сочный,
вспарывая стенки кишок!

Вымрет.
Вымрет 20 миллионов человек!
Именем всех упокоенных тут —
проклятие отныне,
проклятие вовек
от Волги отвернувшим морд толстоту.
Это слово не к жирному пузу,
это слово не к царскому трону, —
в сердце таком
слова ничего не тронут:
трогают их революций штыком.

Вам,
несметной армии частицам малым,
порох мира,
силой чьей,
силой,
брошенной по всем подвалам,
будет взорван
мир несметных богачей!
Вам! Вам! Вам!
Эти слова вот!
Цифрами верстовыми,
вмещающимися едва,
запишите Волгу буржуазии в счет!

Будет день!
Пожар всехсветный,
чистящий и чадный.
Выворачивая богачей палаты,
будьте так же,
так же беспощадны
в этот час расплаты!

<1922>

МОЯ РЕЧЬ НА ГЕНУЭЗСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Не мне российская делегация вверена.
Я —
самозванец на конференции Генуэзской.
Дипломатическую вежливость товарища
Чичерина
дополню по-моему —
просто и резко.
Слушай!
Министерская компанийка!
Нечего заплывшими глазками мерцать.
Сквозь фраки спокойные вижу —
паника
трясет лихорадкой ваши сердца.
Неужели
без смеха
думать в силе,
что вы
на конференцию
нас пригласили?
В штыки бросаясь на Перекоп идти,
мятежных склоняя под красное знамя,
трудом сгибаясь в фабричной копоти, —
мы знали —
заставим разговаривать с нами.
Не просьбой просителей язык замер,
не нищие, жмурящиеся от господского света, —
мы ехали, осматривая хозяйскими глазами
грядущую
Мировую Федерацию Советов.
Болтают язычишки газетных строк:
«Испытать их сначала...»
Хватили лишку!
Не вы на испытание даете срок —
а мы на время даем передышку.
Лишь первая фабрика взвила дым —
враждой к вам
в рабочих
вспыхнули души.
Слюной ли речей пожары вражды
на конференции

нынче
затушим?!
Долги наши,
каждый медный грош,
считают «Матэны»,
считают «Таймсы».
Считаться хотите?
Давайте!
Что ж!
Посчитаемся!
О вздернутых Врангелем,
о расстрелянном,
о заколотом
память на каждой крымской горе.
Какими пудами
какого золота
оплáтите это, господин Пуанкаре?
О вашем Колчаке — Урал спросúте!
Зверством — аж горы вгонялись в дрожь.
Каким золотом —
хватит ли в Сити?! —
оплáтите это, господин Ллойд Джордж?
Вонзите в Волгу ваше зрение:
разве этот
голодный ад,
разве это
мужицкое разорение —
не хвост от ваших войн и блокад?
Пусть
кладбúщами голодной смерти
каждый из вас протащится сам!
На каком —
на железном, что ли, эксперте
не встанут дыбом волоса?
Не защититесь пунктами резолюций-плотин.
Мировая —
ночи пальбой веселя —
революция будет —
и велит:
«Плати
и по этим российским векселям!»
И розовые краснеют мало-помалу.

Тише!
Не дыша!
Слышите
из Берлина
первый шаг
трех Интернационалов?
Растя единство при каждом ударе,
идем.
Прислушайтесь —
вздрагивает здание.

Я кончил.
Милостивые государи,
можете продолжать заседание.

<1922>

КАК РАБОТАЕТ РЕСПУБЛИКА ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ?

СТИХОТВОРЕНИЕ ОПЫТНОЕ. ВОСТОРЖЕННО КРИТИЧЕСКОЕ.

Словно дети, просящие с медомковригу,
буржуи вымаливают:
«Паспорточек бы!
В Р-и-и-и-гу!»
Поэтому,
думаю,
не лишнее
выслушать очевидевшего благоустройства
заграничные.
Во-первых,
как это ни странно,
и Латвия — страна.
Все причиндалы, полагающиеся странам,
имеет и она.
И правительство (управляют которые),
и народонаселение,
и территория...

Территория

Территории, собственно говоря, нет —
только делают вид...
Просто полгубернии отдельно лежит.
А чтоб в этом
никто
не убедился воочию —
поезда от границ отходят ночью.
Спишь,
а паровоз
старается,
ревет —
и взад,
и вперед,
и топчется на месте.
Думаешь утром — напутешествовался вот! —
а до Риги
всего
верст сто или двести.

Ригу не выругаешь —
чистенький вид.
Публика мыта.
Мостовая блестит.
Отчего же
у нас
грязно и гадко?
Дело простое —
в размерах разгадка:
такая была б Русь —
в три часа
всю берусь
и умыть и причесать.

Армия

Об армии не буду отзываться худо:
откуда ее набрать с двухмиллионного люда?!
(Кой о чем приходится помолчать условиться,
помните? — пословица:

«Не плюй вниз
в ожидании виз».)

Войска мало,
но выглядит мило.
На меня б
на одного
уж во всяком случае хватило.
Тем более, говорят, что и пушки есть:
не то пять,
не то шесть.

Правительство

Латвией управляет учредилка.
Учредилка — место, где спорят пылко.
А чтоб языками вертели не слишком часто,
председателя выбрали —
господин Чаксте.

Республика много демократичней, чем у нас.
Ясно без слов.
Всё решается большинством голосов.
(Если выборы в руках
— понимаете сами —
трудно ли обзавестись нужными голосами!)
Голоснули,
подсчитали —
и вопрос ясен...
Земля помещикам и перешла восвояси.
Не с собой же спорить!
Глупо и скучно.
Для споров
несколько эсдечков приручено.
Если же очень шебутятся с левых мест,
проголосуют —
и пожалуйте под арéст.
Чтоб удостовериться,
правдивы мои слова ли,
спросите у Дермана —
его «проголосовали».

Свобода слова

Конечно,
ни для кого не ново,
что у демократов свобода слова.
У нас цензура —
разрешат или запретят.
Кому такие ужасы не претят?!
А в Латвии свободно —
печатай сколько угодно!
Кто не верит,
убедитесь на моем личном примере.
Напечатал «Люблю» —
любовная лирика.
Вещь — безобиднее найдите в мире-ка!
А полиция — хоть бы что!
Насчет репрессий вяло.
Едва-едва через три дня арестовала.

Свобода манифестаций

И насчет демонстраций свобод немало —
ходи и пой досыта и до отвала!
А чтоб не пели чего,
устои ломая, —
учредилку открыли в день маёвки.
Даже парад правительственный — первого мая.
Не правда ли,
ловкие головки?!
Народ на маёвку повалил валом:
только
отчего-то
распелись «Интернационалом».
И в общем, ничего,
сошло мило —
только человек пятьдесят полиция побила.
А чтоб было по-домашнему,
а не официально-важно,
полиция в буршей была переряжена.

Культура

Что Россия?
Россия дура!
То-то за границей —
за границей культура.
Поэту в России —
одна грусть!
А в Латвии
каждый знает тебя наизусть.
В Латвии
даже министр каждый —
и то томится духовной жаждой.
Есть аудитории.
И залы есть.
Мне и захотелось лекциишку прочесть.
Лекцию не утаишь.
Лекция — что шило.
Пришлось просить,
чтоб полиция разрешила.
Жду разрешения
у господина префекта.
Господин симпатичный —
в погончиках некто.
У нас
с бумажкой
натерпелись бы волокит,
а он
и не взглянул на бумажкин вид.
Сразу говорит:
«Запрещается.
Прощайте!»
— Разрешите, — прошу, —
ну чего вы запрещаете? —
Вотще!
«Квесис, — говорит, — против футуризма вообще».

Спрашиваю,
в поклоне свесясь:
— Что это за кушанье такое —
К-в-е-с-и-с? —
«Министр внудел,
— префект рёк —

образованный —
знает вас вдоль и поперек».
— А Квесис
не запрещает,
ежели человек — брюнет? —
спрашиваю в бессильной яри.
«Нет, — говорит, —
на брюнетов запрещения нет».
Слава богу!
(я-то на всякий случай — карий).

Народонаселение

В Риге не видно худого народонаселения.
Голод попрятался на фабрики и в селения.
А в бульварной гуще —
народ жирнющий.
Щеки красные,
рот — во!
В России даже у нэпистов меньше рот.

А в остальном —
народ ничего,
даже довольно милый народ.

Мораль в общем

Зря,
ребята,
на Россию ропщем.

<1922>

ГЕРМАНИЯ

Германия —
это тебе!
Это не от Рапалло.
Не наркомвнешторжьим я расчетам внял.
Никогда,
никогда язык мой не трепала
комплиментщины официальной болтовня.

Я не спрашивал,
Вильгельму,
Николаю прок ли, —
разбираться в дрязгах царственных не мне.
Я
от первых дней
войнищу эту проклял,
плюнул рифмами в лицо войне.
Распустив демократические слюни,
шел Керенский в орудийном гуле.
С теми был я,
кто в июне
отстранял
от вас
нацеленные пули.
И когда, стянув полков ободья,
сжали горла вам французы и британцы,
голос наш
взвивался песней о свободе,
руки фронта вытянул брататься.
Сегодня
хожу
по твоей земле, Германия,
и моя любовь к тебе
расцветает романнее и романнее.
Я видел —
цепенеют верфи на Одере,
я видел —
фабрики сковывает тишь.
Пусть, —
не верю,
что на смертном одре
лежишь.
Я давно
с себя
лохмотья наций скинул.
Нищая Германия,
позволь
мне,
как немцу,
как собственному сыну,
за тебя твою распéснить боль.

Рабочая песня

Мы сеем,
мы жнем,
мы куем,
мы прядем,
рабы всемогущих Стиннесов.
Но мы не мертвы.
Мы еще придем.
Мы еще наметим и кинемся.
Обернулась шибером,
улыбка на морде, —
история стала.
Старая врет.
Мы еще придем.
Мы пройдем из Норденов
сквозь Вильгельмов пролет Бранденбургских
ворот.

У них долла́ры.
Победа дала.
Из унтерденлиндских отелей
ползут,
вгрызают в горло долла́р,
пируют на нашем теле.
Терпите, товарищи, расплаты во имя...
За всё —
за войну,
за после,
за раньше,
со всеми,
с ихними
и со своими,
мы рассчитаемся в Красном реванше...

На глотке колено.
Мы — зверьи рычим.
Наш голос судорогой не́мится...
Мы знаем, под кем,
мы знаем, под чьим
еще подымутся немцы.

Мы
еще
извеселим берлинские улицы.
Красный флаг, —
мы заждáлись —
вздымайся и рей!
Красной песне
из окон каждого Шульца
откликайся,
свободный
с Запада
Рейн.

Это тебе дарю, Германия!
Это
не долларов тыщи,
этой песней счёта с голодом не свесть.
Что ж,
и ты
и я —
мы оба нищи, —
у меня
это лучшее из всего, что есть.

<1923>

О ПОЭТАХ

СТИХОТВОРЕНИЕ ЭТО — ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНО И ДЛЯ РЕДАКТОРА И ДЛЯ ПОЭТОВ

Всем товарищам по ремеслу:
несколько идей
о «прожигании глаголами сердец людей».

Что поэзия?!
Пустяк.
Шутка.
А мне от этих шуточек жутко.

Мысленным оком окидывая Федерацию —
готов от боли визжать и драться я.

Во всей округе —
тысяч двадцать поэтов изогнулися в дуги.
От жизни сидячей высохли в жгут.
Изголодались.
С локтями голыми.
Но денно и нощно
жгут и жгут
сердца неповинных людей «глаголами».
Написал.
Готово.
Спрашивается — прожёг?
Прожёг!
И сердце и даже бок.
Только поймут ли поэтические стада,
что сердца
сгорают —
исключительно со стыда.

Посудите:
сидит какой-нибудь верзила
(мало ли слов в России есть?!).
А он
вытягивает,
как булавку из ила,
пустяк,
который полегше зарифмоплесть.
А много ль в языке такой чуши,
чтоб сама
колокольчиком
лезла в уши?!!
Выберет...
и опять отчесывает вычески,
чтоб образ был «классический»,
«поэтический».
Вычешут...
и опять кряхтят они:
любят ямбы редактора́ лающиеся.
А попробуй,
в ямб
пойди и запихни
какое-нибудь слово,
например, «млекопитающееся».

Потеют как следует
над большим листом.
А только сбоку
на узеньком клочочке
коротенькие строчки растянулись глистом.
А остальное —
одни запятые да точки.
Хороший язык взял да и искрошил,
зря только на обучение тратились гроши.
В редакции
поэтов банда такая,
что у редактора хронический разлив жёлчи.
Банду локтями,
дверями толкают,
курьер орет: «Набилось сволочи!»
Не от мира сего —
стоят молча.
Поэту в редкость удачи лучи.
Разве что редактор заталмудится слишком
и врасплох удастся ему всучить
какую-нибудь
позапрошлогоднюю
залежавшуюся «веснишку».
И наконец
выпускающий,
над чушью фыркая,
режет набранное мелким петитиком
и затыкает стихами дырку за дыркой,
на горе родителям и на радость критикам.
И лезут за прибавками наборщик и наборщица.
Оно понятно —
набирают и морщатся.

У меня решение одно отлежалось:
помочь людям.
А то жалость!
(Особенно предложение пригодилось к весне б,
когда стихом зачитывается весь нэп.)
Я не против такой поэзии.
Отнюдь.
Весною тянет на меланхолическую нудь.
Но долой рукоделие!

Что может быть старей
кустарей?!
Как мастер этого дела
(ко мне не прицéпитесь)
сообщу вам об универсальном рецепте-с.
(Новость та,
что моими мерами
поэты заменяются редакционными курьерами.)

Рецепт

(Правила простые совсем:
всего — семь.)
1. Берутся классики,
свертываются в трубку
и пропускаются через мясорубку.
2. Что получится, то
откидывают на решето.
3. Откинутое выставляется на вольный дух.
(Смотри, чтоб на «образы» не насело мух!)
4. Просушиваемое перетряхивается еле
(чтоб мягкие знаки чересчур не затвердели).
5. Сушится (чтоб не успело перевéчниться)
и сыпется в машину:
обыкновенная перечница.
6. Затем
раскладывается под машиной
липкая бумага
(для ловли мушиной).
7. Теперь просто:
верти ручку
да смотри, чтоб рифмы не сбились в кучку!
(Чтоб «кровь» к «любовь»,
«тень» ко «дню»,
чтоб шли аккуратненько
одна через одну.)

Полученное вынь и...
готово к употреблению:
к чтению,

к декламированию,
к пению.

А чтоб поэтов от безработной меланхолии вылечить,
чтоб их не тянуло портить бумажки,
отобрать их от добрейшего Анатолия Васильича
и передать
товарищу Семашке.

<1923>

ПАРИЖ

(РАЗГОВОРЧИКИ С ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНЕЙ)

Обшаркан мильоном ног.
Исшелестен тыщей шин.
Я борозжу Париж —
до жути одинок,
до жути ни лица,
до жути ни души.
Вокруг меня —
авто фантастят танец,
вокруг меня —
из зверорыбьих морд —
еще с Людовиков
свистит вода, фонтанясь.
Я выхожу
на Place de la Concorde. [1]
Я жду,
пока,
подняв резную главку,
домовьей слежкою ума́яна,
ко мне,
к большевику,
на явку
выходит Эйфелева из тумана.
— Т-ш-ш-ш,
башня,
тише шлепайте! —

---

[1] Площадь Согласия (франц.). — *Ред.*

увидят! —
луна — гильотинная жуть.
Я вот что скажу
(пришипился в шепоте,
ей
в радиоухо
шепчу,
жужжу):
— Я разагитировал вещи и здания.
Мы —
только согласия вашего ждем.
Башня —
хотите возглавить восстание?
Башня —
мы
вас выбираем вождем!
Не вам —
образцу машинного гения —
здесь
таять от аполлинеровских вирш.
Для вас
не место — место гниения —
Париж проституток,
поэтов,
бирж.
Метро согласились,
метро со мною —
они
из своих облицованных нутр
публику выплюют —
кровью смоют
со стен
плакаты духов и пудр.
Они убедились —
не ими литься
вагонам богатых.
Они не рабы!
Они убедились —
им
более к лицам
наши афиши,
плакаты борьбы.

Башня —
улиц не бойтесь!
Если
метро не выпустит уличный грунт —
грунт
исполосуют рельсы.
Я подымаю рельсовый бунт.
Боитесь?
Трактиры заступятся стаями?
Боитесь?
На помощь придет Рив-гош.[1]
Не бойтесь!
Я уговорился с мостами.
Вплавь
реку
переплыть
нелегко ж!
Мосты,
распалясь от движения злого,
подымутся враз с парижских боков.
Мосты забунтуют.
По первому зову —
прохожих ссыпят на камень быков.
Все вещи вздыбятся.
Вещам невмоготу.
Пройдет
пятнадцать лет
иль двадцать,
обдрябнет сталь,
и сами
вещи
тут
пойдут
Монмартрами на ночи продаваться.
Идемте, башня!
К нам!
Вы —
там,
у нас,
нужней!

---

[1] Левый берег (франц.). — *Ред.*

Идемте к нам!
В блестеньи стали,
в дымах —
мы встретим вас.
Мы встретим вас нежней,
чем первые любимые любимых.
Идем в Москву!
У нас
в Москве
простор.
Вы
— каждой! —
будете по улице иметь.
Мы
будем холить вас:
раз сто
за день
до солнц расчистим вашу сталь и медь.
Пусть
город ваш,
Париж франтих и дур,
Париж бульварных ротозеев,
кончается один, в сплошной складбищась Лувр,
в старье лесов Булонских и музеев.
Вперед!
Шагни четверкой мощных лап,
прибитых чертежами Эйфеля,
чтоб в нашем небе твой израдиило лоб,
чтоб наши звезды пред тобою сдрейфили!
Решайтесь, башня, —
нынче же вставайте все,
разворотив Париж с верхушки и до низу!
Идемте!
К нам!
К нам, в СССР!
Идемте к нам —
я
вам достану визу!

<1923>

МЫ НЕ ВЕРИМ!

Тенью истемня весенний день,
выклеен правительственный бюллетень.

Нет!
Не надо!
Разве молнии велишь
не литься?
Нет!
не оковать язык грозы!
Вечно будет
тысячестраницый
грохотать
набатный
ленинский язык.

Разве гром бывает немотою болен?!
Разве сдержишь смерч,
чтоб вихрем не кипел?!
Нет!
не ослабеет ленинская воля
в миллионносильной воле РКП.

Разве жар
такой
термометрами меряется?!
Разве пульс
такой
секундами гудит?!
Вечно будет ленинское сердце
клокотать
у революции в груди.

Нет!
Нет!
Не-е-т...
Не хотим,
не верим в белый бюллетень.
С глаз весенних
сгинь, навязчивая тень!

<1923>

ВЕСЕННИЙ ВОПРОС

Страшное у меня горе.
Вероятно —
лишусь сна.
Вы понимаете,
вскоре
в РСФСР
придет весна.
Сегодня
и завтра
и веков испокон
шатается комната —
солнца пропойца.
Невозможно работать.
Определенно обеспокоен.
А ведь откровенно говоря —
совершенно не из-за чего беспокоиться.
Если подойти серьезно —
так-то оно так.
Солнце посветит —
и пройдет мимо.
А вот попробуй —
от окна оттяни кота.
А если и животное интересуется улицей,
то мне
это —
просто необходимо.
На улицу вышел
и встал в лени я,
не в силах...
не сдвинуть с места тело.
Нет совершенно
ни малейшего представления,
что ж теперь, собственно говоря, делать?!
И за шиворот
и по носу
каплет безбожно.
Слушаешь.
Не смахиваешь.
Будто стих.

Юридически —
куда хочешь идти можно,
но фактически —
сдвинуться
никакой возможности.
Я, например,
считаюсь хорошим поэтом.
Ну, скажем,
могу
доказать:
«самогон — большое зло».
А что про это?
Чем про это?
Ну нет совершенно никаких слов.
Например:
город советские служащие искрáпили,
приветствуй весну,
ответь салютно!
Разучились —
нечем ответить на капли.
Ну не могут сказать —
ни слова.
Абсолютно!
Стали вот так вот —
смотрят рассеянно.
Наблюдают —
скалывают дворники лед.
Под башмаками вода.
Бассейны.
Сбоку брызжет.
Сверху льет.
Надо принять какие-то меры.
Ну не знаю что, —
например:
выбрать день
самый синий,
и чтоб на улицах
улыбающиеся милиционеры
всем
в этот день
раздавали апельсины.

Если это дорого —
можно выбрать дешевле,
проще.
Например:
чтоб старики,
безработные,
неучащаяся детвора
в 12 часов
ежедневно
собирались на Советской
площади,
троекратно кричали б:
ура!
ура!
ура!
Ведь все другие вопросы
более или менее ясны́.
И относительно хлеба ясно,
и относительно мира ведь.
Но этот
кардинальный вопрос
относительно весны
нужно
во что бы то ни стало
теперь же урегулировать.

<1923>

СХЕМА СМЕХА

Выл ветер и не знал о ком,
вселяя в сердце дрожь нам.
Путем шла баба с молоком,
шла железнодорожным.

А ровно в семь, по форме,
несясь во весь карьер с Оки,
сверкнув за семафорами, —
взлетает курьерский.

Была бы баба ранена,
зря выло сто свистков ревмя, —

но шел мужик с бараниной
и дал понять ей вовремя.

Ушла направо баба,
ушел налево поезд.
Каб не мужик, тогда бы
разрезало по пояс.

Уже исчез за звезды дым,
мужик и баба скрылись.
Мы дань герою воздадим,
над буднями воскрылясь.

Хоть из народной гущи,
а спас средь бела дня.
Да здравствует торгующий
бараниной средняк!

Да светит солнце в темноте!
Горите, звезды, ночью!
Да здравствуют и те, и те —
и все иные прочие!

<1923>

ВОРОВСКИЙ

Сегодня,
пролетариат,
гром голосов раскуй,
забудь
о всепрощеньи-воске.
Приконченный
фашистской шайкой воровско́й,
в последний раз
Москвой
пройдет Воровский.
Сколько не станет...
Сколько не стало...
Скольких — в клочья...
Скольких — в дым...

Где б ни сдали.
Чья б ни сдала.
Мы не сдали,
мы не сдадим.
Сегодня
гнев
скругли
в огромный
бомбы мяч.
Сегодня
голоса́
размолний штычьим блеском.
В глазах
в капиталистовых маячь.
Чертись
по королевским занавескам.
Ответ
в мильон шагов
пошли
на наглость нот.
Мильонную толпу
у стен кремлевских вызмей.
Пусть
смерть товарища
сегодня
подчеркнет
бессмертье
дела коммунизма.

Между 10 и 20 мая 1923

БАКУ

Баку.
Город ветра.
Песок плюет в глаза.
Баку.
Город пожаров.
Полыхание Балахан.
Баку.

Листья — копоть.
Ветки — провода.
Баку.
Ручьи —
чернила нефти.
Баку.
Плосковерхие дома.
Горбоносые люди.
Баку.
Никто не селится для веселья.
Баку.
Жирное пятно в пиджаке мира.
Баку.
Резервуар грязи,
но к тебе
я тянусь
любовью
более,
чем притягивает дервиша Тибет,
Мекка — правоверного,
Иерусалим —
христиан
на богомолье.
По тебе
машинами вздыхают
миллиарды
поршней и колес.
Поцелуют
и опять
целуют, не стихая,
маслом,
нефтью,
тихо
и взасос.
Воле города
противостать не смея,
цепью сцепеневших тел
льнут
к Баку
покорно
даже змеи
извивающихся цистерн.

Если в будущее
крепко верится —
это оттого,
что до краев
изливается
столицам в сердце
черная
бакинская
густая кровь.

Весна 1923

НОРДЕРНЕЙ

Дыра дырой,
ни хорошая, ни дрянная —
немецкий курорт,
живу в Нордернее.
Небо
то луч,
то чайку роняет.
Море
блестящей, чем ручка дверная.
Полон рот
красот природ:
то волны
приливом
полберега выроют,
то краб,
то дельфинье выплеснет тельце,
то примусом волны фосфоресцируют,
то в море
закат
киселем раскиселится.
Тоска!..
Хоть бы,
что ли,
громовий раскат.
Я жду не дождусь
и не в силах дождаться,
но верую в ярую,
верую в скорую.

И чудится:
из-за островочка
кронштадтцы
уже выплывают
и целят «Авророю».
Но море в терпеньи,
и буре не вывести.
Волну
и не гладят ветровы пальчики.
По пляжу
впластались в песок
и в ленивости
купальщицы млеют,
млеют купальщики.
И видится:
буря вздымается с дюны.
«Купальщики,
жиром набитые бочки,
спасайтесь!
Покроет,
измелет
и сдунет.
Песчинки — пули,
песок — пулеметчики».
Но пляж
буржуйкам
ласкает подошвы.
Но ветер,
песок
в ладу с грудастыми.
С улыбкой:
как всё в Германии дешево! —
валютчики
греют катары и астмы.
Но это ж,
наверно,
красные роты.
Шаганья знакомая разноголосица.
Сейчас на табльдотчиков,
сейчас на табльдоты

накинутся,
врежутся,
ринутся,
бросятся.
Но обер
на барыню
косится рабьи:
фашистский
на барыньке
знак муссолинится.
Сося
и вгрызаясь в щупальцы крабьи,
глядят,
как в море
закатище вклинится.

Чье сердце
октябрьскими бурями вымыто,
тому ни закат,
ни моря рёволицые,
тому ничего,
ни красот,
ни климатов,
не надо —
кроме тебя,
Революция!

4 августа 1923
Нордерней

МОСКВА — КЕНИГСБЕРГ

Проезжие — прохожих реже.
Еще храпит Москва деляг.
Тверскую жрет,
Тверскую режет
сорокасильный «каделяк».
Обмахнуло
радиатор
горизонта веером.

— Eins!
zwei!
drei![1] —
Мотора гром.
В небо дверью —
аэродром.
Брик.
Механик.
Ньюбо́льд.
Пилот.
Вещи.
Всем по пять кило.
Влезли пятеро.
Земля попятилась.
Разбежались дорожки-
ящеры.
Ходынка
накрылась скатертцей.
Красноармейцы,
Ходынкой стоящие,
стоя ж —
назад катятся.
Небо —
не ты ль?..
Звезды —
не вы ль это?
Мимо звезды́
(нельзя без виз)!
Навылет небу,
всему навылет,
пали́ —
земной
отлетающий низ!
Развернулось солнечное *это*.
И пошли
часы
необычайниться.
Города́,
светящиеся
в облачных просветах.

[1] Раз! два! три! (нем.). — *Ред.*

Птица
догоняет,
не догнала —
тянется...
Ямы воздуха.
С размаха ухаем.
Рядом молния.
Сощурился Ньюбóльд.
Гром мотора.
В ухе
и над ухом.
Но не раздраженье.
Не боль.
Сердце,
чаще!
Мотору вторь.
Слились сладчайше
я
и мотор:
«Крылья Икар
в скалы низверг,
чтоб воздух-река
тек в Кенигсберг.
От чертежных дел
седел Леонардо,
чтоб я
летел,
куда мне надо.
Калечился Уточкин,
чтоб близко-близко,
от солнца на чуточку,
парить над Двинском.
Рекорд в рекорд
вбивал Горрó,
чтобы я
вот —
этой тучей-горой.
Коптел
над «Гномом»
Юнкерс и Дукс,

чтоб спорил
с громом
моторов стук».
Что же —
для того
конец крылам Ика́риным,
человечество
затем
трудом заводов никло,
чтобы этакий
Владимир Маяковский,
барином,
Кенигсбергами
распархивался
на каникулы?!
Чтобы этакой
бесхвостой
и бескрылой курице
меж подушками
усесться куце?!
Чтоб кидать,
и не выглядывая из гондолы,
кожуру
колбасную —
на города и долы?!.
Нет!
Вылазьте из гондолы, плечи!
100 зрачков
глазейте в каждый глаз!
Завтрашнее,
послезавтрашнее человечество,
мой
неодолимый
стальнорукий класс, —
я
благодарю тебя
за то,
что ты
в полетах
и меня,
слабейшего,
вковал своим звеном.

Возлагаю
на тебя —
земля труда и пота —
горизонта
огненный венок.
Мы взлетели,
но еще — не слишком.
Если надо
к Марсам
дуги выгнуть —
сделай милость,
дай
отдать
мою жизнишку.
Хочешь,
вниз
с трех тысяч метров
прыгну?!

6 сентября 1923
Берлин

КИЕВ

Лапы елок,
лапки,
лапушки...
Все в снегу,
а теплые какие!
Будто в гости
к старой,
старой бабушке
я
вчера
приехал в Киев.
Вот стою
на горке
на Владимирской.
Ширь вовсю —
не вымчать и перу!

Так
когда-то,
рассиявшись в выморозки,
Киевскую
Русь
оглядывал Перун.
А потом —
когда
и кто,
не помню толком,
только знаю,
что сюда вот
пó льду,
да и по воде,
в порогах,
волоком —
шли
с дарами
к Диру и Аскольду.
Дальше
било солнце
куполам в литавры.
— На колени, Русь!
Согнись и стой. —
До сегодня
нас
Владимир гонит в лавры.
Плеть креста
сжимает
каменный святой.
Шли
из мест
таких,
которых нету глуше, —
прадеды,
прапрадеды
и пра пра пра!..
Много
всяческих
кровавых безделушек
здесь у бабушки
моей
по берегам Днепра.

Был убит
и снова встал Столыпин,
памятником встал,
вложивши пальцы в китель.
Снова был убит,
и вновь
дрожали липы
от пальбы
двенадцати правительств.
А теперь
встают
с Подола
дымы,
киевская грудь
гудит,
котлами грета.
Не святой уже —
другой,
земной Владимир
крестит нас
железом и огнем декретов.
Даже чуть
зарусофильствовал
от этой шири!
Русофильство,
да другого сорта.
Вот
моя
рабочая страна,
одна
в огромном мире.
— Эй!
Пуанкаре!
возьми нас?..
Черта!
Пусть еще
последний,
старый батька
содрогает
плачем
лавры звонницы.

Пусть
еще
врезается с Крещатика
волчий вой:
«Даю-беру червонцы!»
Наша сила —
правда,
ваша —
лаврьи звоны.
Ваша —
дым кадильный,
наша —
фабрик дым.
Ваша мощь —
червонец,
наша —
стяг червонный.
— Мы возьмем,
займем
и победим.
Здравствуй
и прощай, седая бабушка!
Уходи с пути!
скорее!
ну-ка!
Умирай, старуха,
спекулянтка,
на́божка.
Мы идем —
ватага юных внуков!

<1924>

9-е ЯНВАРЯ

О боге болтая,
о смирении говоря,
помни день —
9-е января.
Не с красной звездой —
в смирении тупом
с крестами шли
за Гапоном-попом.

Не в сабли
врубались
конармией-птицей —
белели
в руках
листы петиций.
Не в горло
вгрызались
царевым лампасникам —
плелись
в надежде на милость помазанника.
Скор
ответ
величества
был:
«Пули в спины!
в груди!
и в лбы!»
Позор без названия,
ужас без имени
покрыл и царя,
и площадь,
и Зимний.
А поп
на забрызганном кровью требнике
писал
в приход
царевы серебреники.
Не все враги уничтожены.
Есть!
Раздуйте
опять
потухшую месть.
Не сбиты
с Запада
крепости вражьи.
Буржуи
рабочих
сгибают в рожья.
Рабочие,
помните русский урок!

Затвор осмотрите,
штык
и курок.
В споре с врагом —
одно решение:
да здравствуют битвы!
Долой прошения!
<1924>

КОМСОМОЛЬСКАЯ

Смерть —
не сметь!

Строит,
рушит,
кроит
и рвет,
тихнет,
кипит
и пенится,
гудит,
говорит,
молчит
и ревет —
юная армия:
ленинцы.
Мы
новая кровь
городских жил,
тело нив,
ткацкой идей
нить.
Ленин —
жил,
Ленин —
жив,
Ленин —
будет жить.

Залили горем.
Свезли в Мавзолей
частицу Ленина —
тело.

Но тленью не взять —
ни земле,
ни золе —
первейшее в Ленине —
дело.
Смерть,
косу положи!
Приговор лжив.
С таким
небесам
не блажить.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.

Ленин —
жив
шаганьем Кремля —
вождя
капиталовых пленников.
Будет жить,
и будет
земля
гордиться именем:
Ленинка.
Еще
по миру
пройдут мятежи —
сквозь все межи
коммуне
путь проложить.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.

К сведению смерти,
старой карги,
гонящей в могилу
и старящей:
«Ленин» и «Смерть» —
слова-враги.
«Ленин» и «Жизнь» —
товарищи.
Тверже
печаль держи.
Грудью
в горе прилив.
Нам —
не ныть.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.

Ленин рядом.
Вот
он.
Идет
и умрет с нами.
И снова
в каждом рожденном рожден —
как сила,
как знанье,
как знамя.
Земля,
под ногами дрожи.
За все рубежи
слова —
взвивайтесь кружить.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.

Ленин ведь
тоже
начал с азов, —
жизнь —
мастерская геньина.
С низа лет,
с класса низов —
рвись
разгромадиться в Ленина.
Дрожите, дворцов этажи!
Биржа нажив,
будешь
битая
выть.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.

Ленин
больше
самых больших,
но даже
и это
диво
создали всех времен
малыши —
мы,
малыши коллектива.
Мускул
узлом вяжи.
Зубы-ножи —
в знанье —
вонзай крошить.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.

Строит,
рушит,
кроит
и рвет,
тихнет,
кипит
и пенится,
гудит,
молчит,
говорит
и ревет —
юная армия:
ленинцы.
Мы
новая кровь
городских жил,
тело нив,
ткацкой идей
нить.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.

31 марта 1924

ДВА БЕРЛИНА

Авто
Курфюрстендамом катая,
удивляясь,
разеваю глаза —
Германия
совсем не такая,
как была
год назад.
На первый взгляд
общий вид:
в Германии не скулят.

Немец —
сыт.
Раньше
доллар —
лучище яркий,
теперь
«принимаем только марки».
По городу
немец
шествует гордо,
а раньше
в испуге
тек, как вода,
от этой самой
от марки твердой
даже
улыбка
как мрамор тверда.
В сомненьи
гляжу
на сытые лица я.
Зачем же
тогда —
что ни шаг —
полиция!
Слоняюсь
и трусь
по рабочему Норду.
Нужда
худобой
врывается в глаз.
Толки:
«Вольфы...
покончили с голоду...
Семьей...
в коморке...
открыли газ...»
Поймут,
поймут и глупые дети,
если
здесь
хоть версту пробрели,

что должен
отсюда
родиться третий —
третий родиться —
Красный Берлин.
Пробьется,
какие рогатки ни выставь,
прорвется
сквозь штык,
сквозь тюремный засов.
Первая весть:
за коммунистов
подано
три миллиона голосов.

Весна 1924

ЮБИЛЕЙНОЕ

Александр Сергеевич,
разрешите представиться.
Маяковский.

Дайте руку!
Вот грудная клетка.
Слушайте —
уже не стук, а стон;
тревожусь я о нем,
в щенка смирённом львенке.
Я никогда не знал,
что столько
тысяч тонн
в моей
позорно легкомыслой головенке.
Я тащу вас.
Удивляетесь, конечно?
Стиснул?
Больно?
Извините, дорогой.
У меня,
да и у вас,
в запасе вечность.

Что нам
потерять
часок-другой?!
Будто бы вода —
давайте
мчать болтая,
будто бы весна —
свободно
и раскованно!
В небе вон
луна
такая молодая,
что ее
без спутников
и выпускать рискованно.
Я
теперь
свободен
от любви
и от плакатов.
Шкурой
ревности медведь
лежит когтист.
Можно
убедиться,
что земля поката, —
сядь
на собственные ягодицы
и катись!
Нет,
не навяжусь в меланхолишке черной,
да и разговаривать не хочется
ни с кем.
Только
жабры рифм
топырит учащённо
у таких, как мы,
на поэтическом песке.
Вред — мечта,
и бесполезно грезить,
надо
весть
служебную нуду.

№6 1 С П Г Курлов 1|1 |2|VII-24 **Юбилейное.** 12 – справа

<u>Александр Сергеевич</u> – 20 прописными
Разрешите представиться – 10 древними
<u>Маяковский</u>. – 20 строчными

Дайте руку!
Вот грудная клетка.
Слушайте,
уже не стук,
а стон;
тревожусь я о нем,
в щенка смирённом львенке.
Я никогда не знал,
что столько
тысяч ~~[illegible]~~ тонн
в моей
позорно легкомыслой головенке...
Я тащу вас.
Удивляетесь, конечно?
Стиснул?
Больно?
Извините, дорогой.
У меня,
да и у вас,
в запасе вечность.
Что нам
потерять
часок-другой?!
Будто бы вода –
давайте
мчать, болтая.
Будто бы весна –
свободно
и раскованно!

Но бывает —
жизнь
встает в другом разрезе,
и большое
понимаешь
через ерунду.
Нами
лирика
в штыки
неоднократно атакована,
ищем речи
точной
и нагой.
Но поэзия —
пресволочнейшая штуковина:
существует —
и ни в зуб ногой.
Например
вот это —
говорится или блеется?
Синемордое,
в оранжевых усах,
Навуходоносором
библейцем —
«Коопсах».
Дайте нам стаканы!
Знаю
способ старый
в горе
дуть винище,
но смотрите —
из
выплывают
Red и White Star'ы [1]
с ворохом
разнообразных виз.
Мне приятно с вами, —
рад,
что вы у столика.

[1] Красные и белые звезды (англ.). — *Ред.*

Муза это
ловко
за язык вас тянет.
Как это
у вас
говаривала Ольга?..
Да не Ольга!
из письма
Онегина к Татьяне.
— Дескать,
муж у вас
дурак
и старый мерин,
я люблю вас,
будьте обязательно моя,
я сейчас же
утром должен быть уверен,
что с вами днем увижусь я. —
Было всякое:
и под окном стояние,
пи́сьма,
тряски нервное желе.
Вот
когда
и горевать не в состоянии —
это,
Александр Сергеич,
много тяжелей.
Айда, Маяковский!
Маячь на юг!
Сердце
рифмами вымучь —
вот
и любви пришел каюк,
дорогой Владим Владимыч.
Нет,
не старость этому имя!
Ту́шу
вперед стремя́,

я
с удовольствием
справлюсь с двоими,
а разозлить —
и с тремя.
Говорят —
я темой и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н.
Entre nous [1]...
чтоб цензор не нацикал.
Передам вам —
говорят —
видали
даже
двух
влюбленных членов ВЦИКа.
Вот —
пустили сплетню,
тешат душу ею.
Александр Сергеич,
да не слушайте ж вы их!
Может,
я
один
действительно жалею,
что сегодня
нету вас в живых.
Мне
при жизни
с вами
сговориться б надо.
Скоро вот
и я
умру
и буду нем.
После смерти
нам
стоять почти что рядом:
вы на Пе,
а я
на эМ.

[1] Между нами (франц.). — *Ред.*

Кто меж нами?
с кем велите знаться?!
Чересчур
страна моя
поэтами нищá.
Между нами
— вот беда —
позатесался Нáдсон.
Мы попросим,
чтоб его
куда-нибудь
на Ща!
А Некрасов
Коля,
сын покойного Алеши, —
он и в карты,
он и в стих,
и так
неплох на вид.
Знаете его?
вот он
мужик хороший.
Этот
нам компания —
пускай стоит.
Что ж о современниках?!
Не просчитались бы,
за вас
полсотни óтдав.
От зевоты
скулы
разворачивает аж!
Дорогойченко,
Герасимов,
Кириллов,
Родов —
какой
однаробразный пейзаж!
Ну Есенин,
мужиковствующих свора.

Смех!
Коровою
в перчатках лаечных.
Раз послушаешь...
но это ведь из хора!
Балалаечник!
Надо,
чтоб поэт
и в жизни был мастак.
Мы крепки,
как спирт в полтавском штофе.
Ну, а что вот Безыменский?!
Так...
ничего...
морковный кофе.
Правда,
есть
у нас
Асеев
Колька.
Этот может.
Хватка у него
моя.
Но ведь надо
заработать сколько!
Маленькая,
но семья.
Были б живы —
стали бы
по Лефу соредактор.
Я бы
и агитки
вам доверить мог.
Раз бы показал:
вот так-то, мол,
и так-то...
Вы б смогли —
у вас
хороший слог.

Я дал бы вам
жиркость
и сýкна,
в рекламу б
выдал
гумских дам.
(Я даже
ямбом подсюсюкнул,
чтоб только
быть
приятней вам.)
Вам теперь
пришлось бы
бросить ямб картавый.
Нынче
наши перья —
штык
да зубья вил, —
битвы революций
посерьезнее «Полтавы»,
и любовь
пограндиознее
онегинской любви.
Бойтесь пушкинистов.
Старомозгий Плюшкин,
перышко держа,
полезет
с перержавленным.
— Тоже, мол,
у лефов
появился
Пушкин.
Вот арап!
а состязается
с Державиным...
Я люблю вас,
но живого,
а не мумию.
Навели
хрестоматийный глянец.

Вы
по-моему́
при жизни
— думаю —
тоже бушевали.
Африканец!
Сукин сын Дантес!
Великосветский шкода.
Мы б его спросили:
— А ваши *кто* родители?
Чем вы занимались
до 17-го года? —
Только этого Дантеса бы и видели.
Впрочем,
что ж болтанье!
Спиритизма вроде.
Так сказать,
невольник чести...
пулею сражен...
Их
и по сегодня
много ходит —
всяческих
охотников
до наших жен.
Хорошо у нас
в Стране Советов.
Можно жить,
работать можно дружно.
Только вот
поэтов,
к сожаленью, нету —
впрочем, может,
это и не нужно.
Ну, пора:
рассвет
лучища выкалил.
Как бы
милиционер
разыскивать не стал.

На Тверском бульваре
очень к вам привыкли.
Ну, давайте,
подсажу
на пьедестал.
Мне бы
памятник при жизни
полагается по чину
Заложил бы
динамиту
— ну-ка,
дрызнь!
Ненавижу
всяческую мертвечину!
Обожаю
всяческую жизнь!

Июнь 1924

ПРОЛЕТАРИЙ, В ЗАРОДЫШЕ ЗАДУШИ ВОЙНУ!

БУДУЩИЕ:

Дипломатия

— Мистер министр?
How do you do?[1]
Ультиматум истек.
Уступки?
Не иду.
Фирме Морган
должен Крупп
ровно
три миллиарда
и руп.
Обложить облака!
Начать бои!

[1] Здравствуйте (англ.). — *Ред.*

Будет добыча —
вам пай.
Люди — ваши,
расходы —
мои.
Good bye![1]

Мобилизация

«Смит и сын.
Самоговорящий ящик».
Ящик
министр
придвинул быстр.
В раструб трубы,
мембране говорящей,
сорок
секунд
бубнил министр.
Сотое авеню.
Отец семейства.
Дочь
играет
цепочкой на отце.
Записал
с граммофона
время и место.
Фармацевт — как фармацевт.
Пять сортировщиков.
Вид водолаза.
Серых
масок
немигающий глаз —
уставили
в триста баллонов газа.

---

[1] Прощайте (англ.). — *Ред.*

Блок
минуту
повизгивал, лазя,
грузя
в кузова
«чумной газ».
Клубы
Нью-Йорка
раскрылись в сроки,
раз
не разнился
от других разов.
Фармацевт
сиял,
убивши в покер
флеш-роялем
— четырех тузов.

Наступление

Штаб воздушных гаваней и доков.
Воздвоенэлектрик
Джим Уост
включил
в трансформатор
заатлантических токов
триста линий —
зюд-ост.
Авиатор
в карте
к цели полета
912 вграфил
по линейке
в линию линия.
Ровно
в пять
без механиков и пилотов
взвились
триста
чудовищ алюминия.

Треугольник
— летящая фабрика ветра —
в воздух
триста винтов всвистал.
Скорость —
шестьсот пятьдесят километров.
Девять
тысяч
метров —
высота.
Грозой не кривясь,
ни от ветра резкого,
только
— будто
гигантский Кольт —
над каждым аэро
сухо потрескивал
ток
в 15 тысяч вольт.
Встали
стражей неба вражьего.
Кто умер —
счастье тому.
Знайте,
буржуями
сжигаемые заживо,
последнее изобретение:
«крематорий на дому».

Бой

Город
дышал
что было мочи,
спал,
никак
не готовясь
к смертям.
Выползло
триста —
к дымочку дымочек.

Пошли
спиралью
снижаться, смердя.
Какая-то птица
— пустяк,
воробушки —
падала
в камень,
горохом ребрышки.
Крыша
рейхстага,
сиявшая лаково,
в две секунды
стала седая.
Бесцветный дух
домá обволакивал,
ник
к земле,
с этажей оседая.
«Спасайся, кто может,
с десятого —
прыга...»
Слово
свело
в холодеющем нёбе;
ножки,
еще минуту подрыгав,
рядом
легли —
успокоились обе.
Безумные
думали:
«Сжалим,
умолим».
Когда
растаял
газ,
повися, —
ни человека,
ни зверя,
ни моли!

Жизнь
было
и вышла вся.
Четыре
аэро
снизились искоса,
лучи
скрестя
огромнейшим иксом.
Был труп
— и нет.
Был дом
— и нет его.
Жег
свет
фиолетовый.
Обделали чисто.
Ни дыма,
ни мрака.
Взорвали,
взрыли,
смыли,
взмели.
И город
лежит
погашенной маркой
на грязном,
рваном
пакете земли.

Победа

Морган.
Жена.
В корсетах.
Не двинется.
Глядя,
как
шампанское пенится,

Морган сказал:
— Дарю
имениннице
немного разрушенное,
но хорошее именьице!

Товарищи, не допустим!

Сейчас
подытожена
великая война.
Пишут
мемуары
истории писцы.
Но боль близких,
любимых, нам
еще
кричит
из сухих цифр.
30
миллионов
взяли на мушку,
в сотнях
миллионов
стенанье и вой.
Но и этот
ад
покажется погремушкой
рядом
с грядущей
готовящейся войной.
Всеми спинами,
по пленам драными,
руками,
брошенными
на операционном столе,
всеми
в осень
ноющими ранами,
всей трескотней
всех костылей,

дырами ртов,
— выбил бой! —
голосом,
визгом газовой боли —
сегодня,
мир,
крикни
— *Долой!!!*
Не будет!
Не хотим!
Не позволим!
Нациям
нет
врагов наций.
Нацию
выдумал
мира враг.
Выходи
не с нацией драться,
рабочий мира,
мира батрак!
Иди,
пролетарской армией топая,
штыки
последние
атакой выставь!
«Фразы
о мире —
пустая утопия,
пока
не экспроприирован
класс капиталистов».
Сегодня...
завтра... —
а справимся все-таки!
Виновным — смерть.
Невиновным — вдвойне.
Сбейте
жирных
дюжины и десятки.
Миру — мир,
война — войне.

2 августа 1924

СЕВАСТОПОЛЬ — ЯЛТА

В авто
насажали
разных армян,
рванулись —
и мы в пути.
Дорога до Ялты
будто роман:
все время
надо крутить.
Сначала
авто
подступает к горам,
охаживая кря́жевые.
Вот так и у нас
влюбленья пора:
наметишь —
и мчишь, ухаживая.
Авто
начинает
по солнцу трясть,
то жаренней ты,
то варённей:
так сердце
тебе
распаляет страсть,
и грудь —
раскаленной жаровней.
Привал,
шашлык,
не вяжешь лык,
с кружением
нету сладу.
У этих
у самых
гроздьев шашлы —
совсем поцелуйная сладость.
То солнечный жар,
то ущелий тоска, —
не верь
ни единой версийке.

Который москит
и который мускат,
и кто персюки
и персики?
И вдруг вопьешься,
любовью залив
и душу,
и тело,
и рот.
Так разом
встают
облака и залив
в разрыве
Байдарских ворот.
И сразу
дорога
нудней и нудней,
в туннель,
тормозами тужась.
Вот куча камня
и церковь над ней —
ужасом
всех супружеств.
И снова
почти
о скалы скулой,
с боков
побелелой глядит.
Так ревность
тебя
обступает скалой —
за камнем
любовник бандит.
А дальше —
тишь;
крестьяне, корпя,
лозой
разделали скаты.
Так,
свой виноградник
пóтом кропя,
и я
рисую плакаты.

Потóм,
пропылясь,
проплывают года,
трусят
суетнею мышиной,
и лишь
развлекает
семейный скандал
случайно
лопнувшей шиной.
Когда ж
окончательно
это доест,
распух
от моторного гвалта —
— Стоп! —
И склепом
отдельный подъезд:
— Пожалте
червонец!
Ялта.

Август или сентябрь 1924

ВЛАДИКАВКАЗ – ТИФЛИС

Только
нога
ступила в Кавказ,
я вспомнил,
что я —
грузин.
Эльбрус,
Казбек.
И еще —
как вас?!
На гору
горы грузи!
Уже
на мне
никаких рубах.

Бродягой, —
                    один архалух.
Уже
       подо мной
                        такой карабах,
что Ройльсу —
                        и то б в похвалу.
Было:
          с ордой,
                       загорел и носат,
старее
          всего старья,
я влез,
           веков девятнадцать назад,
вот в этот самый
                             в Дарьял.
Лезгинщик
                   и гитарист душой,
в многовековом поту,
я землю
              прошел
                         и возделал мушо́й
отсюда
           по самый Батум.
От этих дел
                    не вспомнят ни зги.
История —
                 врун даровитый,
бубнит лишь,
                     что были
                                   царьки да князьки:
Ираклии,
               Нины,
                        Давиды.
Стена —
             и то
                    знакомая что-то.
В тахтах
               вот этой вот башни —
я помню:
              я вел
                        Руставели Шо́той

с царицей
с Тамарою
шашни.
А после
катился,
костями хрустя,
чтоб в пену
Тереку врыться.
Да это что!
Любовный пустяк!
И лучше
резвилась царица.
А дальше
я видел —
в пробоину скал
вот с этих
тропиночек узких
на сакли,
звеня,
опускались войска
золотопогонников русских.
Лениво
от жизни
взбираясь ввысь,
гитарой
душу отверз —
«Мхолот шен эртс
рац, ром чемтвис
Моуция
маглидган гмертс...»[1]
И утро свободы
в кровавой росе
сегодня
встает поодаль.
И вот
я мечу,
я, мститель Арсен,
бомбы
5-го года.

[1] Лишь тебе одной всё, что дано мне с высоты богом (грузинск.). — *Ред.*

Живились
в пажах
князёвы сынки,
а я
ежедневно
и наново
опять вспоминаю
все синяки
от плеток
всех Алихановых.
И дальше
история наша
хмура́.
Я вижу
правящих кучку.
Какие-то люди,
мутней, чем Кура́,
французов чмокают в ручку.
Двадцать,
а может,
больше веков
волок
угнетателей узы я,
чтоб только
под знаменем большевиков
воскресла
свободная Грузия.
Да,
я грузин,
но не старенькой нации,
забитой
в ущелье в это.
Я —
равный товарищ
одной Федерации
грядущего мира Советов.
Еще
омрачается
день иной
ужасом
крови и яри.



Мы бродим,
мы
еще
не вино,
ведь мы еще
только мадчари.
Я знаю:
глупость — эдемы и рай!
Но если
пелось про это,
должно быть,
Грузию,
радостный край,
подразумевали поэты.
Я жду,
чтоб аэро
в горы взвились.
Как женщина,
мною
лелеема
надежда,
что в хвост
со словом «Тифлис»
вобьем
фабричные клейма.
Грузин я,
но не кинто озорной,
острящий
и пьющий после.
Я жду,
чтоб гудки
взревели зурной,
где шли
лишь кинто
да ослик.
Я чту
поэтов грузинских дар,
но ближе
всех песен в мире,

мне ближе
всех
и зурн
и гитар
лебедок
и кранов шаири.
Строй
во всю трудовую прыть,
для стройки
не жаль ломаний!
Если
даже
Казбек помешает, —
срыть!
Всё равно
не видать
в тумане.

Между 20 августа и 3 сентября 1924

ТАМАРА И ДЕМОН

От этого Терека
в поэтах
истерика.
Я Терек не видел.
Большая потерийка.
Из омнибуса
вразвалку
сошел,
поплевывал
в Терек с берега,
совал ему
в пену
палку.
Чего же хорошего?
Полный развал!
Шумит,
как Есенин в участке.

Как будто бы
Терек
сорганизовал,
проездом в Боржом,
Луначарский.
Хочу отвернуть
заносчивый нос
и чувствую:
стыну на грани я,
овладевает
мною
гипноз,
воды
и пены играние.
Вот башня,
револьвером
небу к виску,
разит
красотою нетроганой.
Поди,
подчини ее
преду искусств —
Петру Семенычу
Когану.
Стою,
и злоба взяла меня,
что эту
дикость и выступы
с такой бездарностью
я
променял
на славу,
рецензии,
диспуты.
Мне место
не в «Красных нивах»,
а здесь,
и не построчно,
а даром

реветь
старамться в голос во весь,
срывая
струны гитарам.
Я знаю мой голос:
паршивый тон,
но страшен
силою ярой.
Кто видывал,
не усомнится,
что
я
был бы услышан Тамарой.
Царица крепится,
взвинчена хоть,
величественно
делает пальчиком.
Но я ей
сразу:
— А мне начхать,
царица вы
или прачка!
Тем более
с песен —
какой гонорар?!
А стирка —
в семью копейка.
А даром
немного дарит гора:
лишь воду —
поди,
попей-ка! —
Взъярилась царица,
к кинжалу рука.
Козой,
из берданки ударенной.
Но я ей
по-своему,
вы ж знаете как —

под ручку...
любезно...
— Сударыня!
Чего кипятитесь,
как паровоз?
Мы
общей лирики лента.
Я знаю давно вас,
мне
много про вас
говаривал
некий Лермонтов.
Он клялся,
что страстью
и равных нет...
Таким мне
мерещился образ твой.
Любви я заждался,
мне 30 лет.
Полюбим друг друга.
Попросту.
Да так,
чтоб скала
распостелилась в пух.
От черта скраду
и от бога я!
Ну что тебе Демон?
Фантазия!
Дух!
К тому ж староват —
мифология.
Не кинь меня в пропасть,
будь добра.
От этой ли
струшу боли я?
Мне
даже
пиджак не жаль ободрать,
а грудь и бока —
тем более.

Отсюда
дашь
хороший удар —
и в Терек
замертво треснется.
В Москве
больнее спускают...
куда!
ступеньки считаешь —
лестница.
Я кончил,
и дело мое сторона.
И пусть,
озверев от помарок,
про это
пишет себе Пастернак,
А мы...
соглашайся, Тамара!
История дальше
уже не для книг.
Я скромный,
и я
бастую.
Сам Демон слетел,
подслушал
и сник,
и скрылся,
смердя
впустую.
К нам Лермонтов сходит,
презрев времена.
Сияет —
«Счастливая парочка!»
Люблю я гостей.
Бутылку вина!
Налей гусару, Тамарочка!

Сентябрь — начало октября 1924

гулом восстаний,
на эхо помноженным,
об этом дадут
настоящий стих,
а я
лишь то,
что сегодня можно,
скажу
о деле 26-ти

I

Нас
больше европейцев —
на двадцать сто.
Землею
больше, чем Запад,
Но мы —
азиатщина,
мы —
Восток.
На глотке
Европы лапа.
В Европе
женщины
радуют глаз.
Мужчины
тают
в комплиментных сантиментах.
У них манишки,
у них газ,
и пушки
любых миллиметров и сантиметров.
У них —
машины.
А мы
за шаг,
с бою
у пустынь
и у гор взятый,
платим жизнью,
лихорадками дыша.
Что мы?!
Мы — азиаты.

И их рабов,
чтоб не смели мычать,
пером
обложил
закон многолистый.
У них под законом
и подпись
и печать.
Они — умные,
они — империалисты.
Под их заботой
одет и пьян
закон:
«закуй и спаивай!»;
они культурные,
у них
аэропланы,
и газ,
и пули сипаевы.

II

Буржуй
шоферу
фыркнет: «Вези!»
Кровь
бакинских рабочих —
бензин.
Приехал.
Ковер —
павлин рассиянный —
ему
соткали
рабы-персиане.
Буржуй
садится
к столу из пальмы —
ему
в Багдадах
срубили и дали мы.

Ему
кофейку вскипятили:
«Выпейте,
для вас
на плантациях
гибли в Египте!»
Ему молоко —
такого не видано —
вовсю
отощавшая Индия выдоена.
Попил;
и лакей
преподносит, юрок,
сигары
из содранной кожи турок.
Он сыт.
Он всех,
от индуса
до грузина,
вогнал
в пресмыкающиеся твари,
чтоб сияли
витрины колониальных магазинов,
громоздя
товар на товаре.

III

Гроза
разрасталась со дня нá день.
Окна дворцов
сыпались, дребезжа.
И первым
с Востока
на октябрьской баррикаде
встал Азербайджан.
Их знамя с нами —
рядом борются.
Барабаном борьбы
пронесло

волю
    веками забитых горцев,
волю
    низов нефтяных промыслóв.
Сила
    мильонов
        восстанием била —
но тех,
    кто умел весть,
борьбой закаленных,
        этих было —
26.
В кавказских горах,
        по закавказским степям
несущие
    трудовую ношу —
кому
    из вас
        не знаком Степан?
Кто
    не знал Алешу?
Голос их —
    голос рабочего низа.
Словá —
    миллионов словá.
Их вызов —
    классу буржуев вызов,
мысль —
    пролетариата голова.
Буржуазия
    в осаде нищих.
Маузер революции
        у ее виска.
Впервые
    ее
        распухшую пятерницу
так
    зажала
        рабочая рука.

IV

Машина капитала.
Заработало колесо.
Забыв
и обед и жен,
Тиг Джонсу
депеши слал Моллесон,
Моллесону
писал Тиг Джонс.
Как все их дела,
и это вот
до точки
с бандитов сколото.
Буржуи
сейчас же
двинули в ход
предательство,
подкуп
и золото.
Их всех
заманили
в тюремный загон
какой-то
квитанцией ложненькой.
Их вывели ночью.
Загнали в вагон.
И всем объявили:
— заложники! —
Стали
на 207-й версте,
на насыпь
с площадок скинув.
И сотен винтовок
огонь засвистел —
стреляли в затылок и в спину.
Рука, размахнись,
раззудись, душа!
Гуляй,
правосудие наше!
Хрипевших
били,
прикладом глуша.

И головы
к черту с-под шашек!
Засыпав чуть
приличия для,
шакалам
не рыться чтоб слишком, —
вернулись
в вагон
и дрались,
деля
с убитых
в крови барахлишко.

V

Буржуи,
воздайте помогшим вам!
(Шакал
помог покончить.)
На шею
шакалу —
орден Льва!
В 4 плеча
погончик!
Трубку
пáсти каждой в оскал!
Кокарду
над мордою выставь!
Чем не майоры?
Чем не войска
для империалистов?!

VI

Плач семейный —
не смочит платочки.
Плач ли
сжатому в боль кулаку?!
Это —
траур
не маленькой точки

в карте,
выбившей буквы —
«Баку».
Не прощающим взором Ганди —
по-иному,
индусы,
гляньте!
Пусть
сегодня
сердце корейца
жаром
новой мести греется.
Тряпку
с драконом
сними и скатай,
знамя
восстания
взвивший Китай!
Горе,
ливнем пуль
пройди по праву
по Сахарам,
никогда
не видевшим дождей.
Весь
трудящийся Восток,
сегодня —
в траур!
Ты
сегодня
чтишь
своих вождей.

VII

Никогда,
никогда
ваша кровь не остынет, —
26 —
Джапаридзе и Шаумян!

Окропленные
вашей кровью
пустыни
красным знаменем
реют,
над нами шумя.
Вчера —
20.
Сегодня —
100.
Завтра
миллионом станем.
Вставай, Восток!
Бейся, Восток, —
одним
трудовым станом!
Вы
не уйдете
из нашей памяти:
ей
и века — не расстояние.
Памятней будет,
чем камень памятника,
свист
и огонь восстания.
Вчера —
20.
Сегодня —
100.
Завтра
миллионом станем!
Вставай!
Подымись, трудовой Восток,
единым
красным станом!

Первая половина сентября 1924

ГРУСТНАЯ ПОВЕСТЬ ИЗ ЖИЗНИ ФИЛИППОВА

ПРОСИМ ПЕКАРЕЙ НЕ РЫДАТЬ И НЕ ВСХЛИПЫВАТЬ!

«Известный московский булочник Филиппов, убежавший в свое время за границу, обратился за денежной помощью к московским пекарям».

(«Правда»)

1. Филиппов —
не из мелочéй, —
царю он
стряпал торты.
Жирел
с продажи калачей —
и сам
калач был тертый.

2. Октябрь
подшиб торговый дом.
Так ловко попросили их,
что взмыл
Филиппов,
как винтом,
до самой
до Бразилии.

3. В архив
иллюзии сданы,
живет Филиппов
липово:
стощал Филиппов,
и штаны
протерлись у Филиппова.

4. Вдруг
озаряется лицо
в тиши
бразильской ночи:
Филиппов
пишет письмецо
в Москву,
к «своим» рабочим.

5. «Совласть
и вас
люблю, ей-ей,
и сердцем я
и разумом.
Готов
за тысячу рублей
признать
с энтузиазмом!

6. Прошу
во имя ИСУХРИ,
жду
с переводом бланки, —
вновь
запеку я сухари
и снова
встану на́ ноги».

7. Вовсю
сияют пекаря
и прыгают,
как дети,
строчат,
любовию горя,
Филиппову ответик.

8. Мадам Филиппова
ревет,
дочь
скачет, как кобылка, —
им даже
и не перевод,
а целая —
посылка!..

9. Восторг!
От слез —
глаза в росе.
Такой
не ждали штуки ж!

И вдруг блеснул во всей
красе
им —
шоколадный кукиш!

Октябрь 1924

ХУЛИГАНЩИНА

Только
солнце усядется,
канув
за опустевшие
фабричные стройки,
стонут
окраины
от хулиганов
вроде вот этой
милой тройки.

Человек пройдет
и — марш поодаль.
Таким попадись!
Ежовые лапочки!
От них ни проезда,
от них
ни прохода
ни женщине,
ни мужчине,
ни электрической лампочке.
«Мадамочка, стой!
Провожу немножко...
Клуб?
Почему?
Ломай стулья!
Он возражает?
В лопатку ножиком!
Зубы им вычти!
Помножь им скулья!»
Гудят
в башке
пивные па́ры,

тощая мысль
самогоном
смята,
и в воздухе
даже не топоры,
а целые
небоскребы
стоэтажного
мата.

Рабочий,
этим ли
кровь наших жил?!
Наши дочки
этим разве?!
Пока не поздно —
конец положи
этой горланной
и грязной язве!

1924

ФЛАГ

Ты пёр
позавчера
за громыханьем
врангелевских ядер.
Теперь
в изумленьи юли!
Вот мы —
с пятьдесят —
стоим
на пяди
Советской
посольской земли.
Товарищи,
двое
док,
таких, что им
и небо пустяк,

влезли
и стали
крепить на флагшток
в серпе и молоте
ситцевый стяг.
Флажок тонковат,
помедлил минутцу,
кокетничал с ветром,
и вдруг
флажок
развился в ветре
и стал пламениться,
зажег облака,
поднебесье зажег.
Париж отвернулся,
Париж крепится,
хранит
солидность,
годами вселённую.
Но вот
пошла
разрастаться тряпица
на весь Париж,
на мир,
на вселенную.
Бурчат:
«Флажок за долги?
Не цена!»
А тут —
и этого еще не хватало! —
Интернационал
через забор
махнул
и пошел по кварталам.
Факт —
поют!
Играют —
факт!
А трубы дулись,
гремели.
А флаг горит,
разрастается флаг.

Переполох на Гренелле.
Полезла консьержка.
Консьерж полез.
Из всех
из парадных окрест,
из тысяч
свистков
«Аксион францез»
ревет
кошачий оркестр.
Орут:
«Чем петь,
гоните долги!»
Мы жарим.
Смолкают, выждав.
И снова
свистят,
аж трещат потолки.
Мы вновь запеваем —
трижды.
Я крикнуть хочу:
«Извините, мусьи!
Мы
здесь
пребываем по праву.
Для этого
мили
Буденный месил,
гоняя
белых ораву.
Орете не вы,
а долги орут.
Доели
белые,
знать.
Бросали
франки в них,
как в дыру,
пока
догадались
признать.

В драках,
чтоб песне
этой
распесниться,
рубили нас
белые
в доски.
Скажите,
их пушки
вашим
ровесницы?
Их пули
вашинским
тёзки?
Спуститесь на землю!
Мораль —
облака.
Сторгуемся,
милые тети!
У нас
от нашествий,
у нас
от блокад
ведь тоже
трехверстный счетик.
Мы стали
тут
и не двинемся с места.
А свист —
как горох
об гранит.
Мы мёрли,
чтоб петь
вот это
вместо
«Боже,
буржуев храни».

Между ноябрем 1924 и январем 1925

ЯЛТА — НОВОРОССИЙСК

Пустяшный факт —
а вот пожалте!
И месяцы
даже
его не истопали.
С вечера
в Ялте
ждал «Севастополя».
Я пиво пил,
изучал расписание,
охаживал мол,
залив огибающий,
углублялся
в круги
для спасания
погибающих.
Всю ночь прождали.
Солнце взвалив,
крымское
утро
разинулось в зное.
И вот
«Севастополь»
вылез в залив,
спокойный,
как заливное.
Он шел,
как собака
к дичи подходит;
вползал,
как ревматик
вползает на койку.
Как будто
издевается пароходик,
на нас
из залива
делая стойку.

Пока
прикрутили
канатом бока,
машина
маслом
плевалась мило.
Потом
лебедкой
спускали быка —
ревел —
возможно,
его прищемило.
Сошел капитан.
Продувная бестия!
Смотрел
на всё
невинней овцы.
Я тыкал
мандат,
прикрывая
«Известия»
и упирая
на то, что «ВЦИК».
Его
не проведешь на мандате —
бывали
всякие
за несколько лет!
— Идите
направо,
червонец дайте,
а вам
из кассы
дадут билет. —
У самого лег
у котла
на наре.
Варили
когда-нибудь
вас
в самоваре?

А если нет,
то с подобным неучем
нам
и разговаривать не о чем.
Покойнице
бабушке б
ехать в Батум —
она — так да́ —
недурно поспа́ла бы.
В поту
бегу
на ветер палубы.
Валялась
без всяких классов,
горою
мяса,
костей
и жира,
разваренная масса
пассажиров.
А между ними
две,
в моционе,
оживленнейшие дамочки.
Образец —
дореволюционный!
Ямки и щечки,
щечки и ямочки.
Спросил капитана:
— Скажите, как звать их?
Вот эти вот
две
моркови?
— Левкович,
которая порозоватей,
а беленькая —
Беркович. —
Одна говорила:
— Ну и насели!
И чистая
публика
не выделена!

Когда
на «Дофине» сидела
в Марселе —
французы сплошь!
Удивительно! —
Сидел
на борту
матрос лохматина,
трубе
корабельной
под рост.
Услышал,
обдумал,
ругнулся матерно
и так
сказал
матрос:
— Флотишко
белые сперли
дотла!
Угнали.
У нас —
ни кляпа́!
Для нашей
галоши
дыры котла
сам
собственноручно клепал.
Плывет плоховато —
комода вроде.
На этих
дыни возили раньше нам.
Два лета
работал я
в Райкомводе.
В Одессе
стоит иностранщина.
Не пароходы,
а бламанже!
У нас
в кочегарках
от копоти залежь,

а там
работай
хоть в паре манжет —
старайся,
и то не засалишь.
Конечно,
помягше
для нежных задов,
но вот что,
мои мамаши:
здесь тише,
здесь тверже,
здесь хуже —
зато
н-а-ш-е!
Эх,
только были бы тут рубли —
Европа
скупая гадина, —
уж мы б
понастроили б нам корабли
— громадина!
Чтоб мачта
спичкой казалась
с воды,
а с мачты —
море в овчину.
Тады́
катай
хоть на даровщину! —

Не знаю,
сколько это узлов
плелись,
не быстрей комода.
И в Черное море
плюнул зло
моряк
из Райкомвода.

Между августом 1924 и маем 1925

«МИСТЕРИЯ-БУФФ» И ПОЭМЫ

(1918—1923)

МИСТЕРИЯ-БУФФ

ГЕРОИЧЕСКОЕ, ЭПИЧЕСКОЕ И САТИРИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ НАШЕЙ ЭПОХИ

ДЕЙСТВУЮТ:

1. Семь пар чистых: абиссинский негус, индийский раджа, турецкий паша, русский купчина, китаец, упитанный перс, толстый француз, австралиец с женой, поп, офицер-немец, офицер-итальянец, американец, студент.

2. Семь пар нечистых: трубочист, фонарщик, шофер, швея, рудокоп, плотник, батрак, слуга, сапожник, кузнец, булочник, прачка и эскимосы — рыбак и охотник.

3. Дама-истерика.

4. Черти. Штаб Вельзевула и два вестовых.

5. Святые: Златоуст, Лев Толстой, Мафусаил, Жан-Жак Руссо и др.

6. Вещи: машина, хлеб, соль, пила, игла, молот, книга и др.

7. Человек просто.

МЕСТА ДЕЙСТВИЙ

I. Вся вселенная.

II. Ковчег.

III. 1-я картина: Ад.
2-я картина: Рай.
3-я картина: Земля обетованная.

Пролог
семи нечистых пар

Это об нас взывала земля голосом пушечного рева.
Это нами взбухали поля, кровями опоены.
Стоим,
исторгнутые из земного чрева
кесаревым сечением войны.
Славим
восстаний,
бунтов,
революций день —
тебя,
идущий, черепа мозжа!
Нашего второго рождения день —
мир возмужал.
Бывает —
станет пароход вдалеке,
надымит
и уйдет по зеркальности водней,
и долго дымными дышишь легендами, —
так жизнь ускользала от нас до сегодня.
Нам написали Евангелие,
Коран,
«Потерянный и возвращенный рай»,
и еще,
и еще —
многое множество книжек.
Каждая — радость загробную сулит, умна и хитра.
Здесь,
на земле хотим
не выше жить
и не ниже
всех этих елей, домов, дорог, лошадей
и трав.
Нам надоели небесные сласти —
хлебище дайте жрать ржаной!
Нам надоели бумажные страсти —
дайте жить с живой женой!
Там,
в гардеробах театров
блестки оперных этуалей

да плащ мефистофельский —
всё, что есть там!
Старый портной не для наших старался
талий.

Что ж,
неуклюжая пусть
одёжа —
да наша.
Нам место!
Сегодня
над пылью театров
наш загорится девиз:
«Всё заново!»
Стой и дивись!
Занавес!

(Расходятся. Раздирают занавес, замалеванный реликвиями старого театра.)

Действие первое

На зареве северного сияния шар земной, упирающийся полюсом в лед пола. По всему шару лестницами перекрещиваются канаты широт и долгот. Меж двух моржей, подпирающих мир, эскимос-охотник, уткнувшийся пальцем в землю, орет другому, растянувшемуся перед ним у костра.

Эскимос-охотник

Эйе!
Эйе!

Рыбак

Горланит.
Дела другого нет —
пальцем землю тыркать.

Охотник

Дырка!

Рыбак

Где дырка?

Охотник

Течет!

Рыбак

Что течет?

Охотник

Земля!

Рыбак

(вскакивая, подбегая и засматривая под зажимающий палец)

О-о-о-о!
Дело нечистых рук.
Черт!
Пойду предупрежу полярный круг.

Бежит. На него из-за склона мира наскакивает выжимающий рукава француз. Секунду ищет пуговицу и, не найдя, ухватывает шерсть шубы.

Явление первое

Француз

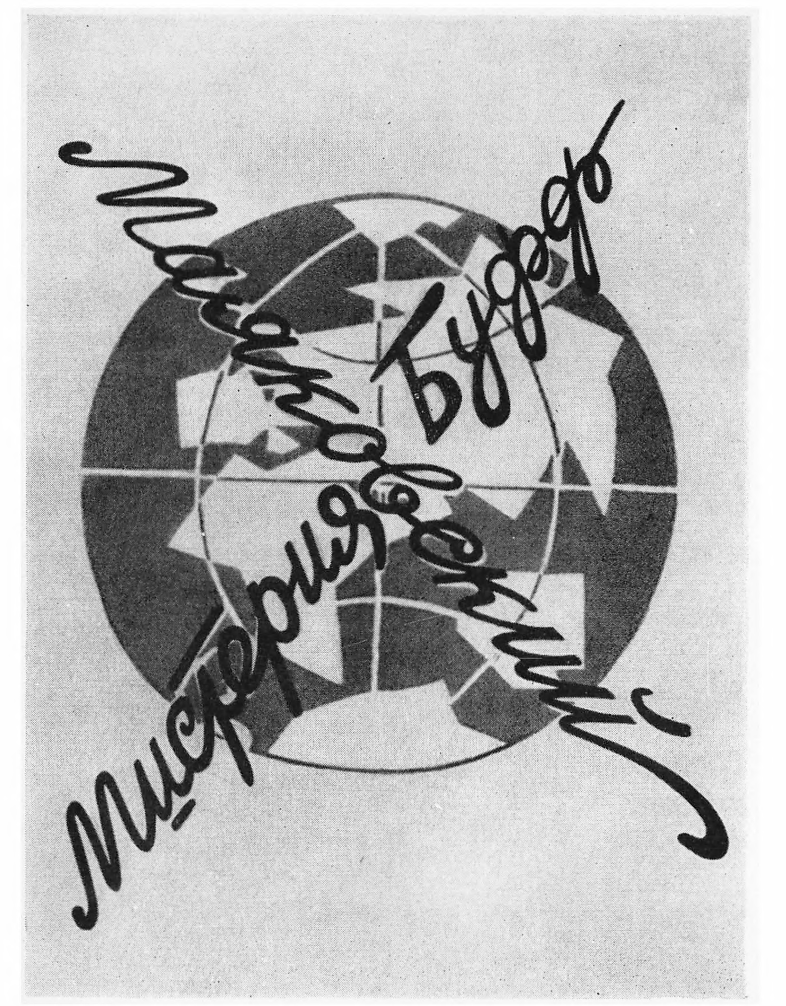
Мосье эскимос!
Мосье эскимос!
Страшно спешно!
Пара минут...

Рыбак

Ну?

Француз

Так вот:
сегодня
у себя в Париже
сижу я это,
ев филе,
не помню, другое что-то ев ли,
и вижу —
неладно верзиле Эйфеля.
Думаю — не бошей блёф ли?
Вдруг гул.
На крышу бегу.


Маяковский
Мистерия буфф

Виясь вкруг домовьего остова,
безводный прибой
суетне вперебой
бежал,
кварталы захлестывал.
Париж — тревожного моря бред.
Невидимых волн басовые ноты.
И за,
и над,
и под,
и пред
домов дредноуты.
И прежде чем мыслью раскинуть мог,
от немцев ли, или от...

Рыбак

Скорей!

Француз

Я весь
до ниточки взмок.
Смотрю —
все сухо,
но льется, и льется, и льет.
И вдруг,
крушенья Помпеи помпезней, картина
разверзлась —
с корнем
Париж был вырван
и вытоплен в бездне
у мира в расплавленном горне.
Я очнулся на гребне текущих сёл,
я весь свой собрал яхт-клубский опыт —
и вот
перед вами,
милейший,
всё,
что осталось теперь от Европы.

Рыбак

Н-немного.

Француз

Успокоится, конечно...
дня-с на два-с!

Рыбак

Да говори ты без этих европейских юлений!
Чего тебе надо? Тут не до вас.

Француз

(показывая горизонтально)

Разрешите мне... около ваших многоуважаемых
тюленей!

Рыбак досадливо машет рукой костру, идет в другую сторону — предупреждать круг — и натыкается на выбегающих из-за другого склона измокших австралийцев.

Явление второе

Рыбак

(отступая в удивлении)

А еще омерзительней не было лиц?!

Австралиец с женой

(вместе)

Мы — австралийцы.

Австралиец

Я — австралиец.
Всё у нас было.
Как то-с:
утконос, пальма, дикобраз, кактус...

Австралийка

(плача, в нахлынувшем чувстве)

И всё утонуло...
Всё на дне...

Рыбак

(указывая на разлегшегося француза)

Вот идите к ним!
А то они одне.

Собравшийся вновь идти эскимос остановился, прислушиваясь к двум голосам с двух сторон земного шара.

Первый голос

Шляпа, у-ту!

Второй голос

Каска, у-ту!

Первый голос

Крепчает!
Держитесь за северную широту!

Второй голос

Яреет!
Хватайтесь за южную долготу!

Явление третье

По **канатам** широт и долгот скатываются с земного шара **немецкий и итальянский** офицеры, дружески бросаются друг к **другу**.

Оба вместе

Паазвольте пожать!

(Узнав врагов, отдергивают протянутые руки и, выхватывая на ходу сабли, бросаются.)

Итальянец

Если б я бы знал!
Проклятый шваб!

Немец

Проклятый итальянец!
Если б знал, да я б!..

Итальянец

Эвива Италия!

Немец

Гох фатерлянд!

Француз бросается меж вцепившимися, австралиец обхватывает итальянца, австралийка — немца.

Француз

Бросьте вы!
Утопли!
Нет фатерляндов.

Оба

(вкладывая сабли)

Ну,
нет, так и не надо.

Рыбак

(качая головой)

Вот банда!

Прямо на голову вновь собравшемуся уйти эскимосу низвергается наш купчина.

Явление четвертое

Купец

Почтенные,
это безобразие!
Да рази я Азия?
«Уничтожить Азию» — постановление совнеба.
Да я же ж ни в жисть азиатом не был!

(Успокоившись немного.)

Сначала накрапывало,
потом пошло.
Дальше — больше,
больше — выше,
хлынуло в улицы,
рвануло крыши...

Все

Тише!
Тише!

Француз

Слышите?
Слышите топот?

Множество приближающихся голосов

Потоп! потопом! потопу! о потопе! потопа!

Явление пятое

Впереди негус, за ним китаец, перс, турок, раджа, поп, студент, дама-истерика. Шествие замыкают вливающиеся со всех сторон все семь пар нечистых.

Негус

Хоть чуть чернее снегу-с,
но тем не менее
я — абиссинский негус.
Мое почтение!
Я покинул сейчас мою Африку.
Извивался в ней Нил, удав-река.
Как взъярился Нил, царство сжав в реку,
и потопла в нем моя Африка.
Хоть нет имения,
но тем не менее...

Рыбак

(досадливо)

...но тем не менее
мое почтение.
Слыхали! Слыхали!

Негус

Прошу не забываться!
С вами говорит негус,
и негус хочет кушать.
Что это?
Должно быть, вкусная собачка?

Рыбак

Я те дам — собачка!
Это морж, а не собачка.
Иди садись, да никого не запачкай.

(Обращаясь к остальным.)

А вам чего?

Китаец

Ничего!
Ничего!
Утоп мой Китай.

П е р с

Персия,
моя Персия пошла на дно.

Р а д ж а

Даже Индия,
Поднебесная Индия, и та...

П а ш а

И от Турции осталось воспоминание
одно!

Г о л о с а п р и б ы в ш и х р а н ь ш е

— Тише!
— Тише!
— Что это за гул!

Д а м а - и с т е р и к а
(ломая руки, отделяется от толпы)

Послушайте,
я не могу!
Не могу я среди звериных рыл!
Отпустите меня
к любви,
к игре.
Кто эти перила?
Эти тени перил,
стоящие берегами кровавых рек?
Послушайте,
я не могу!
Даже как любить, я забыла уже.
Отпустите!
Не надо!
Мимо я!
Я хочу детей,
я хочу мужей,
не могу я жить нелюбимая.
Послушайте, я не могу!

Ф р а н ц у з
(успокаивая)

Да не трите глаз...
не кусайте губ...
(Продвигающимся к костру нечистым, заносчиво.)
А вы которых наций?

Нечистые

(вместе)

По свету всему гоняться
привык наш бродячий народина.
Мы никаких не наций.
Труд наш — наша родина.

Француз

Старые арии!

Испуганные голоса чистых

— Это пролетарии!
— Пролетарии...
— Пролетарии...

Кузнец

(французу, похлопывая его по изрядному животу)

Шум потопа, небось, в ушах-то?

Прачка

(ему же, насмешливо и визгливо)

Лег бы сейчас и уснул на кровати?
Пустить бы тебя в окопы да в шахты!

Проходящий рудокоп

(самодовольно)

Да —
мы ничего —
видали мокроватей.

Нечистые проходят, разделяя брезгливо жмущуюся толпу чистых, рассаживаются у костра. Толпа чистых смыкается за ними в круг. Паша вылазит в середину.

Паша

Правоверные!
Надо обсудить, что же произошло?
Давайте вникнем в суть явления.

Купец

Дело простое —
светопреставление.

П о п

А по-моему — потоп.

Ф р а н ц у з

И вовсе не потоп,
а то б
дождик был.

Р а д ж а

Да,
не было дождика.

И т а л ь я н е ц

Значит, и эта идея тоже дика...

П а ш а

Но все-таки —
что ж это, правоверные, произошло?
Давайте, правоверные, посмотрим в корень.

К у п е ц

Народ, по-моему, стал непокорен.

Н е м е ц

Думаю, война, я.

С т у д е н т

Нет!
По-моему, причина иная.
По-моему, метафизическое...

К у п е ц
(недовольно)

Война — метафизическое!
Начали с Адама.

Г о л о с а

— По очереди!
— По очереди!
— Не устраивайте содома!

Паша

Тс!
Давайте говорить постепенно.
Ваше слово, студент.

(Оправдывается перед толпой.)

А то у него даже на губах пена.

Студент

Сначала
всё было просто:
день сменила ночь,
и только
заря чересчур разнебесилась ало.
Потом —
законы,
понятия,
веры,
гранитные кучи столиц
и самого солнца недвижная рыжина —
всё стало как будто немного текуче,
ползуче немного,
немного разжижено.
Потом как прольется!
Улицы льются,
растопленный дом низвергается нá дом.
Весь мир,
в доменных печах революций расплавленный,
льется сплошным водопадом...

Голос китайца

Господа, внимание!
Сюда моросят.

Жена австралийца

Хорошенькое моросят!
Измочило, как поросят.

Перс

Может, конец мира близок,
а мы
митингуем, орем и ржем.

Итальянец

(жмется к полюсу)

Становитесь сюда!
Теснее!
Здесь не закапает.

Купец

(наддавая коленкой зажимающего дыру с присущим этому народу терпением эскимоса)

Эй, ты!
Пошел к моржам!

Охотник-эскимос отлетает, и из открытой дыры забила в присутствующих струя. Веером рассыпались чистые, нечленораздельно оря:

— И-и-и-и-и!
— У-у-у-у-у!
— А-а-а-а-а!

Через минуту все бросаются к струе.

— Забить!
— Заткнуть!
— Зажать!

Отхлынули. Только австралиец остался у земного шара с пальцем в дыре. В общем переполохе взгромоздился на пару поленьев поп.

Поп

Братие!
Лишаемся последнего вершка.
Последний дюйм заливает водой.

Голоса нечистых

(тихо)

Кто это?
Кто этот шкаф с бородой?

Поп

Сие на сорок ночей и на сорок ден...

Купец

Правильно!
Господь надоумил умно его!

Студент

В истории был подобный прецедент.
Вспомните знаменитое приключение Ноево.

Купец
(водворяясь на место попа)

Это глупости —
и история, и прецедент, и воопче...

Голоса

Ближе к делу!

Купец

Давайте, братцы, построим копчег!

Жена австралийца

Правильно! Ковчег!

Студент

Вот охота!
Пароход построим!

Раджа

Два парохода.

Купец

Правильно!
Весь капитал вложу!
Те спаслись, а мы умнее тех, никак.

Общий гул

Да здравствует,
да здравствует техника!

Купец

Подымите руки —
кто за.

Общий гул

И рук не надо.
Видно за глаза.

И чистые и нечистые подымают руки.

Француз
(занявший место купца, со злобой осматривает кузнеца, поднявшего руку)

И ты туда же?
Да и не тщись ты!
Господа,
давайте не возьмем нечистых!
Будут знать, как нас ругать.

Голос плотника

А ты умеешь пилить и строгать?

Француз
(поникая)

Я передумал.
Возьмем нечистых.

Купец

Только отберем непьющих и плечистых.

Немец
(влезая на место француза)

Тсс! Господа,
может быть, еще и не придется мириться
с нечистыми.
К счастью,
мы не знаем, что с пятой частью света.
Галдите, и даже не побеспокоились узнать,
есть меж нами американцы ли.

Купец
(радостно)

Ну и голова!
Не человек, а германский канцлер.

Радость прорезает крик австралийки.

Австралийка

Что это?

Прямо из зала к напряженно вглядывающимся врывается американец.

Американец

Милостивые государи,
где здесь строят ковчег?
Вот

(протягивает бумагу)

от утопшей Америки
на двести миллиардов чек.

Молчаливое уныние. И вдруг вопль зажимающего воду австралийца.

Австралиец

Чего разглазелись? Будет пялиться!
Ей-богу, выну!
Коченеют пальцы...

Чистые засуетились. Заискивающе трутся к нечистым.

Француз

(кузнецу)

Ну что ж, товарищи,
построим,
а?

Незлобивый кузнец

А мне што!
По мне хоть...

(Машет рукой нечистым.)

Айда, товарищи!
Ехать так ехать!

Нечистые подымаются. Пилы, рубанки, молотки.

Занавес

Действие второе

Палуба ковчега. По всем направлениям панорама рушащихся в волны земель. В низкие облака упирается запутанная веревками лестниц мачта. В стороне рубка и вход в трюм. Чистые и нечистые выстроились по близкому борту.

Батрак

Н-да!
Не хотел бы я нынче за борт.

Швея

Глянь-ка туда:
не волна, а забор!

Купец

Зря я это с вами спутался.
Всегда вот так,
без толка.
Мореплаватели тоже!
Нашли морского волка.

Фонарщик

Ишь, поднесла!
Гудит и стенает.

Швея

Какой там забор!
Закрыло стеною.

Француз

Да-с.
Очень глупо-с!
Говорю вам с прискорбием и болью-с.
Сидели бы.
Земля еще держится.
Какой ни на есть, а все-таки полюс.

Батрак

Что волки твои,
волнищами ляскают.

Оба эскимоса, шофер и австралийцы
(сразу)

Глядите,
что это?
Что с Аляскою?

Негус

Ну и метнулась!
Что камень пращой.

Немец

Ухнулась!

Охотник

Нет ее?

Рыбак

Нет.

Все

Прощай! Прощай! Прощай!

Француз
(расплакался, придавленный воспоминаниями)

Боже мой!..
Боже мой!..
Бывало,
всей семьей
соберемся у чайного столика —
плюшки,
икорка.

Булочник
(отмеряя кончик ногтя)

Чудно, ей-богу!
Ну, не жаль вот
ни столько.

Сапожник

Я водчонки припас.
Найдется рюмка?

Слуга

Найдется.

Рудокоп

Ребята,
идемте в трюм-ка!

Охотник

Ну, как моржонок?
Не очень поджарый ли?

Слуга

Ничего не поджарый,
славно поджарили.

Чистые одни.

Нечистые

(спускаются в трюм, подпевая)

Что терять нам? Испугаться нам потопа ли?
Разустали ножки — по свету потопали.
Эх, и отдых в пароходах!
Эх!
И моржонка съесть и водочки хлебнуть не грех.
Эх, не грех!

Чистые окружили расхныкавшегося француза.

Перс

Стыдно, право!
Бросьте орать-то!

Купец

Перебьемся как-нибудь,
доползем до Арарата.

Негус

С голоду подохнешь, пока гора-то.

(Прислушивается к шуму в трюме.)

Поп

Ишь, ржут!

Студент

Чего им!
Наловили рыбы и жрут.

Поп

Возьмем сеть или острогу и тоже давайте ловить.

Немец

О-с-т-р-о-г-у?
А как обращаться ею?
Я только шпагой в человеке ковырять умею.

Купец

Я закинул сеть,
думал — рыбину выну,
умаялся,
и ничего —
одну травину.

Паша

(сокрушенно)

До чего доросли:
первой гильдии — и жрут водоросли.

Итальянец

(многозначительно подымает палец)

Эврика!

(Немцу.)

Послушайте!
Чего это мы так тогда?
Что это нас так задело?
У нас теперь общий враг.

(Указывает на трюм. Берет под руку и отводит, на ходу говоря.)

У меня к вам вот что за дело...

(Пошептавшись, возвращаются.)

Немец

(держит речь)

Господа!
Мы все такие чистые.
Нам проливать за работой пот ли?
Давайте заставим нечистых, чтоб они на нас
работали.

Студент

Я б их заставил!
Да куда мне —
чахл!
А из них любой — косая в плечах.

Итальянец

Боже сохрани драться!
Не драться,
а пока выжирают меню,
пока восседают,
пия и оря,
возьмем и подложим им свинью...

Немец

Выберем им царя!

Все

(удивленно)

Зачем царя?

Немец

А затем, что царь издаст манифест —
все кушанья мне, мол, должны быть отданы.
Царь ест,
и мы едим —
его верноподданные.

Все

Здорово!

Паша

Ловко!

Купец

(радостно)

Я же говорил вам —
Бисмарочья головка!

Австралийцы

Выбираем скорей!

Несколько голосов

Но кого?
Кого же?

Итальянец и француз

Негуса.

Поп

Правильно!
Ему и в руки вожжи.

Купец

Какие вожжи?

Немец

Ну, как их там...
Бразды правления, что ли...
Чего придираетесь?
Смысл один.

(Негусу.)

Взлазьте, господин.

(Французу, паше и студенту.)

Вы строчите манифест:
с божьей, мол, милости...
а мы — сюда,
чтоб не успели вылезти.

Паша и прочие строчат манифест. Немец с итальянцем разматывают перед выходом из трюма канат. Пошатываясь, вылазят нечистые. Когда последний выполз на палубу, итальянец и немец меняются местами — и нечистые опутаны.

Явление первое

Немец

(сапожнику)

Эй,
ты!
Ступай под присягу!

Сапожник

(плохо разбираясь в событиях)

Можно, я лучше прилягу?

Итальянец

Я тебе прилягу —
не встанешь сто лет!
Господин поручик,
наводите пистолет!

Француз

Ага!
Протрезвели!
Вот так оно проще.

Некоторые нечистые

(грустно)

Попались, братцы.
Как куры во́ щи.

Австралиец

Шапки долой!
У кого там шапка?

Китаец и раджа

(подталкивают попа, стоящего под рубкой, возглавляемой негусом)

Читай же,
читай, стоят не дыша пока!

Поп

(по бумаге)

Божьей милостью
мы,
царь изжаренных нечистыми кур

и великий князь на оных же яйца,
не сдирая ни с кого семь шкур, —
шесть сдираем, седьмая оставляется, —
объявляем нашим верноподданным:
волоките всё —
рыбу, хлеб, овощь, свинят
и чего найдется съестного прочего.
Правительствующий сенат
не замедлит
разобраться в грудах добра,
отобрать и нас попотчевать.

Импровизированный сенат
из паши и раджи

Слушаемся, ваше величество!

Паша

(распоряжается. Австралийцу)

Вы — в каюты!

(Австралийке.)

Вы — в кладовые!

(Общее.)

Чтоб нечистый ничего дорогой не выел.

(Купцу, отматывая для него булочника.)

Вы вот с ним спускайтесь в трюм.
Я с раджою на палубе всё просмотрю.

(Общее.)

Притáщите сюда и возвращайтесь снова.

Радостный гул чистых

Навалим целую гору съестного!

Поп

(потирая руки)

А после братски поделимся добычею
по христианскому обычаю.

Явление второе

Конвоируемые офицерами, нечистые понуро спускаются в трюм, за ними — чистые, кроме сената, обшаривающего палубу. Первым возвращается австралиец. На огромном блюде моржонок. Складывает перед негусом — и обратно в трюм.

Явление третье

Китаец с австралийкой

(конвоируя булочника)

Этот бьет челом куличом.

Явление четвертое

Студент

(с плотником)

Сельдь у него.
Объедена наполовину.

Явление пятое

Купец

(с шофером)

Вот этот в хранении колбасы уличен.

Явление шестое

Поп

(с швеей и прачкой)

Сахар.
Чуть не изо рта у них вынул.

Явления седьмое, восьмое и девятое

Француз возвращается, как и все. Перс деловито приносит бутыль — и обратно. Сенат притащил связку баранок и юркнул в трюм. Минуту на сцене один негус, сосредоточенно уплетающий принесенное. Затем, усталые, вылезают чистые и, завалив люк, направляются к трону, хвастаясь.

Француз

Я ростбиф нашел —
и целый кус!

Китаец

Занятно знать, каков он на вкус.

Австралиец

Моржонок попался —
румян, сочен.

Раджа

Проголодались?

Француз

Еще бы!

(Попу.)

Вы тоже?

Поп

Очень!

Взбираются к негусу. Перед негусом пустое блюдо. В один грозный голос:

Что здесь?
Гуляла мамаева рать?!

Поп

(в исступлении)

Один ведь,
один —
и чтоб столько сожрать!

Паша

Взял бы да и грохнул по сытой роже.

Негус

Молчать!
Я помазанник божий.

Немец

Помазанник!
Помазанник!
Лег бы, как мы...

Итальянец

На голодный желудок.

Поп

Иуда!

Раджа

Тьфу!
Не об этаком думал дне я.

Купец

Ляжем.
Утро вечера мудренее.

Укладываются. Ночь. По небу быстро проходит луна. Луна склоняется. Рассвет. В синем утре приподымается фигура итальянца, с другой стороны приподымается немец.

Итальянец

Вы спите?

Немец отрицательно качает головой.

Итальянец

Проснулись в эту пóрищу?

Немец

Уснешь тут!
В животе такой разговорище. —
Ну, поговори, поговори еще!

Купец

(вмешиваясь)

Всё котлеты снятся.

Поп
(издали)

А что ж еще могло сниться!

(Негусу.)

Ишь, проклятый! Так и лоснится.

Австралиец

Холодно.
Да и ночь мокра-то.

Француз
(после короткой паузы)

Господа,
знаете что?..
Я чувствую, что я становлюсь демократом.

Немец

Вот новость!
Я всегда народ любил без памяти.

Перс
(ехидно)

А кто предлагал его величеству к стопам идти?

Итальянец

Бросьте ваши ядовитые стрелы.
Самодержавие как форма правления,
несомненно, устарело.

Купец

Устареет, если ни росинки не попало в рот.

Немец

Серьезно! Серьезно!
Назревает переворот.
Довольно распрь,
покончим с бранью!

В один голос:

Ура!

Ура Учредительному собранию!

(Отваливают люк.)

Ура! У-р-а!

(Друг другу.)

Наяривайте!
Жмите!

Явление десятое

Из люка лезут разбуженные нечистые.

Сапожник

Что это? Перепились?

Кузнец

Авария?

Купец

Граждане, пожалте на митинг!

(Булочнику.)

Гражданин, вы за республику?

Нечистые

(хором)

Митинг? Республику? Какую такую?

Француз

Стойте!
Сейчас интеллигенция растолкует.

(Студенту.)

Эй, вы, интеллигенция!

«Интеллигенция» и француз влазят на рубку.

Француз

Объявляю собрание открытым.

(Студенту.)

Ваше слово.

Студент

Граждане!
У этого царищи невозможный рот!

Голоса

— Правильно!
— Правильно, гражданин оратор!

Студент

Всё, проклятый, как есть сожрет!

Голос

Правильно!

Студент

И никто никогда не доползет до Арарата.

Голоса

— Правильно!
— Правильно!

Студент

Довольно!
Рвите цепи ржавые!

Общий гул

Долой,
долой самодержавие!

Купец
(негусу)

Попили кровушки,
нагадили народу...

Француз
(негусу)

Эй, ты,
алон занфан в воду!

Общими усилиями раскачивают негуса и швыряют за борт. Затем чистые берут под руки нечистых и расходятся, напевая.

Итальянец
(рудокопу)

Товарищи!
Вы даже не поверите.
Я так безумно рад:
нет теперь этих вековых преград.

Француз
(кузнецу)

Поздравляю вас!
Рухнули вековые устои.

Кузнец
(неопределенно)

М-да!

Француз

Остальное устроится,
остальное — пустое.

Поп
(швее)

Теперь мы — за вас, вы — за нас.

Купец
(довольный)

Так, так! Води за нос.

Француз
(на рубке)

Ну, граждане, довольно,
погуляли всласть.
Давайте организуем демократическую власть.
Граждане,
чтобы всё это было скоро и быстро,
мы вот, — упокой, господи, душу негуса, — мы вот тринадцать
будем министры и помощники министров,
а вы — граждане демократической республики, —
вы будете ловить моржей, шить сапоги, печь бублики.
Возражений нет?
Принимаются доводы?

Батрак

Ладно!
Было бы недалеко до воды!

Хором

Да здравствует! Да здравствует демократическая
республика!

Француз

А теперь я

(нечистым)

вам предлагаю работать.

(Чистым.)

А мы — за перья.
Работайте,
несите сюда,
а мы это всё поделим поровну, —
последняя рубашка пополам будет порвана.

Явления одиннадцатое и двенадцатое

Чистые устанавливают стол, располагаются с бумагами, и когда нечистые приносят съестное, записывают во входящие и по уходе с аппетитом съедают. Булочник, пришедший во второй раз, пытается заглянуть под бумаги.

Чего глазеешь?
Отойди от бумаг!
Это, брат, дело не твоего ума.

Явление тринадцатое

Кузнец и рыболов

Давайте делиться обещанным.

Поп

(возмущенно)

Братие!
Рановато еще о пище нам.

Раджа

(отводя их от стола)

Там акулу поймали.
Присмотритесь к акуле —
не несет яиц, не приспособлена к молоку ли.

Кузнец

(угрожая)

Все равно, раджа, паша ли вы,
как говорится у турок:
«Эй, паша, не пошаливай!»

Явление четырнадцатое

Уходит и через минуту возвращается вкупе с прочими нечистыми; подходят к столу.

Кузнец

Учат!
Сколько ни дои акул —
не быть из акулы молоку.

Сапожник

(пишущим)

Пора обедать!
Скорей кончай-ка!

Итальянец

Обратите внимание,
как это красиво:
волны и чайка.

Батрак

Поговорим-ка лучше о щах и о чае.

Все

К делу!
К делу!
Нам не до чаек.

Напирая, опрокидывают стол. На палубу грохаются пустые тарелки.

Швея и прачка
(грустно)

Всё совет министерский вылакал.

Плотник
(вскакивая на опрокинутый стул)

Товарищи!
Это нож в спину!

Голоса

И вилка!

Рудокоп

Товарищи!
Что ж это?
Раньше жрал один рот, а теперь обжирают ротой?
Республика-то оказалась тот же царь, да только
сторотый.

Француз
(ковыряя в зубах)

Чего кипятитесь?
Обещали и делим поровну:
одному — бублик, другому — дырка от бублика.
Это и есть демократическая республика.

Купец

Надо же ж кому-нибудь и семечки — не всем арбуз.

Нечистые

Мы вам покажем классовую борьбу!

Немец

Стойте, граждане!
Наша политика...

Нечистые

А ну,
с четырех концов подпалите-ка!
Покажем им, какая такая политика!
Держись,
запахнет гарью.

Подпалим революцией,
что твою Болгарию.

Вооружаются сложенным чистыми во время обеда оружием, загоняют чистых на корму. Мелькают пятки сбрасываемых чистых. Только купец забился в угольный ящик.

Мадам-истерика
(все время путающаяся под ногами, заломила руки)

И опять и опять разрушается кров,
и опять и опять смятенье и гул...
Довольно!
Довольно!
Не лейте кровь!
Послушайте, я не могу!

Батрак

Ишь, проклятая!
Распустила слюнки!
Революция вам, мадам, не юнкер.

(Вежливо берет ее. Дама вцепляется в руку.)

Ишь, злюка!

Кузнец

Вали ее, ребята, в дырку люка!

Трубочист

Не задохлась бы тама —
все-таки дама.

Батрак

Что мямлить?
Вернутся — нас же распнут на кресте.

Нечистые

Правильно!
Правильно!
Или мы — или те!

Кузнец

Товарищи!
Сапогами отшвыривайте кликуш.

Эй, народ, чего не ликуешь?
Ликуй!

Но суровы голоса нечистых — последние запасы съела республика.

Булочник

Ликуй!
А велико ли хлеба запасено?

Швея

Ликуй! Когда мысли только о хлебе.

Фонарщик

Ликуй! Если всюду одни только хляби.

Трубочист

Ликуй! Когда ни крошки не осталось на корме.

Несколько
(сразу)

— «Ликуй» кричишь!
— Ты нас накорми.
— Мы голодны.
— Мы устали.
— Не пройдешь шагов и ста.

Батрак

Голодны? Устали?
Разве бывает усталь у стали?

Прачка

Мы не сталь.

Кузнец

Так будемте сталь.
Не останавливаться на половине ж.
Съеденное в утопших,
назад не вынешь.
Теперь об одном осталось ратовать,
чтоб сила не иссякла до места Араратова.
Пусть нас бури бьют,
пусть изжарит жара,

голод пусть —
посмотрим в глаза его,
будем пену одну морскую жрать.
Мы зато здесь всего хозяева!

Хором

Правильно!
Идем себя закалять!

Спускается та же ночь. Кузнец раздувает горн. Быстро бежит луна.

Кузнец

Идите же!
Работы не было наваленней.
Никогда сильнее не требовалось починок.
Собственные груди ставьте на наковальни.
Эй! Кто для почина?

Батрак

Мне надо новые поставить подковы.

Плотник

Руку подправьте — не очень узловата.

Рыбак

Мне надо на грудь чего-нибудь такого.

Фонарщик

Ноги подделайте, а то — вата.

Подходят один за другим, работает кузнец. Стальные и выправленные идут от горна, рассаживаются по палубе. Утро. Холодно и голод.

Шофер

Без еды — всё равно что машина без дров.

Рудокоп

Даже я сдаю, уж на что здоров.

Охотник

Слабеет от голода за мускулом мускул.

Швея

(прислушиваясь)

Слушайте,
что это?
Слышите музыку?

От нее отсаживаются, смотрят испуганно. Некоторые пятятся в трюм. Но не разумнее и голос плотника.

Плотник

Антихрист речь повел нам
об Арарате и рае.

(Испуганно вскакивает, пальцем за борт.)

Кто там
идет по вóлнам,
в кости свои играет?

Трубочист

Брось ты!
Море гóло.
Да и кому являться?

Сапожник

Вон он!
Идет!
Это голод
нами идет разговляться!

Батрак

Что ж, иди!
Нет здесь таких, кто упал бы.
Товарищи, враг у бортá!
Живо!
Все на палубы!
Голод
сам идет на абордаж.

Явление пятнадцатое

Выбегают, шатаясь, вооруженные чем попало. Рассвело. Пауза.

Все

Что ж, иди!
Никого...
И вот
снова будем смотреть бесплодное лоно вод.

Охотник

Так вот молишь о тени в печах пустыни,
умирая ж —
видишь, будто пустыня стынет.
Мираж!

Шофер

(приходит в страшное волнение, поправляет очки, всматривается. Кузнецу)

Там вот,
на западе —
не заметишь ли точечки?

Кузнец

Что глядеть?
Все равно что на хвост надеть или в ступе
истолочь очки.

Шофер

(отбегает, шарит, лезет с трубой на рею — и через минуту его рвущийся от радости голос)

Арарат! Арарат! Арарат!

Со всех концов

— О, как я рада!
— О, как я рад!

(Вырывают у шофера трубу. Сгрудились.)

Плотник

Где он? Где?

Кузнец

Да вот виднеется
направо от...

Плотник

Что это
Приподнялось.
Выпрямилось.
Идет.

Шофер

То есть как — идет?
Арарат — гора и ходить не может.
Глаза потри.

Плотник

Сам три.
Смотри!

Шофер

Да, идет.
Человек какой-то.
Да, человек.
Старый с посохом.
Молодой без посоха.
Эк,
идет по воде, что посуху!

Швея

Колокола, гудите!
Вздыбливайте звон!
Бросайте работу!
Останавливайте заводы!
Это он!
Он шел, рассекая генисаретские воды!

Кузнец

У бога есть яблоки,
апельсины,
вишни,
может вёсны стлать семь раз на дню,
а к нам только задом оборачивался всевышний,
теперь Христом залавливает в западню.

Батрак

Не надо его!
Не пустим проходимца!

Не для молитв у голодных рты.
Ни с места!
А то рука подымется.
Эй,
кто ты?

Явление шестнадцатое

Самый обыкновенный человек входит на замершую палубу.

Человек

Кто я?
Я — дровосек
дремучего леса
мыслей,
извитых лианами книжников,
душ человечьих искусный слесарь,
каменотес сердец булыжников.
Я в воде не тону,
не горю в огне —
бунта вечного дух непреклонный.
В ваши мускулы
я
себя одеть
пришел.
Готовьте телá-колонны.
Сгрудьте верстаки, станки и горны.
Взлезу на станки и на горны я.

Сбивают груду.

Эта ставка
последняя у мира в игорне.
Слушайте!
Новая проповедь нагорная.
Еще громá себя не изгрохали,
горы бурь еще не отухали.
О, горе тем, кто вцепились — рохли! —
земным ковчегам в плывущую рухлядь!
Араратов ждете?
Араратов нету.
Никаких.

Приснились во сне.
А если
гора не идет к Магомету,
то и черт с ней!
Не о рае Христовом ору я вам,
где постнички лижут чаи без сахару.
Я о настоящих земных небесах ору.
Судите сами: Христово небо ль,
евангелистов голодное небо ли?
В раю моем залы ломит мебель,
услуг электрических покой фешенебелен.
Там сладкий труд не мозолит руки,
работа розой цветет по ладони.
Там солнце такие строит трюки,
что каждый шаг в цветомории тонет.
Здесь век корпит огородника опыт —
стеклянный настил, навозная насыпь,
а у меня
на корнях укропа
шесть раз в году росли ананасы б.

Все

(хором)

Мы все пойдем!
Чего нам терять!
Но пустят ли нашу грешную рать?

Человек

Мой рай для всех,
кроме нищих духом,
от постов великих вспухших с луну.
Легче верблюду пролезть сквозь иголье ухо,
чем ко мне такому слону.
Ко мне —
кто всадил спокойно нож
и пошел от вражьего тела с песнею!
Иди, непростивший!
Ты первый вхож
в царствие мое небесное.
Иди, любовьями всевозможными разметавшийся
прелюбодей,
у которого по жилам бунта бес снует, —

тебе, неустанный в твоей люботе
царствие мое небесное.
Идите все, кто не вьючный мул.
Всякий, кому нестерпимо и тесно,
знай:
ему —
царствие мое небесное.

Хором

Не смеется ли этот над нищими?
Где они?
Дразнишь какими странищами?

Человек

Длинна дорога.
Надо сквозь тучи нам.

Хором

Каждую тучу сразим поштучно!

Человек

А если ад взгромоздится за адом?

Хором

Пойдем и туда!
Не попятимся задом.
Веди нас!
Где она?

Человек

Где?
На пророков перестаньте пялить око,
взорвите всё, что чтили и чтут.
И она, обетованная, окажется под боком —
вот тут!
Конец.
Слово за вами. Я нем.

Исчезает.

На палубе недоумение.

Сапожник

Где он?

Кузнец

По-моему, он во мне.

Батрак

Думаю, заблагорассудилось и в меня ему...

Несколько

Кто он?
Кто этот дух невменяемый?
Кто он —
без имени?
Кто он —
без отчества?
Зачем он?
Какие кинул пророчества?
Кругом потопа смертельная ванная.
Пускай!
Найдется обетованная!

Кузнец

Зловещ пучин разверзшийся рот.

(Рукой на реи.)

Дорога одна — сквозь тучи вперед!

Бросаются к мачте. Хором:

Сквозь небо — вперед!

Вскарабкиваются, и уже на реях развертывается боевая песнь.

Батрак

Мы сами теперь громоногая проповедь.
Идемте силы в сражении пробовать!

Хор

Идем,
идем последнее пробовать!

Сапожник

Там всем победителям отдых за боем.
Пусть ноги устали, их в небо обуем!

Хор

Обуем!
Кровавые в небо обуем!

Плотник

Распахнута твердь
небесам за ограду!
По солнечным трапам,
по лестницам радуг!

Хор

По солнечным сходням,
качелями радуг!

Рыбак

Довольно пророков!
Мы все Назареи!
Скользите на мачты,
хватайтесь за реи!

Хор

На мачты!
На мачты!
За реи!
За реи!

Явление семнадцатое

«За реи!» — замирает в облаках. Когда скрывается последний, из угольного ящика, осматриваясь, пролазит купец, задирает голову, качает головой на мачту и, посмеиваясь, говорит:

Надо же ж быть ослом!

(Обводит рукой ковчег.)

Добра на четыреста тысяч
минимум.
Даже если на слом.

Но недолговечна купцова радость, — задранная голова перетянула, купец кувыркается за борт.

Занавес

Действие третье

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Ад. В три яруса протянуты дымно-желтые тучи. На верхнем ярусе надпись: «Чистилище», на среднем: «Ад», на нижнем, свесив ноги, восседают два черта.

Первый

Два слова по поводу пищи:
трудно нам без попов в аду,
а из России, как на грех, гонят попищей.

Второй
(вглядываясь вниз)

Что это маячит там?

Первый

Мачта.

Второй

Зачем мачта? Какая мачта?

Первый

Пароход какой-то.
Да, корабль!
Кают огни.
Жизнь недорога!
Смотри, по тучам тела карабкают,
сами лезут черту на рога.

Второй

Старик-то наш
обрадуется донельзя.

(Огрызается на первого.)

Тише ты, черт,
нельзя, чтоб без гула!
Беги, предупреди штаб
Вельзевула.

Явление первое

Первый бежит. Над средним ярусом показывается Вельзевул. Ладонь ко лбу. Над ярусом приподымаются черти.

Вельзевул

(убедившись, орет)

Эй, вы,
черти!
Волоките котёлище!
Да дров побольше —
суше,
толще!
Прячься за тучи, батальон сторогий!
Чтоб никто из тех не ушел с дороги!

Явление второе и третье

Черти притаились. Снизу доносится: «На мачты, на мачты! За реи, за реи!» Вваливается толпа нечистых, и моментально же вываливаются черти с вилами наперевес.

Черти

— У-у-у-у-у-у-у!
— А-а-а-а-а-а-а!
— У-у-у-у-у-у-у!
— А-а-а-а-а-а-а!

Кузнец

(указывая на крайних, швее со смехом)

Как тебе нравятся эти трое?
Ишь, стараются!
Землю роют.

Гвалт начал надоедать. Цыкнули нечистые:

Т-с-с-с-с!

Смолкли растерявшиеся черти.

Нечистые

Это ад?

Черти

(нерешительно)

Д-да!

Батрак
(на чистилище)

Товарищи!
Не останавливаться!
Прямо туда!

Вельзевул

Да-да!
Черти, вперед!
Не пускать в чистилище!

Батрак

Послушайте —
это что за стиль еще?

Кузнец

Бросьте вы это!

Вельзевул
(обиженно)

То есть как бросить?!

Кузнец

Да так.
Стыдно!
Все-таки старый черт,
у самого проседь.
Нашли, ей-богу, чем стращать!
На заводе
чугуноплавильном
не бывали, чать?

Вельзевул
(сухо)

Не был я на вашей плавильне.

Кузнец

То-то!
А то б повылинял
шерсткой.

Живешь себе тут
щеголем,
гладкий такой да жесткий.

Вельзевул

Хорош гладкий,
хорош жесткий!
Довольно разговаривать! Пожалте на костры!

Булочник

Остри!
Нашел чем пугать!
Смешно, ей-богу!
Да у нас
в Питере
вам бы еще заплатили
за такую головню.
Холод.
А у вас благодать.
Сплошное ню.

Вельзевул

Довольно шутить!
Трепещите за души!
Всех вас серой сейчас же задушим!

Кузнец
(сердясь)

Хвастают тоже!
Что у вас? —
Слегка попахивает серою.
У нас как пустят удушливым газом —
вся степь от шинелей становится серою,
дивизия разом валится наземь.

Вельзевул

Побойтесь, говорю вам, раскаленных жаровен!
На вилах будете,
час неровен.

Батрак

(выходя из себя)

Да что ты кичишься какими-то вилами!
Твой глупый ад — всё равно что мед нам.
Бывало,
в атаке
три четверти выломит
в одно дуновенье огнем пулеметным.

Черти развесили уши.

Вельзевул

(старается поддержать дисциплину)

Чего стоите?
Разинули рот!
Может, он всё это врет!

Батрак

(зверея)

Я вру?!
Сидите тут,
пещеры пещерите!
Черти!
Слушайте!
Я вам расскажу...

Черти

Тише!

Батрак

...про нашу земную жуть.
Что ваш Вельзевул!
У нас паук такой
клещами тыщами
всю землю сжал в обескровленный пук,
рельс паутиною выщемил.
У вас хоть праведников нет и детей —
рука небось не подымается мучить, —
а у нас и те!
Нет, черти,
у вас здесь лучше.
Как какой-нибудь некультурный турок,
грешника с размаха саданёте нá кол,

а у нас машины,
а у нас культура...

Голос из толпы чертей

Однако!

Батрак

Человечину жрете?
Невкусное сырье!
Я б к Сиу вас свел, каб не было поздно.
У нас в шоколад перегоняют ее.

Голос из толпы чертей

Но?
Серьезно?

Батрак

А негров видели дубленые кожи, —
на переплеты чтоб мог идти?
В ухо гвоздь?
Пожалуйста, отчего же!
А шерсть свиную хотите под ногти?
Посмотрели солдата в окопе вы бы:
сравнить если с ним — ваш мученик сноб...

Черти

Довольно!
Шерсть подымается дыбом!
Довольно! довольно!
Такой озноб!

Батрак

Думаете, страшно?
Развели костерики,
развесили чанки́.
Какие вы черти?
Да вы щенки!
Ремни вас на фабриках растягивали по суставам?

Вельзевул

(смущенно)

Ну вот!
В чужой монастырь со своим уставом.

Батрак

Что,
только на робких пасти щерите?

Черти

Ну что вы, ей-богу, пристали?
Черти как черти!

Вельзевул идет к батраку заминать разговор.

Вельзевул

Я б вас пригласил хлеб-соль откушать
в гости,
да какое теперь угощение —
кожа да кости.
Сами знаете, какие теперь люди?
Изжаришь, так его и незаметно на блюде.
Нет этих мешочников в ризе.
Сами понимаете — продовольственный кризис.
Притащили на днях рабочего
из выгребных ям,
так не поверите — нечем потчевать.

Батрак
(брезгливо)

Пошел к чертям!

(К давно уже нетерпеливо ждущим рабочим.)

Айда, товарищи!

Нечистые двинулись; к последнему прицепился черт помоложе.

Черт

Счастливого пути!
Устраивайтесь как-нибудь по-новому,
без лишней святости,
а то какая там, например, троица?
И мы к вам придем, когда всё устроится.
Сидишь тут,
не евши
дней по пяти,
а у чертей,

известно,
чертовский аппетит.

Нечистые двинулись ввысь. Ломаемые, падают тучи. Тьма. Из тьмы и обломков опустевшей сцены вырисовывается следующая картина, а пока по аду гремит песня нечистых.

Кузнец

Телами адовы двери пробейте!
Чистилище в клочья!
Вперед!
Не робейте!

Хор

Чистилище вдребезги!
Так!
Не робейте!

Рудокоп

Вперед!
От отдыха тело отучим!
По ярусам
выше!
Шагайте по тучам!

Хор

Шагайте по ярусам!
Выше!
По тучам!

Конец первой картины

КАРТИНА ВТОРАЯ

Рай. Облако на облаке. Белесо. По самой середине, чинно рассевшись по облачью, райские жители. Мафусаил ораторствует.

Мафусаил

Святейшие!
Идите в светлейшее мощи оправить,
почище начистьте дни-ка.
Глаголет Гавриил —
грядет
больше чем дюжина праведников.

Святейшие!
Примите их в свою среду.
Что мышью, голод играет ими,
им гадит ад,
но они бредут...

Р а й с к и е
(степенно)

Сразу видно — достойнейшие люди.
Примем.
Обязательно примем.

М а ф у с а̀ и л

Надо стол накрыть,
выйти вместе.
Торжественнейшую встречу устроить надо нам.

Р а й с к и е

Вы здесь старейший и будьте церемониймейстер.

М а ф у с а и л

Да я не умею...

В с е

Ладно, ладно!

М а ф у с а и л
(кланяется, идет распоряжаться столом. Выстраивает святых)

Вот сюда — Златоуст.
Готовь приветственный тост:
— Мы, мол, все приветствуем, а такожде
и Христос...
Сам знаешь, тебе и книги в руки.
Вот сюда — Толстой, —
у тебя вид хороший, декоративный,
стал и стой.
Сюда — Жан-Жак.
Так и развертывайтесь анфиладою,
а я пойду стол присмотреть.
Доишь облака, сын мой?

Ангел

Да, дою.

Мафусаил

Надоишь — и на стол.
Нарежьте даже
облачко одно,
каждому по ломтику.
Для отцов святейших главное не еда же,
а речи душеспасительные, которые за столом
текут.

Святые

Ну что,
не видно пока?
Чтой-то край у облака подозрительно дут.
Идут! Идут! Идут! Идут!
Неужели это они?
В рай, а будто трубочисты грязные.
Вымоем.
М-да, святые-то, оказывается, разные.

Явление первое

Снизу доносится:

Орите в ружья!
В пушки басите!
Мы сами себе и Христос и спаситель!
Мы сами Христос!
Мы сами спаситель!

Вваливаются, пробивая облако пола, нечистые.

Хором

Ух, и бородастые!
Штук под триста!

Мафусаил

Пожалте, пожалте —
тихая пристань!

Ангельский голос

Понапустили народу шалого!

Ангелы

Драсьте, драсьте!
Добро пожаловать!

Мафусаил

А ну-ка, Златоуст, займись-ка тостом!

Нечистые

Какие там тосты!
Мы устали,
как собаки голодны!

Мафусаил

Терпение, братие!
Сейчас,
сейчас накормим досыта.

Мафусаил ведет нечистых к месту, где на облачном столе облачное молоко и облачный хлеб.

Плотник

Нашагался.
Нельзя ли какой-нибудь стул?

Мафусаил

Нет-с,
в раю нет.

Плотник

Чудотворца б пожалели —
стоит вон сутул.

Рудокоп

Не ругайся.
Главное — подкрепление сил.

Набрасываются на ковши и краюхи, сначала удивляются, потом, негодуя, откидывают бутафорию.

Мафусаил

Вкусили?

Кузнец

(грозно)

Вкусил, вкусил!
А нет чего посущественней?

Мафусаил

Не купать же бестелых существ в вине?

Нечистые

Ждем вас, проклятых,
смиренно умираем мы.
Кабы люди знали, что это впереди!
У нас у самих
такими раями
хоть пруд пруди.

Мафусаил

(указывая на святого, которому орал кузнец)

Не орите, неудобно.
Ангельский чин.

Рыбак

Поговорили бы лучше с чином:
не сварит ли чин ваш щи нам.

Голоса нечистых

Не так мы себе это представляли.

Охотник

Нора!
Сущая нора!

Шофер

И не похоже на рай.

Сапожник

Так, голубчики,
дорвались до рая!

Слуга

Ну, доложу вам, дыра, я!

Батрак

Что ж, вы так вот и сидите?

Один из ангелов

Зачем?
Случается и на землю
к праведному брату или сестре пойти,
и возвращаемся, елей свой излив там.

Слуга

Так вот перышки по тучам и трепите?!
Чудаки!
Обзавелись бы лифтом.

Второй ангел

А мы метки на облаках вышиваем —
Х. и В. —
Христовы инициалы.

Слуга

Вы б еще подсолнухи грызли.
Провинциалы!

Батрак

Побывали б у меня на земле они,
отучил бы лодырей от лени!
Поют вот:
«Долой тиранов, прочь оковы».
И до вас доберутся,
не смотрите, что высоко́ вы.

Швея

Совсем как в Питере:
население скучено,
еда скушана.

Нечистые

Скучно у вас.
Ох и скушно!

Мафусаил

Что поделаешь, такой уж строй у нас.
Оно, конечно,
многое не благоустроено-с.

Батрак

Как отсюда вылезти?

Мафусаил

Спросите у Гавриила.

Батрак

А Гавриил который?
Все — как один!

Мафусаил

(гордо разглаживая бороду)

Ну, не скажите,
есть и отличие —
вот, например, бороды длина-с.

Нечистые

Чего разговаривать?
Крушите!
Это учреждение не для нас.

Батрак

К обетованной!
Ищите за раем.
Шагайте!
Рай шажищами взроем.

Хор

Найдем!
Хоть всю вселенную взроем!

(Ломают рай, вздымаясь ввысь.)

Кузнец

Заря разгорается —
дальше!
За рай!
Там все разговеемся...

Но когда сквозь обломки рая долезли до верха, перебивает кузнеца швея.

Швея

Да что кормить голодных зарей!

Прачка
(устало)

Ломаем, ломаем и ломаем мы
тучи.
Не время ли мимо им?
Скоро ли, скоро ли маями
тело усталое вымоем?

Еще голоса

— Куда?
— Не очутимся в новом аду ли?
— Надули нас!
— Нас надули!
— А дальше что?
— Чем дальше, тем жутче.

(Подумав.)

Вперед трубочиста! Иди, лазутчик!

Из тьмы обломков рая вырастает новая, и последняя, картина.

Конец второй картины

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Обетованная страна. Огромнейшие, во всю сцену, ворота. Ворота размалеваны в какие-то углы, из которых слабо намечаются улицы и площади земных местностей. А наверху, над забором, качаются саженные цветы и горящим семицветием просвечивает радуга. У ворот лазутчик, возбужденно выкликающий карабкающихся.

Трубочист

Сюда, товарищи!
Сюда!
Высаживайте десант!

Явление первое

Подымаются нечистые и страшным удивлением окидывают ворота.

Трубочист

Чудес-с-с-а!!

Плотник

Да ведь это Иваново-Вознесенск!
Хорошие чудеса.

Слуга

Как это проходимцам верить, вас спрошу я!

Рыбак

Да не Вознесенск это,
верьте чести.
Это Марсель.

Сапожник

А по-моему, Шуя.

Рудокоп

Не Шуя вовсе.
Это Манчестер.

Батрак

Манчестер, Шуя —
не в этом дело:
главное —
опять очутились на земле,
опять у того же угла.

Все

Кругла земля, проклятая,
ох и кругла!

Прачка

Земля, да не та!
По-моему,
для земли не мало ли пахнет помоями?

Слуга

Что это в воздухе —
сласть какая-то разабрикосена?

Сапожник

Абрикосы!
В Шуе?
Да и время как будто к осени.

Подымают головы. Радуга бьет в глаза.

Все

А ну, фонарщик,
ты с лестницей, —
лезь да глазом окинь.

Фонарщик

(лезет и останавливается, обмерев. Только и мямлит)

Дураки мы!
Ну и дураки!

Нечистые

(разом)

Да рассказывай!
Смотрит, что гусь на молнию!
Рассказывай! Сыч!

Фонарщик

Н-е м-о-г-у...
Т-а-к-а-я
к-о-с-н-о-я-з-ы-ч-ь...
Дайте мне, дайте стоверстый язычище,
луча чтоб солнечного ярче и чище,
чтоб не тряпкой висел,
чтоб раструбливался лирой,
чтобы этот язык раскачивали ювелиры,
чтоб слова
соловьи разносили изо рта...
Да что!
И тогда не расскажешь ни черта!
Бутыли горящие ходят, булькая...

Голоса

Булькая?

Фонарщик

Да, булькая!
Дерево цветет,
да не цветком, а булкою.

Голоса

Булкою?

Фонарщик

Да, булкою!

Батрак

А хозяйка расфуфыренная
и хозяин мопсовидный
ходят по городу, тротуары уродуя?

Фонарщик

Нет,
отсюда никого не видно.
Ничего не заметил этого рода я.
Сахарная женщина...
Две еще!

Все

Да говори хоть подробней немножко!

Фонарщик

Да ходят всякие
яства,
вещи.
У каждой ручка,
у каждой ножка.
Фабрики во флагах
за верстою верста.
Куда ни ткнется взор стоног —
в цветах
без работы стоят
верстак,
станок.

Нечистые
(беспокойно)

Стоят?
Без работы?
А мы здесь исхищряемся в словесном спорте.
Может, дождь пойдет,
машины испортит.
Ломитесь!
Кричите!
Эй!
Кто тут?

Фонарщик

(скатываясь)

Идут!

Все

Кто?

Фонарщик

Вещи идут!

Явление второе

Ворота распахиваются, и открывается город. Но какой город! Громоздятся в небо распахнутые махины прозрачных фабрик и квартир. Обвитые радугами, стоят поезда, трамваи и автомобили, а посредине сад звезд и лун, увенчанный сияющей кроной солнца. Из витрин вылазят лучшие вещи и, предводительствуемые хлебом и солью, идут к воротам.

По онемелым рядам прижавшихся нечистых:

А-а-а-х-х-х!

Вещи

Ха-ха-ха-ха-ха!

Оживший батрак

Кто вы?
Чьи вы?

Вещи

Как чьи?

Батрак

Да как вашего хозяина имя?

Вещи

Никаких хозяев!
Ничьи мы.

Батрак

А для кого хлеб?
Соль?
Сахарная голова?
Встречаете кого?

Вещи

Вас!
Всё вам!

Все

Нас?
Нам?

Кузнец

Спим, должно быть.
Выдумки сна.

Швея

Раз
вот так
сидела галеркою.
На сцене бал.
Травиата.
Ужин.
Вышла —
и такой это показалась горькою
жизнь:
грязь,
лужи.

Вещи

Никуда это теперь от вас не денется —
это земля.

Охотник

Будет морочить!
Какая это земля!
Земля — грязь,
земля — ночи.
На земле наработаешь — разинешь рот,
а жирный такой придет и отберет.

Прачка
(хлебу)

Зовет,
а сам
небось
кусаться будет.

Пятьсот рублей, что пятьсот зубов, должно быть,
на каждом пуде.

Плотник
(машине)

Тоже!..
Подходит!..
Походка мышиная.
Мало коверкало нас машиною!
Вам бы лишь зубы на рабочих растить!

Все вещи

Прости, рабочий!
Рабочий, прости!
Рубля рабы,
рабы рабовладельца
были.
Заставил цепными делаться!
Берегла прилавки, сторублева и зла,
в окна скалила зубья зарев.
Купцовы щупальцы лезли из лавок.
Билось злобой сердце базаров!
Революция,
прачка святая,
с мылом
всю грязь лица земного смыла.
Для вас,
пока блуждали в высях,
обмытый мир
расцвел и высох!
Свое берите!
Берите!
Идите!
Рабочий, иди!
Иди, победитель!

Голоса

Нога не бритва,
авось не ступим.
Давайте, братцы, попробуем,
ступим!

Нечистые ступают.

Батрак

(трогает землю)

Землица!
Она!
Родимая землица!

Все

Запеть бы теперь!
Закричать!
Замолиться!

Булочник

(плотнику)

Сахар-то —
я его лизнул.

Плотник

Ну?

Булочник

Сладок, просто сладок.

Несколько голосов

Теперь с весельем не будет слада!

Батрак

(хмелея)

Товарищи вещи,
знаете что?
Довольно судьбу пытать.
Давайте, мы будем вас делать,
а вы нас питать.
А хозяин навяжется — не выпустим живьем!
Заживем?

Все

Заживем!
Заживем!

Нечистые жадно посматривают на вещи.

Батрак

Я бы взял пилу. Застоялся. Молод.

Пила

Бери!

Швея

А я — иглу б.

Кузнец

Рука не терпит — давайте молот!

Молот

Бери! Голу́бь!

Нечистые, вещи и машины кольцом окружают солнечный сад.

Книга
(обиженно)

А я?

Все

Иди!
Довольно ускользала ижица!
Становись, книжица!

Книга становится в почтительно разомкнутый круг.

Все

Чего волами подъяремными мычали?
Ждали,
ждали,
ждали года
и никогда не замечали
под боком такую благодать.
И чего это люди лазят в музеи?
Живое сокровище на сокровище вокруг.
Что это — небо или кусок бумазеи?
Если это дело наших рук,
то какая дверь перед нами не отворится?
Мы — зодчие земель,
планет декораторы,
мы — чудотворцы.
Лучи перевяжем пучками мётел,
чтоб тучи небес электричеством вымести.

Мы реки миров расплещем в мёде,
земные улицы звездами вымостим.
Копай!
Долби!
Пили!
Буравь!
Все ура!
Всему ура!
Солнцепоклонники у мира в храме,
покажем, как петь умеем мы.
Становитесь хора́ми —
солнцу псалмы!

Гимн

(торжественно)

Сон вековой разнесён —
целое море утр.
Хутор мира, цвети!
Ты наш!
А над нами солнце, солнце и солнце.
Радуйтесь все, кто силён,
цех созидателей мира, рабочих.
Бочек вина пьянее
жизнь.
Грей! Играй! Гори!
Солнце — наше солнце!
Довольно!
Мир исколесён.
Цепь железа сменили цепью любящих рук.
Игру новую играйте!
В круг!
Солнцем играйте. Солнце катайте. Играйте
в солнце!

Пауза, а за ней —

Кузнец

Идем!
Идем по градам и весям,
флагами наши души развесим.
Вылазьте из грязи
все, кому
надоели койки ночлежных нар.

Городов граниты,
зелени сёл —
наше всё.
Мир — коммунар.

Все

Трудом любовным
приникнем к земле
все,
дорогá кому она.
Хлебьтесь, поля!
Дымьтесь, фабрики!
Славься!
Сияй,
солнечная наша
Коммуна!

Занавес

Лето 1918

150 000 000

ПОЭМА

150 000 000 мастера этой поэмы имя.
Пуля — ритм.
Рифма — огонь из здания в здание.
150 000 000 говорят губами моими.
Ротационкой шагов
в булыжном верже площадей
напечатано это издание.

Кто спросит луну?
Кто солнце к ответу притянет —
чего
ночи и дни чините!?
Кто назовет земли гениального автора?
Так
и этой
моей
поэмы
никто не сочинитель.
И идея одна у нее —
сиять в настающее завтра.
В этом самом году,
в этот день и час,
под землей,
на земле,
по небу
и выше —

такие появились
плакаты,
летучки,
афиши:

«ВСЕМ!
ВСЕМ!
ВСЕМ!

Всем,
кто больше не может!
Вместе
выйдите
и идите!»

(подписи):

Месть — церемониймейстер.
Голод — распорядитель.
Штык.
Браунинг.
Бомба.

(три
подписи:
секретари).

Идем!
Идемидем!
Го, го,
го, го, го, го,
го, го!
Спадают!
Ванька!
Керенок подсунь-ка в лапоть!
Босому, что ли, на митинг ляпать?

Пропала Россеичка!
Загубили бедную!
Новую найдем Россию.
Всехсветную!
Иде-е-е-е-е-м!

Он сидит раззолоченный
за чаем
с птифур.
Я приду к нему
в холере.
Я приду к нему
в тифу.
Я приду к нему,
я скажу ему:
«Вильсон, мол,
Вудро,
хочешь крови моей ведро?
И ты увидишь...»
До самого дойдем
до Ллойд Джорджа —
скажем ему:
«Послушай,
Жоржа...»

— До него дойдешь!
До него океаны.
Страшен,
как же,
российский одёр им.
— Ничего!
Дойдем пешкодером!
Идемидем!

Будилась призывом,
из лесов
спросонок
лезла сила зверей и зверят.
Визжал придавленный слоном поросенок.

Щенки выстраивались в щенячий ряд.
Невыносим человечий крик.
Но зверий
душу веревкой сворачивал.
(Я вам переведу звериный рык,
если вы не знаете языка зверячьего.)

«Слушай,
Вильсон,
заплывший в сале!
Вина людей —
наказание дай им.
Но мы
не подписывали договора в Версале.
Мы,
зверье,
за что голодаем?
Свое животное горе киньте им!
Досыта наесться хоть раз бы еще!
К чреватым саженными травами Индиям,
к американским идемте пастбищам!»

О-о-гу!
Нам тесно в блокаде-клетке.
Вперед, автомобили!
На митинг, мотоциклетки!

Мелочь, направо!
Дорогу дорогам!
Дорога за дорогой выстроились в ряд.
Слушайте, что говорят дороги.
Что говорят?

«Мы задохлись ветрáми и пылями,
вьясь степями по рельсам голодненькими.
Немощеными хлипкими милями
надоело плестись за колодниками.
Мы хотим разливаться асфальтом,
под экспрессов тарой осев.

Подымайтесь!
Довольно поспали там,
колыбелимые пылью шоссе!
Иде-е-е-е-м!»

И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и.
К каменноугольным идемте бассейнам!
За хлебом!
За черным!
Для нас засеянным.
Без дров ходить —
дураков наймите!
На митинг, паровозы!
Паровозы,
на митинг!

Скоре-е-е-е-е-е-е-е!
Скорейскорей!
Эй,
губернии,
снимайтесь с якорей!
За Тульской Астраханская,
за махиной махина,
стоявшие недвижимо
даже при Адаме,
двинулись
и на
другие
прут, погромыхивая городами.

Вперед запоздавшую темь гоня,
сшибаясь ламп лбами,
на митинг шли легионы огня,
шагая фонарными столбами.

А по верху,
воду с огнем миря,
загнившие утопшими, катились моря.

«Дорогу каспийской волне-баловнице!
Обратно в России русло не поляжем!
Не в чахлом Баку,
а в ликующей Ницце
с волной средиземной пропляшем по пляжам».

И наконец,
из-под грома
бега и езды,
в ширь непомерных легких завздыхав,
всклокоченными тучами рванулись из дыр
и пошли грозой российские воздуха́.
Иде-е-е-м!
Идемидем!

И все эти
сто пятьдесят миллионов людей,
биллионы рыбин,
триллионы насекомых,
зверей,
домашних животных,
сотни губерний,
со всем, что построилось,
стоит,
живет в них,
всё, что может двигаться,
и всё, что не движется,
всё, что еле двигалось,
пресмыкаясь,
ползая,
плавая, —
лавою всё это,
лавою!

И гудело над местом,
где стояла когда-то Россия:
— Это же ж неважно,
чтоб торговать сахарином!
В колокола клокотать чтоб — сердцу важно!

Сегодня
в рай
Россию ринем
за радужные закатов скважины.

Го, го,
го, го, го, го,
го, го!
Идемидем!
Сквозь белую гвардию снегов!

Чего полезли губерний туши
из веками намеченных губернаторами зон?
Что, слушая, небес зияют уши?
Кого озирает горизонт?

Оттого
сегодня
на нас устремлены
глаза всего света
и уши всех напряжены,
наше малейшее ловя,
чтобы видеть это,
чтобы слушать эти слова:
это —
революции воля,
брошенная за последний предел,
это —
митинг,
в махины машинных тел
вмешавший людей и зверьи туши,
это —
руки,
лапы,
клешни,
рычаги,
туда,
где воздух поредел,
вонзенные в клятвенном единодушьи.

Поэтов,
старавшихся выть поднебесней,
забудьте,
эти слушайте песни:

«Мы пришли сквозь столицы,
сквозь тундры прорвались,
прошагали сквозь грязи и лужищи.
Мы пришли, миллионы,
миллионы трудящихся,
миллионы работающих и служащих.
Мы пришли из квартир,
мы сбежали со складов,
из пассажей, пожаром озаренных.
Мы пришли, миллионы,
миллионы вещей,
изуродованных,
сломанных,
разоренных.

Мы спустились с гор,
мы из леса сползлись,
от полей, годами глоданных.
Мы пришли,
миллионы,
миллионы скотов,
одичавших,
тупых,
голодных.

Мы пришли,
миллионы
безбожников,
язычников
и атеистов, —
биясь
лбом,
ржавым железом,
полем —
все

истово
господу богу помолимся.

Выйдь
не из звездного
нежного ложа,
боже железный,
огненный боже,
боже не Марсов,
Нептунов и Вег,
боже из мяса —
бог-человек!
Звездам на́ мель
не загнанный ввысь,
земной
между нами
выйди,
явись!

Не тот, который
«иже еси на небесех».
Сами
на глазах у всех
сегодня
мы
займемся
чудесами.

Твое во имя
биться дабы,
в громе,
в дыме
встаем на дыбы.
Идем на подвиг,
труднее божеского втрое,
творившего,
пустоту вещами да́руя.

А нам
не только, новое строя,
фантазировать,
а еще и издинамитить старое.
Жажда, пой!
Голод, насыть!
Время
в бои
тело носить.

Пули, погуще!
По оробелым!
В гущу бегущим
грянь, парабеллум!

Самое это!
С донышка душ!
Жаром,
жженьем,
железом,
светом,
жарь,
жги,
режь,
рушь!

Наши ноги —
поездов молниеносные проходы.
Наши руки —
пыль сдувающие веера полян.
Наши плавники — пароходы.
Наши крылья — аэроплан.

Идти!
Лететь!
Проплывать!
Катиться! —
всего мирозданья проверяя реестр.

Нужная вещь —
хорошо,
годится.
Ненужная —
к черту!
Черный крест.
Мы
тебя доконаем,
мир-романтик!
Вместо вер —
в душе
электричество,
пар.
Вместо нищих —
всех миров богатство прикарманьте!
Стар — убивать.
На пепельницы черепá!

В диком разгроме
старое смыв,
новый разгрóмим
по миру миф.
Время-ограду
взломим ногами.
Тысячу радуг
в небе нагаммим.

В новом свете раскроются
поэтом опоганенные розы и грезы.
Всё
на радость
нашим
глазам больших детей!
Мы возьмем
и придумаем
новые розы —
розы столиц в лепестках площадей.

Все,
у кого
мучений клейма нажжены,
тогда приходите к сегодняшнему палачу.
И вы
узнаете,
что люди
бывают нежны,
как любовь,
к звезде вздымающаяся по лучу.
Будет
наша душа
любовных Волг слиянным устьем.
Будешь
— любой приплыви —
глаз сияньем облит.
По каждой
тончайшей артерии
пустим
поэтических вымыслов феерические корабли.
Как нами написано —
мир будет таков
и в среду,
и в прошлом,
и ныне,
и присно,
и завтра,
и дальше
во веки веков!
За лето
столетнее
бейся,
пой:
— «И это будет
последний
и решительный бой!»
Залпом глоток гремим гимн!

Миллион плюс!
Умножим нá сто!
По улицам!
На крыши!
За солнца!
В миры —
слов звонконогие гимнасты!

И вот
Россия
не нищий оборвыш,
не куча обломков,
не зданий пепел —
Россия
вся
единый Иван,
и рука
у него —
Нева,
а пятки — каспийские степи.

Идем!
Идемидем!
Не идем, а летим!
Не летим, а молньимся,
души зефирами вымыв!
Мимо
баров и бань.
Бей, барабан!
Барабан, барабань!
Были рабы!
Нет раба!
Баарбей!
Баарбань!
Баарабан!
Эй, стальногрудые!
Крепкие, эй!
Бей, барабан!
Барабан, бей!

Или — или.
Пропал или пан!
Будем бить!
Бьем!
Били!
В барабан!
В барабан!
В барабан!

Революция
царя лишит царева званья.
Революция
на булочную бросит голод толп.
Но тебе
какое дам названье,
вся Россия, смерчем скрученная в столб?!
Совнарком —
его частица мозга, —
не опередить декретам скач его.
Сердце ж было так его громоздко,
что Ленин еле мог его раскачивать.
Красноармейца можно отступить заставить,
коммуниста сдавить в тюремный гнет,
но такого
в какой удержишь заставе,
если
такой
шагнет?!
Гром разодрал побережий уши,
и брызги взметнулись земель за тридевять,
когда Иван,
шаги обрушив,
пошел
грозою вселенную выдивить.

В стремя фантазии ногу вденем,
дней оседлаем порох,
и сами
за этим блестящим виденьем
пойдем излучаться в несметных просторах.

Теперь
повернем вдохновенья колесо.
Наново ритма мерка.
Этой части главное действующее лицо — Вильсон.
Место действия — Америка.

Мир,
из света частей
собирая квинтет,
одарил ее мощью магической.
Город в ней стоит
на одном винте,
весь электро-динамо-механический.

В Чикаго
14 000 улиц —
солнц площадей лучи.
От каждой —
700 переулков
длиною поезду нá год.
Чудно́ человеку в Чикаго!

В Чикаго
от света
солнце
не ярче грошовой свечи.
В Чикаго,
чтоб брови поднять,
и то
электрическая тяга.
В Чикаго
на версты
в небо
скачут
дорог стальные циркачи.
Чудно́ человеку в Чикаго!

В Чикаго
у каждого жителя
не менее генеральского чин.
А служба —
в барах быть,
кутить без забот и тя́гот.
Съестного
в чикагских барах
чего-чего не начу́дено!
Чудно́ человеку в Чикаго!
Чудно́ человеку!
И чу́дно!

В Чикаго
такой свирепеет грохот,
что грузовоз
с тысчесильной машиною
казался,
что ветрится тихая кроха,
что он
прошелёстывал тишью мышиною.

Русских
в город тот
не везет пароход,
не для нас дворцов этажи.
Я один там был,
в барах ел и пил,
попивал в барах с янками джин.
Может, пустят и вас,
не пустили пока —
начиняйтесь же и вы чудесами —
в скороходах-стихах,
в стихах-сапогах
исходи́те Америку сами!

Аэростанция
на небоскребе.
Вперед,
пружиня бока в дирижабле!

Сожмутся мосты до воробьих ребер.
Чикаго внизу
землею прижаблен.
А после,
с неба,
видные еле,
сорвавшись,
камнем в бездну спланируем.
Тоннелем
в метро
подземные версты выроем
и выйдем на площадь.
Народом запружена.
Версты шириною с три.

Отсюда начинается то, что нам нужно, —
«Королевская улица» —
по-ихнему
«Рóяль стрит».

Что за улица?
Что на ней стоит?

А стоит на ней —
Чипль-Стронг-Отель.
Да отель ли то
или сон?!
А в отеле том
в чистоте,
в теплоте
сам живет
Вудро
Вильсон.
Дом какой — не скажу.
А скажу когда,
то покорнейше прошу не верить.
Места нет такого, отойти куда,
чтоб всего его глазом обмерить.

То,
  что можно увидеть,
                                один уголок,
но и то
          такая диковина!
Посмотреть, например,
                                на решетки клок —
из гущённого солнца кована.
А с боков обойдешь —
                                гора не гора!
Верст на сотни,
                        а может, на тыщи.
За седьмое небо зашли флюгера.
Да и флюгер
                    не богом ли чищен?
Тоже лестница там!
                            Не пойдешь по ней!
Меж колоночек,
                        балкончиков,
                                    портиков
сколько в ней ступе́ней
и не счесть ступне —
ступене́й этих самых
                            до чертиков!
Коль пешком пойдешь —
                                идти молодой!
Да и то
          дойдешь ли старым!
А для лифтов —
                        трактиры по лестнице той,
чтоб не изголодались задаром.
А доехали —
                    если рады нам —
по пяти впускают парадным.
Триста комнат сначала гости идут.
Наконец дошли.
                        Какое!
Тут
опять начались покои.
Вас встречает лакей.
Булава в кулаке.
Так пройдешь лакеев пять.

И опять булава.
И опять лакей.
Залу кончишь —
лакей опять.
За лакеями
гуще еще
курьер.
Курьера курьер обгоняет в карьер.
Нет числа.
От числа такого
дух займет у щенка-Хлестакова.
И только
уставши
от страшных снований,
когда
не кажется больше,
что выйдешь,
а кажется,
нет никаких оснований,
чтоб кончилось это, —
приемную видишь.
Вход отсюда прост —
в триаршинный рост
секретарь стоит в дверях нем.
Приоткроем дверь.
По ступенькам — две —
приподымемся,
взглянем,
ахнем! —
То не солнце днем —
цилиндрище на нем
возвышается башней Сухаревой.
Динамитом плюет
и рыгает огнем,
рыжий весь,
и ухает ухарево.
Посмотришь вширь —
иоркширом иоркшир!
А длина —
и не скажешь, какая длина,
так далеко от ног голова удалена!

То ль заряжен чем,
то ли с присвистом зуб,
что ни звук —
бух пушки.
Люди — мелочь одна,
люди ходят внизу,
под ним стоят,
как избушки.
Щеки ж
такой сверхъестественной мякоти,
что сами просятся —
придите,
лягте.
А одежда тонка,
будто вовсе и нет —
из тончайшей поэтовой неги она.
Кальсоны Вильсона
не кальсоны — сонет,
сажени из ихнего Онегина.
А работает как!
Не покладает рук.
Может заработаться до смéрти.
Вертит пальцем большим
большого вокруг.
То быстрей,
то медленней вертит.
Повернет —
расчет где-нибудь
на заводе.
Мне
платить не хотят построчной платы.
Повернет —
Штраусы вальсы заводят,
золотым дождем заливает палаты.
Чтоб его прокормить,
поистратили рупь.
Обкормленный весь,
опóенный.
И на случай смерти,
не пропал чтоб труп,
салотопки стоят,
маслобойни.

Все ему
американцы отданы,
и они
гордо говорят:
— Я —
американский подданный.
Я —
свободный
американский гражданин. —
Под ним склоненные
стоят
его услужающих сонмы.
Вся зала полна
Линкольнами всякими,
Уитмэнами,
Эдисонами.
Свита его
из красавиц,
из самой отборнейшей знати.
Его шевеленья малейшего ждут.
Аделину
Патти
знаете?
Тоже тут!
В тесном смокинге стоит Уитмэн,
качалкой раскачивать в невиданном ритме.
Имея наивысший американский чин —
«заслуженный разглаживатель дамских морщин»,
стоит уже загримированный и в шляпе
всегда готовый запеть Шаляпин.
Паркеты песком соря,
рассыпчатые от старости стоят профессора.
Сам знаменитейший Мечников
стоит и снимает нагар с подсвечников.
Конечно,
ученых
сюда
привел
теорий потоп.

Художников
какое-нибудь
великолепнейшее
экольдебозар.
Ничего подобного!
Все
сошлись,
чтоб
ходить на базар.
Ежеутренне
все эти
любимцы муз и слав
нагрузятся корзинами,
идут на рынок
и несут,
несут
мяса́,
масла́.
Какой-нибудь король поэтов
Лонгфелло
сто волочит со сливками крынок.
Жрет Вильсон,
наращивает жир,
растут животы,
за этажом этажи.

Небольшое примечание:

художники
Вильсонов,
Ллойд Джорджев,
Клемансо
рисуют —
усатые,
безусые рожи —
и напрасно:
всё
это
одно и то же.

Теперь
довольно смеющихся глав нам.
В уме
Америку
ясно рисуете.
Мы переходим
к событиям главным.
К невероятной,
к гигантской сути.

День
этот
был
огнеупорный.
В разливе зноя зе́мли тихли.
Ветро́в иззубренные бороны
вотще старались воздух взрыхлить.
В Чикаго
жара непомерная:
градусов 100,
а 80 — наверное.
Все на пляже.
Кто могли — гуляли себе.
А в большей части лежали даже.
Пот
благоухал
на их холеном теле.
Ходили и пыхтели.
Лежали и пыхтели.
Барышни мопсиков на цепочках водили,
и
мопсик
раскормленный был,
как теленок.

Даме одной,
дремавшей в идиллии,
в ноздрю
сжаревший влетел мотыленок.
Некоторые вели оживленные беседы,
говорили «ах»,
говорили «ух».

С деревьев слетал пух.
Слетал с деревьев мимозовых.
Розовел
на белых шелках и кисеях.
Белел на розовых.

Так
довольно долго
все занимались
приятным времяпрепровождением.
Но уже
час тому назад
стало
кое-что
меняться.
Еле слышное,
разве только что кончиком души,
дуновенье какое-то.
В безветренном море
ширятся всплески.
Что такое?
Чего это ради ее?
А утром
в молнийном блеске
АТА
(Американское Телеграфное Агентство)
город таким шарахнуло радио:
«Страшная буря на Тихом океане.
Сошли с ума муссоны и пассаты.
На Чикагском побережье выловлены рыбы.
Очень странные.
В шерстях.
Носатые».

Вылазили сонные,
не успели еще обсудить явление,
а радио
спешные
вывешивало объявления:
«Насчет рыб ложь.
Рыбак спьяну местный.
Муссоны и пассаты на месте.
Но буря есть.
Даже еще страшней.
Причины неизвестны».
Выход судам запретили большие,
к ним
присоединились
маленькие пароходные компанийки.
Доллар пал.
Чемоданы нарасхват.
Биржа в панике.
Незнакомого
на улице
останавливали незнакомые —
не знает ли чего человек со стороны.
Экстренный выпуск!
Радио!
Выпуск экстренный!
«Радиограмма переврана.
Не бурь раскат.
Другое.
Грохот неприятельских эскадр».
Радио расклеили.
И, опровергая оное,
сейчас же
новое,
последнее,
захватывающее,
сенсационное.
«Не пушечный дым —
океанская синева.

Нет ни броненосцев,
ни флотов,
ни эскадр.
Ничего нет.
Иван».

Что Иван?
Какой Иван?
Откуда Иван?
Почему Иван?
Чем Иван?
Положения не было более запутанного.
Ни одного объяснения
достоверного,
путного.
Сейчас же собрался коронный совет.
Всю ночь во дворце беспокоился свет.
Министр Вильсона
Артур Крупп
заговорился так,
что упал, как труп.
Капитализма верный трезор,
совсем умаялся сам Крезо.
Вильсон
необычайное
проявил упорство
и к утру
решил —
иду в единоборство.
Беда надвигается.
Две тысячи верст.
Верст за тысячу.
За́ сто.
И...
очертанья идущего
заметили,
нащупали,
увидели маяки глазастые.

Строки
этой главы,
гремите,
время ритмом роя!
В песне —
миф о героях Гомера,
история Трои,
до неузнаваемости раздутая,
воскресни!

Голодный,
с теплом в единственный градус
жизни,
как милости да́ренной,
радуюсь,
ход твой следя легендарный.
Куда теперь?
Где пеш?
Какими идешь морями?
Молнию рвущихся депеш
холодным стихом орамим.
Ворвался в Дарданеллы Иванов разбег.
Турки
с разинутыми ртами
смотрят:
человек —
голова в Казбек! —
идет над Дарданелльскими фортами.
Старики улизнули.
Молодые на мол.
Вышли.
Песни бунта и молодости.
И лишь
до берега вал домёл,
и лишь волною до мола достиг —
бросились,
будто в долгожданном сигнале,
человек на человека,
класс на класс.

Одних короновали.
Других согнали.
Пешком по морю —
и скрылись из глаз.
Других глотает морская ванна,
другими
акула кровавая кутит,
а эти
вошли,
ввалились в Ивана
и в нем разлеглись,
как матросы в каюте.

(А в Чикаго
ничто не сулило пока
для чикагцев страшный час.
Изогнувшись дугой,
оттопырив бока,
веселились,
танцами мчась.)

Замерли римляне.
Буря на Тибре.
А Тибр,
взъярясь,
папе римскому голову выбрил
и пошел к Ивану сквозь утреннюю ясь.

(А в Чикаго,
усы в ликеры вваля,
выступ мяса облапив бабистый, —
Илл-ля-ля!
Олл-ля-ля! —
процелованный,
взголённый,
разухабистый.)

Черная ночь.
Без звездных фонарей.
К Вильсону,
скользя по водным массам,

коронованный поэтами
крадется Рейн,
слегка посвечивая голубым лампасом.

(А Чикаго
спит,
обтанцован,
опит,
рыхотелье подушками выхоля.
Синь уснула.
Сопит.
Море храпом храпит.
День встает.
Не расплатой на них ли?)

Идет Иван,
сиянием брезжит.
Шагает Иван,
прибоями брызжет.
Бежит живое.
Бежит, побережит.
Вулканом мир хорохорится рыже.
Этого вулкана нет на
составленной старыми географами карте.
Вселенная вся,
а не жалкая Этна,
народов лавой брызжущий кратер.
Ревя, несется
странами стертыми
живое и мертвое
от ливня лав.
Одни к Ивану бегут
с простертыми
руками,
другие — к Вильсону стремглав.
Из мелких фактов будничной тины
выявился факт один:
вдруг
уничтожились все середины —
нет на земле никаких середин.

Ни цветов,
ни оттенков,
ничего нет —
кроме
цвета, красящего в белый цвет,
и красного,
кровавящего цветом крови.
Багровое всё становилось багро́вей.
Белое всё белей и белее.
Иван
через царства
шагает по крови,
над миром справляя огней юбилеи.
Выходит, что крепости строили даром.
Заткнитесь, болтливые пушки!
Баста!
Над неприступным прошел Гибралтаром.
И мир
океаном Ивану распластан.

(А в Чикаго
на пляже
выводок шлюх
беснованием моря встревожен.
Погоняет время за слухом слух,
отпустив небылицам вожжи.)

Какой адмирал
в просторе намытом
так пути океанские выучит?!
Идет,
начиненный людей динамитом.
Идет,
всемирной злобою взрывчат.
В четыре стороны расплылось
тихоокеанское лоно.
Иван
без карт,
без компасной стрелки

шел
и видел цель неуклонно,
как будто
не с моря смотрел,
а с тарелки.

(А в Чикаго
до Вильсона
докатился вал,
брошенный Ивановой ходьбою.
Он боксеров,
стрелков,
фехтовальщиков сзывал,
чтобы силу наяривать к бою.)

Вот та́к открыватели,
так Колумбы
сияли,
когда
Ивану
до носа —
как будто
с тысячезапахой клумбы —
земли приближавшейся запах донесся.

(А в Чикаго
боксеров
распирает труд.
Положили Вильсона наземь
и...
ну тереть!
Натирают,
трут,
растирают силовыми мазями.)

Сверльнуло глаза́ маяка одноглазье —
и вот
в мозги,
в глаза,
в рот,

из всех океанских щелей вылазя,
Америка так и прет и прет.
Взбиралась с разбега верфь на верфь.
На виадук взлетал виадук.
Дымище такой,
что, в черта уверовав,
идешь, убежденный,
что ты в аду.

(Где Вильсона дряблость?
Сдули!
Смолодел на сорок годов.
Животами мышцы вздулись.
Ощупали.
Есть.
Готов.)

Доходит,
пеной волну опеня,
гигантам домам за крыши замча,
на берег выходит Иван
в Америке,
сухенький,
даже ног не замоча.

(Положили Вильсону последний заклеп
на его механический доспех,
шлем ему бронированный возвели на лоб,
и к Ивану он гонит спех.)

Чикагцы
себя
не любят
в тесных улицах пло́щить.
И без того
в Чикаго
площади самые лучшие.

Но даже
для чикагцев непомерная
площадь
была приготовлена для этого случая.

Люди,
место схватки орамив, —
пускай непомерное! —
сузили в узел.
С одной стороны —
с горностаем,
с бобрами,
с другой —
синевели в замасленной блузе.

Лошади
в кашу впутались
в ту же.
К бобрам —
арабский скакун,
к блузам —
тяжелые туши битюжьи.
Вздымают ржанье,
грозят рысаку.

Машины стекались, скользя на мази́.
На классы разбился
и вывоз
и ввоз.
К бобрам
изящный ушел лимузин,
к блузам
стал
стосильный грузовоз.

Ни песне,
ни краске не будет отсрочки,
бой вас решит — судия строгий.

К бобрам —
декадентов всемирных строчки.
К блузам —
футуристов железные строки.

Никто,
никто не избегнет возмездья —
звезде
и той
не уйти.
К бобрам становитесь,
генералы созвездья,
к блузам —
миллионы Млечного Пути.
Наружу выпустив скованные лавины,
земной шар самый
на две раскололся полушарий половины
и, застыв,
на солнце
повис весами.

Всеми сущими пушками
над
площадью объявлен был
«чемпионат
всемирной классовой борьбы!»
Вширь
ворота Вильсону —
верста,
и тó он
боком стал
и еле лез ими.

Сапожищами
подгибает бетон.
Чугунами гремит,
желéзами.

Во Ивана входящего вперился он —
осмотреть врага,
да нечего

смотре́ть —
ничего,
хорошо сложён,
цветом тела в рубаху просвечивал.

У того —
револьве́ры
в четыре курка,
сабля
в семьдесят лезвий гнута,
а у этого —
рука
и еще рука,
да и та
за пояс ткнута.

Смерил глазом.
Смешок по усам его.
Взвил плечом шитье эполетово:
«Чтобы я —
о господи! —
этого са́мого?
Чтобы я
не смог
вот этого?!»

И казалось —
растет могильный холм
посреди ветров обвываний.
Ляжет в гроб,
и отныне
никто,
никогда,
ничего
не услышит
о нашем Иване.

Сабля взвизгнула.
От плеча
и вниз
на четыре версты прорез.

Встал Вильсон и ждет —
кровь должна б,
а из
раны
вдруг
человек полез.
И пошло ж идти!
Люди,
дома,
броненосцы,
лошади
в прорез пролезают узкий.
С пением лезут.
В музыке.
О горе!
Прислали из северной Трои
начиненного бунтом человека-коня!
Метались чикагцы,
о советском строе
весть по оторопевшим рядам гоня.

Товарищи газетчики,
не допытывайтесь точно,
где была эта битва
и была ль когда.
В этой главе
в пятиминутье всредоточены
бывших и не бывших битв года.

Не Ленину стих умиленный.
В бою
славлю миллионы,
вижу миллионы,
миллионы пою.
Внимайте же, историки и витии,
битв не бывших видевшему перипетии!

«Вставай, проклятьем заклейменный», —
радостная выстрелила весть.

В ответ
миллионный
голос:
«Готово!»
«Есть!»
«Боже, Вильсона храни.
Сильный, державный», —
они
голос подняли ржавый.
Запела земли половина красную песню.
Земли половина белую песню запела.
И вот
за песней красной,
и вот
за песней за белой —
тараны затарахтели в запертое будущее,
лучей щетины заскребли,
замели.
Руки разрослись,
легко распутывающие
неведомые измерения души и земли.
Шарахнутые бунта веником
лавочники,
не доведя обычный торг,
разбежались ошпаренным муравейником
из банков,
магазинов,
конторок.
На толщь душивших набережных и дамб
к городам
из океанов
двинулась вода.
Столбы телеграфные то здесь,
то там
соборы вздергивали на провода.
Бросив насиженный фундамент,
за небоскребом пошел небоскреб,
как тигр в зверинце —
мясо
фунтами, —
пастью ворот особнячишки сгреб.

Сами себя из мостовых вынув, —
где, хозяин, лбище твой? —
в зеркальные стекла бриллиантовых магазинов
бросились булыжники мостовой.
Не боясь сесть нá мель,
не боясь на колокольни напороть туши,
просто —
как мы с вами —
шагали киты сушей.
Красное всё,
и всё, что бéло,
билось друг с другом,
билось и пело.

Танцевал Вильсон
во дворце кэк-уок,
заворачивал задом и передом,
да не доделала нога экивок,
в двери смотрит Вильсон,
а в двéри там —
непоколебимые,
походкой зловещею,
человек за человеком,
вещь за вещью
вваливаются в дверь в эту:
«Господа Вильсоны,
пожалте к ответу!»

И вот,
притворявшиеся добрыми,
колье
на Вильсоних
бросились кобрами.
Выбирая,
которая помягче и почище,
по гостиным
за миллиардершами
гонялись грузовичищи.

Не убежать!
Сороконогая
мебель раскинула лов.
Топтала людей гардеробами,
протыкала ножками столов.

Через Рокфеллеров,
валяющихся ничком,
с горлами,
сжимаемыми собственным воротничком,
растоптав,
как тараканов,
вывалилась,
в Чикаго канув.
По улицам
в саже́ни
дома не видно от дыма сражений.
Как в кинематографе
бывает —
вдруг
крупно —
видят:
сквозь хао́с
ползущую спекуляцию добивает,
встав на задние лапы,
Совнархоз.

Но Вильсон не сдается,
засел во дворце,
нажимает золотые пружины,
и выстраивается цепь —
нечеловеческие дружины.
Страшней, чем танки,
чем войск роты,
безбрюхий встал,
пошел сторотый,
мильонозубый
ринулся голод.

Город грызнет — орехом расколот.
Сгреб деревню — хрустнула косточкой.
А людей,
а людей и зверей —
просто в рот заправляет горсточкой.
Впереди его,
вывострив ухо,
путь расчищая, лезет разруха.
Дышит завод.
Разруха слышит.
Слышит разруха — фабрика дышит.
Грохнет по фабрике —
фабрика свалена.
Сдавит завод —
завод развалина.
Рельс обломком крушит, как палицей.
Всё разрушается,
гибнет,
валится.
Готовься!
К атаке!
Трудись!
Потей!
Горло голода,
разрухи глотку
затянем
петлей железнодорожных путей!
И когда пресекаться дух стран
стал,
голодом сперт,
тогда,
раскачивая поездов таран,
двинулся вперед транспорт.
Ветрилась паровозов борода седая,
бьются,
голод сдал,
и по нем,
остатки съедая,
груженные хлебом прошли поезда.

Искорежился, —
и во гневе
Вудро,
приказав:
«сразите сразу»,
новых воинов высылает рой —
смертоноснейшую заразу.
Идут закованные в грязевые брони
спирохет на спирохете,
вибрион на вибрионе.
Ядом бактерий,
лапами вшей
кровь поганят,
ползут за шей.
Болезни явились
небывалого фасона:
вдруг
человек
становится сонный,
высыпает рябо́,
распухает
и лопается грибом.
Двинулись,
предводимые некою
радугоглазой аптекою,
бутыли карболочные выдвинув в бойницы,
лазареты,
лечебницы,
больницы.
Вши отступили,
сгрудились скопом.
Вшей
в упор
расстреливали микроскопом.
Молотит и молотит дезинфекции цеп.
Враги легли,
ножки задрав.

А поверху,
размахивая флаг-рецепт,
прошел победителем мировой Наркомздрав.

Вырывается у Вильсона стон, —
и в болезнях побит и в еде,
и последнее войско высылает он —
ядовитое войско идей.
Демократизмы,
гуманизмы —
идут и идут
за измами измы.

Не успеешь разобраться,
чего тебе нужно,
а уже
философией
голова заталмужена.
Засасывали романсов тиной.
Пением завораживали.
Завлекали картиной.
Пустые головы
книжками
для веса
нагрузив,
пошел за профессором профессор.
Их
молодая встретила орава,
и дулам браунингов в провал
рухнуло римское право
и какие-то еще права.
Простонародью очки втирая,
адом пугая,
прельщая раем,
и лысые, как колено,
и мохнатые, как звери,
с евангелиями вер,
с заговорами суеверий,

рясами вздыбив пыль,
армией двинулись черно-белые попы.
Под градом декретов
                                        от красной лавины
рассыпались
                    попы,
                            муллы,
                                    раввины.
А ну, чудотворцы,
                                со смертных одр
встаньте-ка!
                        На месте кровавого спора
опора веры валяется —
                                    Петр
с проломанной головой собственного собора.
Тогда
            поэты взлетели нá небо,
чтоб сверху стрелять, как с аэроплана бы.
Их
      на приманку академического пайка
заманивали,
                        ждали, не спустятся пока.
Поэты бросались, камнем пав, —
в работу их,
                        перья рифм ощипав!
В «Полное собрание сочинений»,
                                                        как в норки,
классики забились.
                                Но жалости нет!
Напрасно
                их
                    наседкой
                                Горький
прикрыл,
                    распустив изношенный авторитет.
Фермами ног отмахивая мили,
кранами рук расчищая пути,

футуристы
прошлое разгромили,
пустив по ветру культуришки конфетти.

Стенкой в стенку,
валяясь в пыли,
билась с адмиралтейством
Лувра труха,
пока
у адмиралтейства
на штыке-шпиле
не повисли Лувра картинные потроха.

Последняя схватка.
Сам Вильсон.
И в ужасе видят вильсонцы —
испепелен он,
задом придавить пытавшийся солнце.
Кто вспомнит безвестных главковерхов имя,
победы громоздивших одна на одну?!
Загрохотав в международной Цусиме,
эскадра старья пошла ко дну.
Фабриками попирая прошедшего труп,
будущее загорланило триллионом труб:
«Авелем называйте нас
или Каином,
разница какая нам!
Будущее наступило!
Будущее победитель!
Эй, века,
на поклон идите!»
Горизонт перед солнцем расступился злюч.
И только что
мира пол заклавший,
Каин гением взялся за луч,
как музыкант берется за клавиши.

История,
в этой главе
как на ладони бег твой.
Голодая и ноя,
города расступаются,
и над пылью проспектовой
солнцем встает бытие иное.

Год с нескончаемыми нулями.
Праздник, в святцах
не имеющий чина.
Выфлажено всё.
И люди
и строения.
Может быть,
Октябрьской революции сотая годовщина,
может быть,
просто
изумительнейшее настроение.
Разгоняя дирижабли небесам под уклон,
поездами,
на палубах бесчисленных эскадр,
извилинами пеших колонн
за кадром выстраивают человечий кадр.

Большеголовые,
в красном сияньи,
с Марса слетевшие, встали марсияне.
Взыграет аэро,
и снова нет.
И снова птицей солнце заслóнится.
И снова
с отдаленнейших слетаются планет,
винтами развеерясь из-за солнца.
Пустыни смыты у мира с хари,
деревья за стволом расфееˊрили ствол.

На площади зелени —
на бывшей Сахаре —
сегодня
ежегоднее торжество.

День за днем спускались дни,
и снова густела тьма ночная.
Прежде чем выстроиться сумев,
они
грянули:
— Начинаем!

«Голоса людские,
зверьи голоса,
рев рек
ввысь славословием вьем.
Пойте все и все слушайте
мира торжественный реквием.

Вам, давнишние,
года проголодавшие,
о рае сегодняшнем раструбливая весть,
вам,
мильонолетию давшие
петь,
пить,
есть.
Вам, женщины,
рожденные под горностаевы
мантии,
тело в лохмотья рядя,
падавшие замертво,
за хлебом простаивая
в неисчислимых очередях.
Вам,
легионы жидкокостых детей,
толпы искривленной голодом молодежи,
те, кто дожи́ли до чего-то,
и те,
кто ни до чего не до́жил.

Вам,
звери,
ребрами сквозя,
забывшие о съеденном людьми овсе,
работавшие, кого-то и что-то возя,
пока исхлестанные не падали совсем.
Вам,
расстрелянные на баррикадах духа,
чтоб дни сегодняшние были пропеты,
будущее ловившие в ненасытное ухо,
маляры,
певцы,
поэты.
Вам, которые
сквозь дым и чад,
жизнью, едва державшейся на иотке,
ржавым железом, шестерней скрежеща,
работали всё-таки,
делали всё-таки.
Вам неумолкающих слав слова,
ежегодно расцветающие, вовеки не вянув,
за нас замученные, — слава вам,
миллионы живых,
кирпичных
и прочих Иванов».

Парад мировой расходился ровно, —
ведь горе давнишнее душу не бесит.
Годами
печаль
в покой воркестрована
и песней брошена ввысь поднебесить.
Еще гудят голосов отголоски
про смерти чьи-то,
про память вечную.
А люди
уже
в многоуличном лоске
катили минуту, весельем расцвеченную.

Ну и катись средь песенного лада,
цвети, земля, в молотьбе и в сеятьбе.
Это тебе
революций кровавая Илиада!
Голодных годов Одиссея тебе!

1919 — март 1920

ЛЮБЛЮ

Обыкновенно так

Любовь любому рожденному дадена, —
но между служб,
доходов
и прочего
со дня нá день
очерствевает сердечная почва.
На сердце тело надето,
на тело — рубаха.
Но и этого мало!
Один —
идиот! —
манжеты наделал
и груди стал заливать крахмалом.
Под старость спохватятся.
Женщина мажется.
Мужчина по Мюллеру мельницей машется.
Но поздно.
Морщинами множится кожица.
Любовь поцветет,
поцветет —
и скукожится.

Мальчишкой

Я в меру любовью был одаренный.
Но с детства
людьё
трудами муштровано.
А я —
убёг на берег Риона
и шлялся,
ни чёрта не делая ровно.
Сердилась мама:
«Мальчишка паршивый!»
Грозился папаша поясом выстегать.
А я,
разживясь трехрублевкой фальшивой,
играл с солдатьём под забором в «три
листика».
Без груза рубах,
без башмачного груза
жарился в кутаисском зное.
Вворачивал солнцу то спину,
то пузо —
пока под ложечкой не заноет.
Дивилось солнце:
«Чуть виден весь-то!
А тоже —
с сердечком.
Старается малым!
Откуда
в этом
в аршине
место —
и мне,
и реке,
и стовёрстым скалам?!»

Юношей

Юношеству занятий масса.
Грамматикам учим дурней и дур мы.
Меня ж
из 5-го вышибли класса.

Пошли швырять в московские тюрьмы.
В вашем
квартирном
маленьком мирике
для спален растут кучерявые лирики.
Что выищешь в этих болоночьих лириках?!
Меня вот
любить
учили
в Бутырках.
Что мне тоска о Булонском лесе?!
Что мне вздох от видов на́ море?!
Я вот
в «Бюро похоронных процессий»
влюбился
в глазок 103 камеры.
Глядят ежедневное солнце,
зазна́ются.
«Чего, мол, стоют лучёнышки эти?»
А я
за стенного
за желтого зайца
отдал тогда бы — всё на свете.

Мой университет

Французский знаете.
Де́лите.
Множите.
Склоняете чу́дно.
Ну и склоняйте!
Скажите —
а с домом спеться
можете?
Язык трамвайский вы понимаете?
Птенец человечий
чуть только вывелся —
за книжки рукой,
за тетрадные дести.
А я обучался азбуке с вывесок,
листая страницы железа и жести.

Землю возьмут,
обкорнав,
ободрав ее, —
учат.
И вся она — с крохотный глобус.
А я
боками учил географию, —
недаром же
наземь
ночёвкой хлопаюсь!
Мутят Иловайских больные вопросы:
— Была ль рыжа борода Барбароссы? —
Пускай!
Не копаюсь в пропы́ленном вздоре я —
любая в Москве мне известна история!
Берут Добролюбова (чтоб зло ненавидеть), —
фамилья ж против,
скулит родовая.
Я
жирных
с детства привык ненавидеть,
всегда себя
за обед продавая.
Научатся,
сядут —
чтоб нравиться даме,
мыслишки звякают лбёнками медненькими.
А я
говорил
с одними домами.
Одни водокачки мне собеседниками.
Окном слуховым внимательно слушая,
ловили крыши — что брошу в уши я.
А после
о ночи
и друг о друге
трещали,
язык ворочая — флюгер.

Взрослое

У взрослых дела.
В рублях карманы.
Любить?
Пожалуйста!
Рубликов зá сто.
А я,
бездомный,
ручища
в рваный
в карман засунул
и шлялся, глазастый.
Ночь.
Надеваете лучшее платье.
Душой отдыхаете на женах, на вдовах.
Меня
Москва душила в объятьях
кольцом своих бесконечных Садовых.
В сердца,
в часишки
любовницы тикают.
В восторге партнеры любовного ложа.
Столиц сердцебиение дикое
ловил я,
Страстнóю площадью лёжа.
Враспашку —
сердце почти что снаружи —
себя открываю и солнцу и луже.
Входите страстями!
Любовями влазьте!
Отныне я сердцем править не властен.
У прочих знаю сердца дом я.
Оно в груди — любому известно!
На мне ж
с ума сошла анатомия.
Сплошное сердце —
гудит повсеместно.
О, сколько их,
одних только вёсен,
за 20 лет в распалённого ввалено!
Их груз нерастраченный — просто несносен.

Несносен не так,
для стиха,
а буквально.

Что вышло

Больше чем можно,
больше чем надо —
будто
поэтовым бредом во сне навис —
комок сердечный разросся громадой:
громада любовь,
громада ненависть.
Под ношей
ноги
шагали шатко —
ты знаешь,
я же
ладно слажен, —
и всё же
тащусь сердечным придатком,
плеч подгибая косую сажень.
Взбухаю стихов молоком
— и не вылиться —
некуда, кажется — полнится заново.
Я вытомлен лирикой —
мира кормилица,
гипербола
праобраза Мопассанова.

Зову

Подня́л силачом,
понес акробатом.
Как избирателей сзывают на митинг,
как сёла
в пожар
созывают набатом —

я звал:
«А вот оно!
Вот!
Возьмите!»
Когда
такая махина ахала —
не глядя,
пылью,
грязью,
сугробом, —
дамьё
от меня
ракетой шарахалось:
«Нам чтобы поменьше,
нам вроде тангó бы...»
Нести не могу —
и несу мою ношу.
Хочу ее бросить —
и знаю,
не брошу!
Распора не сдержат рёбровы дуги.
Грудная клетка трещала с натуги.

Ты

Пришла —
деловито,
за рыком,
за ростом,
взглянув,
разглядела просто мальчика.
Взяла,
отобрала сердце
и просто
пошла играть —
как девочка мячиком.
И каждая —
чудо будто видится —
где дама вкопалась,
а где девица.
«Такого любить?

Да этакий ринется!
Должно, укротительница.
Должно, из зверинца!»
А я ликую.
Нет его —
ига!
От радости себя не помня,
скакал,
индейцем свадебным прыгал,
так было весело,
было легко мне.

Невозможно

Один не смогу —
не снесу рояля
(тем более —
несгораемый шкаф).
А если не шкаф,
не рояль,
то я ли
сердце снес бы, обратно взяв.
Банкиры знают:
«Богаты без края мы.
Карманов не хватит —
кладем в несгораемый».
Любовь
в тебя —
богатством в железо —
запрятал,
хожу
и радуюсь Крезом.
И разве,
если захочется очень,
улыбку возьму,
пол-улыбки
и мельче,
с другими кутя,
протрачу в полнóчи
рублей пятнадцать лирической мелочи.

Так и со мной

Флоты — и то стекаются в гавани.
Поезд — и то к вокзалу гонит.
Ну а меня к тебе и подавней —
я же люблю! —
тянет и клонит.
Скупой спускается пушкинский рыцарь
подвалом своим любоваться и рыться.
Так я
к тебе возвращаюсь, любимая.
Мое это сердце,
любуюсь моим я.
Домой возвращаетесь радостно.
Грязь вы
с себя соскребаете, бреясь и моясь.
Так я
к тебе возвращаюсь, —
разве,
к тебе идя,
не иду домой я?!
Земных принимает земное лоно.
К конечной мы возвращаемся цели.
Так я
к тебе
тянусь неуклонно,
еле расстались,
развиделись еле.

Вывод

Не смоют любовь
ни ссоры,
ни вёрсты.
Продумана,
выверена,
проверена.
Подъемля торжественно стих строкопёрстый,
клянусь —
люблю
неизменно и верно!

Ноябрь 1921 — февраль 1922

ПРО ЭТО

Про что — про это?

В этой теме,
　　　　　　　и личной
　　　　　　　　　　　и мелкой,
перепетой не раз
　　　　　　　　и не пять,
я кружил поэтической белкой
и хочу кружиться опять.
Эта тема
　　　　сейчас
　　　　　　　и молитвой у Будды,
и у негра вострит на хозяев нож.
Если Марс,
　　　　　и на нем хоть один сердцелюдый,
то и он
　　　сейчас
　　　　　　скрипит
　　　　　　　　　про то ж.
Эта тема придет,
　　　　　　　　калеку за локти
подтолкнет к бумаге,
　　　　　　　　　прикажет:
　　　　　　　　　　　　　— Скреби! —
И калека
　　　　с бумаги
　　　　　　　срывается в клёкоте,
только строчками в солнце песня рябит.
Эта тема придет,
　　　　　　　　позвонится с кухни,

повернется,
сгинет шапчонкой гриба,
и гигант
постоит секунду
и рухнет,
под записочной рябью себя погребя.
Эта тема придет,
прикажет:
— Истина! —
Эта тема придет,
велит:
— Красота! —
И пускай
перекладиной кисти раскистены —
только вальс под нос мурлычешь с креста.
Эта тема азбуку тронет разбегом —
уж на что б, казалось, книга ясна! —
и становится
— *А* —
недоступней Казбека.
Замутит,
оттянет от хлеба и сна.
Эта тема придет,
вовек не износится,
только скажет:
— Отныне гляди на меня! —
И глядишь на нее,
и идешь знаменосцем,
красношелкий огонь над землей знаменя.
Это хитрая тема!
Нырнет под события,
в тайниках инстинктов готовясь к прыжку,
и как будто ярясь
— посмели забыть ее! —
затрясет;
посыпятся души из шкур.
Эта тема ко мне заявилась гневная,
приказала:
— Подать
дней удила! —
Посмотрела, скривясь, в мое ежедневное
и грозой раскидала людей и дела.

Эта тема пришла,
остальные оттерла
и одна
безраздельно стала близка.
Эта тема ножом подступила к горлу.
Молотобоец!
От сердца к вискам.
Эта тема день истемнила, в темень
колотись — велела — строчками лбов.
Имя
этой
теме:
. . . . . . !

I

Баллада Редингской тюрьмы

Стоял — вспоминаю.
Был этот блеск.
И это
тогда
называлось Невою.

Маяковский, «Человек»
(13 лет работы, т. 2, стр. 77).

О балладе и о балладах

Немолод очень лад баллад,
но если слова болят
и слова говорят про то, что болят,
молодеет и лад баллад.
Лубянский проезд.
Водопьяный.
Вид
вот.
Вот
фон.
В постели она.
Она лежит.
Он.
На столе телефон.
«Он» и «она» баллада моя.
Не страшно нов я.

Страшно то,
что «он» — это я
и то, что «она» —
моя.
При чем тюрьма?
Рождество.
Кутерьма.
Без решеток окошки домика!
Это вас не касается.
Говорю — тюрьма.
Стол.
На столе соломинка.

По кабелю пущен номер

Тронул еле — волдырь на теле.
Трубку из рук вон.
Из фабричной марки —
две стрелки яркие
омолниили телефон.
Соседняя комната.
Из соседней
сонно:
— Когда это?
Откуда это живой поросенок? —
Звонок от ожогов уже визжит,
добела раскален аппарат.
Больна она!
Она лежит!
Беги!
Скорей!
Пора!
Мясом дымясь, сжимаю жжение.
Моментально молния телом забегала.
Стиснул миллион вольт напряжения.
Ткнулся губой в телефонное пекло.
Дыры
сверля
в доме,
взмыв
Мясницкую
пашней,
рвя
кабель,
номер

пулей
летел
барышне.
Смотрел осовело барышнин глаз, —
под праздник работай за двух.
Красная лампа опять зажглась.
Позвонила!
Огонь потух.
И вдруг
как по лампам пошло́ куролесить,
вся сеть телефонная рвется на нити.
— 67-10!
Соедините! —
В проулок!
Скорей!
Водопьяному в тишь!
Ух!
А то с электричеством станется —
под Рождество
на воздух взлетишь
со всей
со своей
телефонной
станцией.
Жил на Мясницкой один старожил.
Сто лет после этого жил, —
про это лишь —
сто лет! —
говаривал детям дед.
— Было — суббота...
под воскресенье...
Окорочок...
Хочу, чтоб дешево...
Как вдарит кто-то!..
Землетрясенье...
Ноге горячо...
Ходун — подошва!.. —
Не верилось детям,
чтоб так-то
да там-то.
Землетрясенье?
Зимой?
У почтамта?!

Телефон бросается на всех

Протиснувшись чудом сквозь тоненький шнур,
раструба трубки разинув оправу,
погромом звонков громя тишину,
разверг телефон дребезжащую лаву.
Это визжащее,
звенящее это
пальнуло в стены,
старалось взорвать их.
Звоночинки
тыщей
от стен
рикошетом
под стулья закатывались
и под кровати.
Об пол с потолка звонóчище хлопал.
И снова,
звенящий мячище точно,
взлетал к потолку, ударившись óб пол,
и сыпало вниз дребезгою звоночной.
Стекло за стеклом,
вьюшку за вьюшкой
тянуло
звенеть телефонному в тон.
Тряся
ручоночкой
дом-погремушку,
тонул в разливе звонков телефон.

Секундантша

От сна
чуть видно —
точка глаз
иголит щеки жаркие.
Ленясь, кухарка поднялась,
идет,
кряхтя и харкая.
Моченым яблоком она.
Морщинят мысли лоб ее.
— Кого?
Владим Владимыч?!
А! —
Пошла, туфлёю шлепая.

Идет.
Отмеряет шаги секундантом.
Шаги отдаляются...
Слышатся еле...
Весь мир остальной отодвинут куда-то,
лишь трубкой в меня неизвестное целит.

Просветление мира

Застыли докладчики всех заседаний,
не могут закончить начатый жест.
Как были,
рот разинув,
сюда они
смотрят на Рождество из Рождеств.
Им видима жизнь
от дрязг и до дрязг.
Дом их —
единая будняя тина.
Будто в себя,
в меня смотрясь,
ждали
смертельной любви поединок.
Окаменели сиренные рокоты.
Колес и шагов суматоха не вертит.
Лишь поле дуэли
да время-доктор
с бескрайним бинтом исцеляющей смерти.
Москва —
за Москвой поля примолкли.
Моря —
за морями горы стройны.
Вселенная
вся
как будто в бинокле,
в огромном бинокле (с другой стороны).
Горизонт распрямился
ровно-ровно.
Тесьма.
Натянут бечевкой тугой.
Край один —
я в моей комнате,
ты в своей комнате — край другой.

А между —
такая,
какая не снится,
какая-то гордая белой обновой,
через вселенную
легла Мясницкая
миниатюрой кости слоновой.
Ясность.
Прозрачнейшей ясностью пытка.
В Мясницкой
деталью искуснейшей выточки
кабель
тонюсенький —
ну, просто нитка!
И всё
вот на этой вот держится ниточке.

Дуэль

Раз!
Трубку наводят.
Надежду
брось.
Два!
Как раз
остановилась,
не дрогнув,
между
моих
мольбой обволокнутых глаз.
Хочется крикнуть медлительной бабе:
— Чего задаетесь?
Стоите Дантесом.
Скорей,
скорей просверлите сквозь кабель
пулей
любого яда и веса. —
Страшнее пуль —
оттуда
сюда вот,
кухаркой оброненное между зевот,

проглоченным кроликом в брюхе удава
по кабелю,
вижу,
слово ползет.
Страшнее слов —
из древнейшей древности,
где самку клыком добывали люди еще,
ползло
из шнура —
скребущейся ревности
времен троглодитских тогдашнее чудище.
А может быть...
Наверное, может!
Никто в телефон не лез и не лезет,
нет никакой троглодичьей рожи.
Сам в телефоне.
Зеркалюсь в железе.
Возьми и пиши ему ВЦИК циркуляры!
Пойди — эту правильность с Эрфуртской сверь!
Сквозь первое горе
бессмысленный,
ярый,
мозг поборов,
проскребается зверь.

Что может сделаться с человеком!

Красивый вид.
Товарищи!
Взвесьте!
В Париж гастролировать едущий летом,
поэт,
почтенный сотрудник «Известий»,
царапает стул когтём из штиблета.
Вчера человек —
единым махом
клыками свой размедведил вид я!
Косматый.
Шерстью свисает рубаха.
Тоже туда ж?!
В телефоны бабахать?!
К своим пошел!
В моря ледовитые!

Раз-медве-женье

Медведем,
когда он смертельно сердится,
на телефон
грудь
на врага тяну.
А сердце
глубже уходит в рогатину!
Течет.
Ручьища красной меди.
Рычанье и кровь.
Лакай, темнота!
Не знаю,
плачут ли,
нет медведи,
но если плачут,
то именно так.
То именно так:
без сочувственной фальши
скулят,
заливаясь ущельной длиной.
И именно так их медвежий Бальшин,
скуленьем разбужен, ворчит за стеной.
Вот так медведи именно могут:
недвижно,
задравши морду,
как те,
повыть,
извыться
и лечь в берлогу,
царапая логово в двадцать когтей.
Сорвался лист.
Обвал.
Беспокоит.
Винтовки-шишки
не грохнули б враз.
Ему лишь взмедведиться может такое
сквозь слезы и шерсть, бахромящую глаз.

Протекающая комната

Кровать.
Железки.
Барахло одеяло.
Лежит в железках.
Тихо.
Вяло.
Трепет пришел.
Пошел по железкам.
Простынь постельная треплется плеском.
Вода лизнула холодом ногу.
Откуда вода?
Почему много?
Сам наплакал.
Плакса.
Слякоть.
Неправда —
столько нельзя наплакать.
Чёртова ванна!
Вода за диваном.
Под столом,
за шкафом вода.
С дивана,
сдвинут воды задеваньем,
в окно проплыл чемодан.
Камин...
Окурок...
Сам кинул.
Пойти потушить.
Петушится.
Страх.
Куда?
К какому такому камину?
Верста.
За верстою берег в кострах.
Размыло всё,
даже запах капустный
с кухни
всегдашний,
приторно сладкий.
Река.
Вдали берега.
Как пусто!

Как ветер воет вдогонку с Ладоги!
Река.
Большая река.
Холодина.
Рябит река.
Я в середине.
Белым медведем
взлез на льдину,
плыву на своей подушке-льдине.
Бегут берега,
за видом вид.
Подо мной подушки лед.
С Ладоги дует.
Вода бежит.
Летит подушка-плот.
Плыву.
Лихорадюсь на льдине-подушке.
Одно ощущенье водой не вымыто:
я должен
не то под кроватные дужки,
не то
под мостом проплыть под каким-то.
Были вот так же:
ветер да я.
Эта река!..
Не эта.
Иная.
Нет, не иная!
Было —
стоял.
Было — блестело.
Теперь вспоминаю.
Мысль растет.
Не справлюсь я с нею.
Назад!
Вода не выпустит плот.
Видней и видней...
Ясней и яснее...
Теперь неизбежно...
Он будет!
Он вот!!!

Человек из-за 7-ми лет

Волны устои стальные моют.
Недвижный,
страшный,
упершись в бока
столицы,
в отчаяньи созданной мною,
стоит
на своих стоэтажных быках.
Небо воздушными скрепами вышил.
Из вод феерией стали восстал.
Глаза подымаю выше,
выше...
Вон!
Вон —
опершись о перила мостá...
Прости, Нева!
Не прощает,
гонит.
Сжалься!
Не сжалился бешеный бег.
Он!
Он —
у небес в воспаленном фоне,
прикрученный мною, стоит человек.
Стоит.
Разметал изросшие волосы.
Я уши лаплю.
Напрасные мнешь!
Я слышу
мой,
мой собственный голос.
Мне лапы дырявит голоса нож.
Мой собственный голос —
он молит,
он просится:
— Владимир!
Остановись!
Не покинь!

Зачем ты тогда не позволил мне
броситься!
С размаху сердце разбить о быки?
Семь лет я стою.
Я смотрю в эти воды,
к перилам прикручен канатами строк.
Семь лет с меня глаз эти воды не сводят.
Когда ж,
когда ж избавления срок?
Ты, может, к ихней примазался касте?
Целуешь?
Ешь?
Отпускаешь брюшко?
Сам
в ихний быт,
в их семейное счастье
намéреваешься пролезть петушком?!
Не думай! —
Рука наклоняется вниз его.
Грозится
сухой
в подмостную кручу. —
Не думай бежать!
Это я
вызвал.
Найду.
Загоню.
Доконаю.
Замучу!
Там,
в городе,
праздник.
Я слышу гром его.
Так что ж!
Скажи, чтоб явились они.
Постановленье неси исполкомово.
Мýку мою конфискуй,
отмени.

Пока
по этой
по Невской
по глуби
спаситель-любовь
не придет ко мне,
скитайся ж и ты,
и тебя не полюбят.
Греби!
Тони меж домовьих камней! —

Спасите!

Стой, подушка!
Напрасное тщенье.
Лапой гребу —
плохое весло.
Мост сжимается.
Невским течением
меня несло,
несло и несло.
Уже я далёко.
Я, может быть, за́ день.
За де́нь
от тени моей с моста.
Но гром его голоса гонится сзади.
В погоне угроз паруса распластал.
— Забыть задумал невский блеск?!
Ее заменишь?!
Некем!
По гроб запомни переплеск,
плескавший в «Человеке». —
Начал кричать.
Разве это осилите?!
Буря басит —
не осилить вовек.
Спасите! Спасите! Спасите! Спасите!
Там
на мосту
на Неве
человек!

II

Ночь под Рождество

Фантастическая реальность

Бегут берега —
за видом вид.
Подо мной —
подушка-лед.
Ветром ладожским гребень завит.
Летит
льдышка-плот.
Спасите! — сигналю ракетой слов.
Падаю, качкой добитый.
Речка кончилась —
море росло.
Океан —
большой до обиды.
Спасите!
Спасите!..
Сто раз подряд
реву батареей пушечной.
Внизу
подо мной
растет квадрат,
остров растет подушечный.
Замирает, замирает,
замирает гул.
Глуше, глуше, глуше...
Никаких морей.
Я —
на снегу.
Кругом —
вёрсты суши.
Суша — слово.
Снегами мокра.
Подкинут метельной банде я.
Что за земля?
Какой это край?
Грен-
лап-
люб-ландия?

Больбыли Из облака вызрела лунная дынка,
стену́ постепенно в тени оттеня.
Парк Петровский.
Бегу.
Ходынка
за мной.
Впереди Тверской простыня.
А-у-у-у!
К Садовой аж выкинул «у»!
Оглоблей
или машиной,
но только
мордой
аршин в снегу.
Пулей слова матерщины.
«От нэпа ослеп?!
Для чего глаза впря́жены?!
Эй, ты!
Мать твою разнэп!
Ряженый!»
Ах!
Да ведь
я медведь.
Недоразуменье!
Надо —
прохожим,
что я не медведь,
только вышел похожим.

Спаситель Вон
от заставы
идет человечек.
За шагом шаг вырастает короткий.
Луна
голову вправила в венчик.
Я уговорю,
чтоб сейчас же,
чтоб в лодке.
Это — спаситель!
Вид Иисуса

Спокойный и добрый,
венчанный в луне.
Он ближе.
Лицо молодое безусо.
Совсем не Исус.
Нежней.
Юней.
Он ближе стал,
он стал комсомольцем.
Без шапки и шубы.
Обмотки и френч.
То сложит руки,
будто молится.
То машет,
будто на митинге речь.
Вата снег.
Мальчишка шел по вате.
Вата в золоте —
чего уж пошловатей?!
Но такая грусть,
что стой
и грустью ранься!
Расплывайся в процыганенном романсе.

Романс

Мальчик шел, в закат глаза уставя.
Был закат непревзойдимо желт.
Даже снег желтел к Тверской заставе.
Ничего не видя, мальчик шел.
Шел,
вдруг
встал.
В шелк
рук
сталь.
С час закат смотрел, глаза уставя,
за мальчишкой легшую кайму.
Снег хрустя разламывал суставы.
Для чего?
Зачем?
Кому?

Был вором-ветром мальчишка обыскан.
Попала ветру мальчишки записка.
Стал ветер Петровскому парку звонить:
— Прощайте...
Кончаю...
Прошу не винить...

Ничего не поделаешь

До чего ж
на меня похож!
Ужас.
Но надо ж!
Дернулся к луже.
Залитую курточку стягивать стал.
Ну что ж, товарищ!
Тому еще хуже —
семь лет он вот в это же смотрит с моста.
Напялил еле —
другого калибра.
Никак не намылишься —
зубы стучат.
Шерстищу с лапищ и с мордищи выбрил.
Гляделся в льдину...
бритвой луча...
Почти,
почти такой же самый.
Бегу.
Мозги шевелят адресами.
Во-первых,
на Пресню,
туда,
по задворкам.
Тянет инстинктом семейная норка.
За мной
всероссийские,
теряясь точкой,
сын за сыном,
дочка за дочкой.

Всехные родители

— Володя!
На Рождество!
Вот радость!
Радость-то во!.. —
Прихожая тьма.
Электричество комната.
Сразу —
наискось лица родни.
— Володя!
Господи!
Что это?
В чем это?
Ты в красном весь.
Покажи воротник!
— Не важно, мама,
дома вымою.
Теперь у меня раздолье —
вода.
Не в этом дело.
Родные!
Любимые!
Ведь вы меня любите?
Любите?
Да?
Так слушайте ж!
Тетя!
Сестры!
Мама!
Тушите елку!
Заприте дом!
Я вас поведу...
вы пойдете...
Мы прямо...
сейчас же...
все
возьмем и пойдем.
Не бойтесь —
это совсем недалёко —
600 с небольшим этих крохотных верст.
Мы будем там во мгновение ока.
Он ждет.
Мы вылезем прямо на мост.

— Володя,
родной,
успокойся! —
Но я им
на этот семейственный писк голосков:
— Так что ж?!
Любовь заменяете чаем?
Любовь заменяете штопкой носков?

Путешествие с мамой

Не вы —
не мама Альсандра Альсеевна.
Вселенная вся семьею засеяна.
Смотрите,
мачт корабельных щетина —
в Германию врезался Одера клин.
Слезайте, мама,
уже мы в Штеттине.
Сейчас,
мама,
несемся в Берлин.
Сейчас летите, мотором урча, вы:
Париж,
Америка,
Бруклинский мост,
Сахара,
и здесь
с негритоской курчавой
лакает семейкой чаи негритос.
Сомнете периной
и волю
и камень.
Коммуна —
и то завернется комом.
Столетия
жили своими домками
и нынче зажили своим домкомом!
Октябрь прогремел,
карающий,
судный.
Вы
под его огнепёрым крылом
расставились,
разложили посудины.

Паучьих волос не расчешешь колом.
Исчезни, дом,
родимое место!
Прощайте! —
Отбросил ступéней последок. —
Какое тому поможет семейство?!
Любовь цыплячья!
Любвишка наседок!

Пресненские миражи

Бегу и вижу —
всем в виду
кудринскими вышками
себе навстречу
сам
иду
с подарками под мышками.
Мачт крестами на буре распластан,
корабль кидает балласт за балластом.
Будь проклята,
опустошенная легкость!
Домами оскалила скáлы далекость.
Ни люда, ни заставы нет.
Горят снега,
и гóло.
И только из-за ставенек
в огне иголки елок.
Ногам вперекор,
тормозами на быстрые
вставали стены, окнами выстроясь.
По стеклам
тени
фигурками тира
вертелись в окне,
зазывали в квартиры.
С Невы не сводит глаз,
продрог,
стоит и ждет —
помогут.
За первый встречный за порог
закидываю ногу.
В передней пьяный проветривал бредни.

Стрезвел и дернул стремглав из передней.
Зал заливался минуты две:
— Медведь,
медведь,
медведь,
медв-е-е-е-е... —

Муж Феклы Давидовны со мной и со всеми знакомыми

Потом,
извертясь вопросительным знаком,
хозяин полглаза просунул:
— Однако!
Маяковский!
Хорош медведь! —
Пошел хозяин любезностями медоветь:
— Пожалуйста!
Прошу-с.
Ничего —
я боком.
Нечаянная радость-с, как сказано у Блока.
Жена — Фекла Двидна.
Дочка —
точь-в-точь
в меня, видно, —
семнадцать с половиной годочков.
А это...
Вы, кажется, знакомы?! —
Со страха к мышам ушедшие в норы,
из-под кровати полезли партнеры.
Усища —
к стеклам ламповым пыльники —
из-под столов пошли собутыльники.
Ползут с-под шкафа чтецы, почитатели.
Весь безлицый парад подсчитать ли?
Идут и идут процессией мирной.
Блестят из бород паутиной квартирной.
Всё так и стоит столетья,
как было.
Не бьют —
и не тронулась быта кобыла.
Лишь вместо хранителей ду́хов и фей
ангел-хранитель —
жилец в галифе.

Но самое страшное:
по росту,
по коже,
одеждой,
сама походка моя! —
в одном
узнал —
близнецами похожи —
себя самого —
сам
я.
С матрацев,
вздымая постельные тряпки,
клопы, приветствуя, подняли лапки.
Весь самовар рассиялся в лучики —
хочет обнять в самоварные ручки.
В точках от мух
веночки
с обоев
венчают голову сами собою.
Взыграли туш ангелочки-горнисты,
пророзовев из иконного глянца.
Исус,
приподняв
венок тернистый,
любезно кланяется.
Маркс,
впряженный в алую рамку,
и то тащил обывательства лямку.
Запели птицы на каждой на жердочке,
герани в ноздри лезут из кадочек.
Как были
сидя сняты
на корточках,
радушно бабушки лезут из карточек.
Раскланялись все,
осклабились враз;
кто басом фразу,
кто в дискант
дьячком.

— С праздничком!
С праздничком!
С праздничком!
С праздничком!
С празд-
нич-
ком! —
Хозяин
то тронет стул,
то дунет,
сам со скатерти крошки вымел.
— Да я не знал!..
Да я б накануне...
Да, я думаю, занят...
Дом...
Со своими...

Бессмысленные просьбы

Мои свои?!
Д-а-а-а —
это особы.
Их ведьма разве сыщет на венике!
Мои свои
с Енисея
да с Оби
идут сейчас,
следят четвереньки.
Какой мой дом?!
Сейчас с него.
Подушкой-льдом
плыл Невой —
мой дом
меж дамб
стал льдом,
и там...
Я брал слова
то самые вкрадчивые,
то страшно рыча,
то вызвоня лирово.
От выгод —
на вечную славу сворачивал,
молил,
грозил,
просил,
агитировал.

— Ведь это для всех...
для самих...
для вас же...
Ну, скажем, «Мистерия» —
ведь не для себя ж?!
Поэт там и прочее...
Ведь каждому важен...
Не только себе ж —
ведь не личная блажь...
Я, скажем, медведь, выражаясь грубо...
Но можно стихи...
Ведь сдирают шкуру?!
Подкладку из рифм поставишь —
и шуба!..
Потом у камина...
там кофе...
курят...
Дело пустяшно:
ну, минут на десять...
Но нужно сейчас,
пока не поздно...
Похлопать, может...
Сказать —
надейся!..
Но чтоб теперь же...
чтоб это серьезно... —
Слушали, улыбаясь, именитого скомороха.
Катали по́ столу хлебные мякиши.
Слова об лоб
и в тарелку —
горохом.
Один расчувствовался,
вином размягший:
— Поооостой...
поооостой...
Очень даже и просто.
Я пойду!..
Говорят, он ждет...
на мосту...

Я знаю...
Это на углу Кузнецкого мóста.
Пустите!
Нукося! —
По углам —
зуд:
— Нazzз-ю-зззюкался!
Будет ныть!
Поесть, попить,
попить, поесть —
и за 66!
Теорию к лешему!
Нэп —
практика.
Налей,
нарежь ему.
Футурист,
налягте-ка! —
Ничуть не смущаясь челюстей целостью,
пошли греметь о челюсть челюстью.
Шли
из артезианских прорв
меж рюмкой
слова поэтических споров.
В матрац,
поздоровавшись,
влезли клопы.
На вещи насела столетняя пыль.
А тот стоит —
в перила вбит.
Он ждет,
он верит:
скоро!
Я снова лбом,
я снова в быт
вбиваюсь слов напором.
Опять
атакую и вкривь и вкось.
Но странно:
слова проходят насквозь.

Необычайное

Стихает бас в комариные трельки.
Подбитые воздухом, стихли тарелки.
Обои,
стены
блёкли...
блёкли...
Тонули в серых тонах офортовых.
Со стенки
на город разросшийся
Бёклин
Москвой расставил «Остров мертвых».
Давным-давно.
Подавно —
теперь.
И нету проще!
Вон
в лодке,
скутан саваном,
недвижный перевозчик.
Не то моря,
не то поля —
их шорох тишью стерт весь.
А за морями —
тополя
возносят в небо мертвость.
Что ж —
ступлю!
И сразу
тополи
сорвались с мест,
пошли,
затопали.
Тополи стали спокойствия мерами,
ночей сторожами,
милиционерами.
Расчетверившись,
белый Харон
стал колоннадой почтамтских колонн.

Деваться некуда

Так с топором влезают в сон,
обметят спящелобых —
и сразу
            исчезает всё,
и видишь только обух.
Так барабаны улиц
                                    в сон
войдут,
            и сразу вспомнится,
что вот тоска
                        и угол вон,
за ним
            она —
                        виновница.
Прикрывши окна ладонью угла,
стекло за стеклом вытягивал с краю.
Вся жизнь
                  на карты окон легла.
Очко стекла —
                        и я проиграю.
Арап —
            миражей шулер —
                                    по окнам
разметил нагло веселия крап.
Колода стекла
                        торжеством яркоогним
сияет нагло у ночи из лап.
Как было раньше —
                                    вырасти б,
стихом в окно влететь.
Нет,
      никни к стéнной сырости.
И стих
            и дни не те.
Морозят камни.
                        Дрожь могил.
И редко ходят веники.
Плевками,
                  снявши башмаки,
вступаю на ступеньки.
Не молкнет в сердце боль никак,
кует к звену звено.

Вот так,
убив,
Раскольников
пришел звенеть в звонок.
Гостьё идет по лестнице...
Ступеньки бросил —
стенкою.
Стараюсь в стенку вплесниться,
и слышу —
струны тенькают.
Быть может, села
вот так
невзначай она.
Лишь для гостей,
для широких масс.
А пальцы
сами
в пределе отчаянья
ведут бесшабашье, над горем глумясь.

Друзья

А вóроны гости?!
Дверье крыло
раз сто по бокам коридора исхлопано.
Горлань горланья,
оранья орлó
ко мне доплеталось пьяное дóпьяна.
Полоса
щели.
Голосá
еле:
«Аннушка —
ну и румянушка!»
Пироги...
Печка...
Шубу...
Помогает...
С плечика...
Сглушило слова уанстепным темпом,
и снова слова сквозь темп уанстепа:

«Что это вы так развеселились?
Разве?!»
Сли́лись...
Опять полоса осветила фразу.
Слова непонятны —
особенно сразу.
Слова так
(не то чтоб со зла):
«Один тут сломал ногу,
так вот веселимся, чем бог послал,
танцуем себе понемногу».
Да,
их голоса́.
Знакомые выкрики.
Застыл в узнаваньи,
расплющился, нем,
фразы крою́ по выкриков выкройке.
Да —
это они —
они обо мне.
Шелест.
Листают, наверное, ноты.
«Ногу, говорите?
Вот смешно-то!»
И снова
в тостах стаканы исчоканы,
и сыплют стеклянные искры из щек они.
И снова
пьяное:
«Ну и интересно!
Так, говорите, пополам и треснул?»
— «Должен огорчить вас, как ни грустно,
не треснул, говорят,
а только хрустнул».
И снова
хлопанье двери и карканье,
и снова танцы, полами исшарканные.
И снова
стен раскаленные степи
под ухом звенят и вздыхают в тустепе.

Только б не ты

Стою у стенки.
Я не я.
Пусть бредом жизнь смололась.
Но только б, только б не ее
невыносимый голос!
Я день,
я год обыденщине пре́дал,
я сам задыхался от этого бреда.
Он
жизнь дымком квартирошным выел.
Звал:
решись
с этажей
в мостовые!
Я бегал от зова разинутых окон,
любя убегал.
Пускай однобоко,
пусть лишь стихом,
лишь шагами ночными —
строчишь,
и становятся души строчными,
и любишь стихом,
а в прозе немею.
Ну вот, не могу сказать,
не умею.
Но где, любимая,
где, моя милая,
где
— в песне! —
любви моей изменил я?
Здесь
каждый звук,
чтоб признаться,
чтоб кликнуть.
А только из песни — ни слова не выкинуть.
Вбегу на трель,
на гаммы.

В упор глазами
в цель!
Гордясь двумя ногами,
Ни с места! — крикну. —
Цел!

Скажу:
— Смотри,
даже здесь, дорогая,
стихами громя обыденщины жуть,
имя любимое оберегая,
тебя
в проклятьях моих
обхожу.

Приди,
разотзовись на стих.
Я, всех оббегав, — тут.
Теперь лишь ты могла б спасти.
Вставай!
Бежим к мосту! —
Быком на бойне
под удар
башку мою нагнул.
Сборю себя,
пойду туда.
Секунда —
и шагну.

Шагание стиха

Последняя самая эта секунда,
секунда эта
стала началом,
началом
невероятного гуда.
Весь север гудел.
Гудения мало.
По дрожи воздушной,
по колебанью
догадываюсь —
оно над Любанью.

По холоду,
по хлопанью дверью
догадываюсь —
оно над Тверью.
По шуму —
настежь окна раскинул —
догадываюсь —
кинулся к Клину.
Теперь грозой Разумовское за́лил.
На Николаевском теперь
на вокзале.
Всего дыхание одно,
а под ногой
ступени
пошли,
поплыли ходуном,
вздымаясь в невской пене.
Ужас дошел.
В мозгу уже весь.
Натягивая нервов строй,
разгуживаясь всё и разгуживаясь,
взорвался,
пригвоздил:
— Стой!
Я пришел из-за семи лет,
из-за верст шести ста,
пришел приказать:
—Нет!
Пришел повелеть:
—Оставь!
Оставь!
Не надо
ни слова,
ни просьбы.
Что толку —
тебе
одному
удалось бы?!

Жду,
чтоб землей обезлюбленной
вместе,
чтоб всей
мировой
человечьей гущей.
Семь лет стою,
буду и двести
стоять пригвожденный,
этого ждущий.
У лет на мосту
на презренье,
на смéх,
земной любви искупителем значась,
должен стоять,
стою за всех,
за всех расплачýсь,
за всех расплáчусь. —

Ротонда

Стены в тустепе ломались
нá три,
на четверть тона ломались,
на стó...
Я, стариком,
на каком-то Монмартре
лезу —
стотысячный случай —
на стол.
Давно посетителям осточертело.
Знают заранее
всё, как по нотам:
буду звать
(новое дело!)
куда-то идти,
спасать кого-то.
В извинение пьяной нагрузки
хозяин гостям объясняет:
— Русский! —

Женщины —
мяса и тряпок вя́занки —
смеются,
стащить стараются
за́ ноги:
«Не пойдем.
Дудки!
Мы — проститутки».
Быть Сены полосе б Невой!
Грядущих лет брызго́й
хожу по мгле по Се́новой
всей нынчести изгой.
Саже́нный,
обсмеянный,
са́женный,
битый,
в бульварах
ору через каски военщины:
— Под красное знамя!
Шагайте!
По быту!
Сквозь мозг мужчины!
Сквозь сердце женщины! —
Сегодня
гнали
в особенном раже.
Ну и жара же!

Полу-смерть

Надо
немного обветрить лоб.
Пойду,
пойду, куда ни вело б.
Внизу свистят сержанты-трельщики.
Тело
с панели
уносят метельщики.
Рассвет.
Подымаюсь сенскою сенью,
синематографской серой тенью.

Вот —
гимназистом смотрел их
с парты —
мелькают сбоку Франции карты.
Воспоминаний последним током
тащился прощаться
к странам Востока.

Случайная станция

С разлету рванулся —
и стал,
и нá мель.
Лохмотья мои зацепились штанами.
Ощупал —
скользко,
луковка точно.
Большое очень.
Испозолочено.
Под луковкой
колоколов завыванье.
Вечер зубцы стенные выкаймил.
На Иване я
Великом.
Вышки кремлевские пиками.
Московские окна
видятся еле.
Весело.
Елками зарождествели.
В ущелья кремлёвы волна ударяла:
то песня,
то звона рождественский вал.
С семи холмов,
низвергаясь Дарьялом,
бросала Тереком
праздник
Москва.
Вздымается волос.
Лягушкою тужусь.
Боюсь —
оступлюсь на одну только пядь,

и этот
старый
рождественский ужас
меня
по Мясницкой закружит опять.

Повторение пройденного

Руки крестом,
крестом
на вершине,
ловлю равновесие,
страшно машу.
Густеет ночь,
не вижу в аршине.
Луна.
Подо мною
льдистый Машук.
Никак не справлюсь с моим равновесием —
как будто с Вербы —
руками картонными.
Заметят.
Отсюда виден весь я.
Смотрите —
Кавказ кишит Пинкертонами.
Заметили.
Всем сообщили сигналом.
Любимых,
друзей
человечьи ленты
со всей вселенной сигналом согнало.
Спешат рассчитаться,
идут дуэлянты.
Щетинясь,
щерясь,
еще и еще там...
Плюют на ладони.
Ладонями сочными,
руками,
ветром,
нещадно,
без счета
в мочалку щеку истрепали пощечинами.

Пассажи —
перчаточных лавок початки,
дамы,
духи развевая паточные,
снимали,
в лицо швыряли перчатки,
швырялись в лицо магазины перчаточные.
Газеты,
журналы,
зря не глазейте!
На помощь летящим в морду вещам
ругней
за газетиной взвейся газетина.
Слухом в ухо!
Хватай, клевеща!
И так я калека в любовном боленьи.
Для ваших оставьте помоев ушат.
Я вам не мешаю.
К чему оскорбленья!
Я только стих,
я только душа.
А снизу:
— Нет!
Ты враг наш столетний.
Один уж такой попался —
гусар!
Понюхай порох,
свинец пистолетный.
Рубаху враспашку!
Не празднуй труса́! —

Последняя смерть

Хлеще ливня,
грома бодрей,
Бровь к брови,
ровненько,
со всех винтовок,
со всех батарей,
с каждого маузера и браунинга,
с сотни шагов,
с десяти,
с двух,
в упор —
за зарядом заряд.

Станут, чтоб перевесть дух,
и снова свинцом сорят.
Конец ему!
В сердце свинец!
Чтоб не было даже дрожи!
В конце концов —
всему конец.
Дрожи конец тоже.

То, что осталось

Окончилась бойня.
Веселье клокочет.
Смакуя детали, разлезлись шажком.
Лишь на Кремле
поэтовы клочья
сияли по ветру красным флажком.
Да небо
по-прежнему
лирикой звёздится.
Глядит
в удивленьи небесная звездь —
затрубадурила Большая Медведица.
Зачем?
В королевы поэтов пролезть?
Большая,
неси по векам-Араратам
сквозь небо потопа
ковчегом-ковшом!
С борта
звездолётом
медведьинским братом
горланю стихи мирозданию в шум.
Скоро!
Скоро!
Скоро!
В пространство!
Пристальней!
Солнце блестит горы.
Дни улыбаются с пристани.

Прошение на имя.....
Прошу вас, товарищ химик,
заполните сами!

Пристает ковчег.
Сюда лучами!
При́стань.
Эй!
Кидай канат ко мне!
И сейчас же
ощутил плечами
тяжесть подоконничьих камней.
Солнце
ночь потопа высушило жаром.
У окна
в жару встречаю день я.
Только с глобуса — гора Килиманджаро.
Только с карты африканской — Кения.
Голой головою глобус.
Я над глобусом
от горя горблюсь.
Мир
хотел бы
в этой груде го́ря
настоящие облапить груди-горы.
Чтобы с полюсов
по всем жильям
лаву раскатил, горящ и каменист,
так хотел бы разрыдаться я,
медведь-коммунист.
Столбовой отец мой
дворянин,
кожа на моих руках тонка.
Может,
я стихами выхлебаю дни,
и не увидав токарного станка.
Но дыханием моим,
сердцебиеньем,
голосом,
каждым острием издыбленного в ужас
волоса,

дырами ноздрей,
гвоздями глаз,
зубом, исскрежещенным в звериный лязг,
ёжью кожи,
гнева брови сборами,
триллионом пор,
дословно —
всеми по́рами

в осень,
в зиму,
в весну,
в лето,

в день,
в сон
не приемлю,
ненавижу это

всё.
Всё,
что в нас
ушедшим рабьим вбито,
всё,
что мелочи́нным роем
оседало
и осело бытом
даже в нашем
краснофлагом строе.
Я не доставлю радости
видеть,
что сам от заряда стих.
За мной не скоро потянете
об упокой его душу таланте.
Меня
из-за угла
ножом можно.
Дантесам в мой не целить лоб.
Четырежды состарюсь — четырежды
омоложенный,
до гроба добраться чтоб.
Где б ни умер,
умру поя.

В какой трущобе ни лягу,
знаю —
достоин лежать я
с легшими под красным флагом.
Но за что ни лечь —
смерть есть смерть.
Страшно — не любить,
ужас — не сметь.
За всех — пуля,
за всех — нож.
А мне когда?
А мне-то что ж?
В детстве, может,
на самом дне,
десять найду
сносных дней.
А то, что другим?!
Для меня б этого!
Этого нет.
Видите —
нет его!
Верить бы в загробь!
Легко прогулку пробную.
Стоит
только руку протянуть —
пуля
мигом
в жизнь загробную
начертит гремящий путь.
Что мне делать,
если я
вовсю,
всей сердечной мерою,
в жизнь сию,
сей
мир
верил,
верую.

Вера Пусть во что хотите жданья удлинятся —
вижу ясно,
ясно до галлюцинаций.
До того,
что кажется —
вот только с этой рифмой развяжись,
и вбежишь
по строчке
в изумительную жизнь.
Мне ли спрашивать —
да эта ли?
Да та ли?!
Вижу,
вижу ясно, до деталей.
Воздух в воздух,
будто камень в камень,
недоступная для тленов и крошений,
рассиявшись,
высится веками
мастерская человечьих воскрешений.
Вот он,
большелобый
тихий химик,
перед опытом наморщил лоб.
Книга —
«Вся земля», —
выискивает имя.
Век двадцатый.
Воскресить кого б?
— Маяковский вот...
Поищем ярче лица —
недостаточно поэт красив. —
Крикну я
вот с этой,
с нынешней страницы:
— Не листай страницы!
Воскреси!

Надежда Сердце мне вложи!

Кровищу —

до последних жил.

В череп мысль вдолби!
Я свое, земное, не дожил,
на земле

свое не долюбил.

Был я сажень ростом.

А на что мне сажень?

Для таких работ годна и тля.
Перышком скрипел я, в комнатенку всажен,
вплющился очками в комнатный футляр.
Что хотите буду делать даром —
чистить,

мыть,

стеречь,

мотаться,

месть.

Я могу служить у вас

хотя б швейцаром.

Швейцары у вас есть?
Был я весел —

толк веселым есть ли,

если горе наше непролазно?
Нынче

обнажают зубы если,

только, чтоб хватить,

чтоб лязгнуть.

Мало ль что бывает —

тяжесть

или горе...

Позовите!

Пригодится шутка дурья.

Я шарадами гипербол,

аллегорий

буду развлекать,

стихами балагуря.

Я любил...

Не стоит в старом рыться.

Больно?

Пусть...

Живешь и болью дорожась.

Я зверье еще люблю —
у вас
зверинцы
есть?
Пустите к зверю в сторожа.
Я люблю зверье.
Увидишь собачонку —
тут у булочной одна —
сплошная плешь, —
из себя
и то готов достать печенку.
Мне не жалко, дорогая,
ешь!

Любовь

Может,
может быть,
когда-нибудь
дорожкой зоологических аллей
и она —
она зверей любила —
тоже ступит в сад,
улыбаясь,
вот такая,
как на карточке в столе.
Она красивая —
ее, наверно, воскресят.
Ваш
тридцатый век
обгонит стаи
сердце раздиравших мелочей.
Нынче недолюбленное
наверстаем
звездностью бесчисленных ночей.
Воскреси
хотя б за то,
что я
поэтом
ждал тебя,
откинул будничную чушь!
Воскреси меня
хотя б за это!

Ваш
тридцатый век
обгонит стаи
сердце раздиравших мелочей —
нынче недолюбленное
наверстаем
звездностью бесчисленных ночей…
Воскреси
хотя б за то
что я
поэтом
ждал тебя откинув будничную чушь
Воскреси меня
хотя б за это
Воскреси
свое дожить хочу
Чтоб не было любви служанки
замужеств
похоти
хлебов
постели прокляв
встав с лежанки
чтоб всей вселенной шла любовь
Чтоб день
который горем старящ
не христарадничать моля
чтоб вся
на первый крик —
Товарищ! —
оборачивалась земля
Чтоб жить
не в жертву дома дырам
Чтоб мог
в родне
отныне

Воскреси —
свое дожить хочу!
Чтоб не было любви — служанки
замужеств,
похоти,
хлебов.
Постели прокляв,
встав с лежанки,
чтоб всей вселенной шла любовь.
Чтоб день,
который горем старящ,
не христарадничать, моля.
Чтоб вся
на первый крик:
— Товарищ! —
оборачивалась земля.
Чтоб жить
не в жертву дома дырам.
Чтоб мог
в родне
отныне
стать
отец
по крайней мере миром,
землей по крайней мере — мать.

Декабрь 1922 — февраль 1923

РАБОЧИМ КУРСКА, ДОБЫВШИМ ПЕРВУЮ РУДУ,

ВРЕМЕННЫЙ ПАМЯТНИК РАБОТЫ ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО

Было:
        социализм —
                        восторженное слово!
С флагом,
            с песней
                        становились слева,
и сама
        на головы
                    спускалась слава.
Сквозь огонь прошли,
                        сквозь пушечные дула.
Вместо гор восторга —
                        горе дола.
Стало:
        коммунизм —
                        обычнейшее дело.
Нынче
        словом
                не пофанфароните —
шею крючь
            да спину гни.
На вершочном
                незаметном фронте
завоевываются дни.

Я о тех,
кто не слыхал
про греков
в драках,
кто
не читал
про Муциев Сцевóл,
кто не знает,
чем замечательны Гракхи, —
кто просто работает —
грядущего вол.

Было Мы митинговали.
Словопадов струи,
пузыри идеи —
мир сразить во сколько.
А на деле —
обломались
ручки у кастрюли,
бреемся
стеклом-осколком.
А на деле —
у подметок дырки, —
без гвоздя
слюной
клейть — впустую!
Дырку
не посáдите в Бутырки,
а однако
дырки
протестуют.
«Кто был ничем, тот станет всем!»
Станет.
А на деле —
как феллахи —
неизвестно чем
распахиваем земь.
Шторы
пиджаками
нá плечи надели.
Жабой
сжало грудь
блокады иго.

Изнутри
разрух стоградусовый жар.
Машиньё
сдыхало,
рычажком подрыгав.
В склепах-фабриках
железо
жрала ржа.
Непроезженные
выли степи,
и Урал
орал
непроходимолесый.
Без железа
коммунизм
не стерпим.
Где железо?
Рельсы где?
Давайте рельсы!
Дым
не выдоит
трубищ фабричных вымя.
Отповедь
гудковая
крута:
«Зря
чего
ворочать маховыми?
Где железо,
отвечайте!
Где руда?»
Электризовало
массы волю.
Массы мозг
изобретательством мотало.
Тело масс
слоняло
по горе,
по полю
голодом
и жаждою металла.

Крик,
вгоняющий
в дрожание
и в ёжь,
уши
земляные
резал:
«Даешь
железо!»
Возникал
и глох призыв повторный —
только шепот
шел
профессоров-служак:
де под Курском
стрелки
лезут в стороны,
как Чужак.
Мне
фабрика слов
в управленье дана.
Я
не геолог,
но я утверждаю,
что до нас
было
под Курском
го́ло.
Обыкновеннейшие
почва и подпочва.
Шар земной,
а в нем —
вода
и всяческий пустяк.
Только лавы
изредка
сверлили ночь его.
Времена спустя
на восстанье наше,
на желанье,
на призыв
двинулись
земли низы.

От времен,
когда
лавины
рыже разжижели —
затухавших газов перегар, —
от времен,
когда вода
входила еле
в первые
базальтовые берега, —
от времен,
когда
прабабки носорожьи,
ящерьи прапрадеды
и крокодильи,
ни на что воображаемое не похожие,
льдами-броненосцами катили, —
от времен,
которые
слоили папоротник,
углем
каменным
застыв,
о которых
рапорта
не дал
и первый таборник, —
залегли
железные пласты.
Будущих времен
машинный гул
в каменном
мешке
лежит —
и ни гу-гу.
Даешь!
До мешков,
до запрятанных в сонные,
до сердца
земного
лозунг долез.

Даешь!
Грозою воль потрясенные,
трещат
казематы
над жилой желез.
Свернув
горы́ навалившийся груз,
ступни пустынь,
наступивших на жилы,
железо
бежало
в извилины русл,
железо
текло
в океанские илы.
Бороло
каких-то течений сливания,
какие-то горы брало в разбеге,
под Крымом
ползло,
разогнав с Пенсильвании,
на Мурман
взбиралось,
сорвавшись с Норвегии.
Бежало от немцев,
боялось французов,
глаза
косивших
на лакомый кус,
пока доплелось,
задыхаясь от груза,
запряталось
в сердце России
под Курск.
Голоса
подземные
выкачивала ветра помпа.
Слушай, человек,
рулетка,
компас:

не для мопсов-гаубиц —
для мира
разыщи,
узнай,
найди и вырой!
Отойди
еще
на пяди малые, —
отойди
и голову нагни.
Глаз искателей
тянуло аномалией,
стрелки компасов
крутил магнит.

Есть Вы,
оравшие:
«В лоск залускали,
рассори́л
Россию
подсолнух!» —
посмотрите
в работе мускулы
полуголых,
голодных,
сонных.
В пустырях
ветров и снега бред,
под ногою
грязь и лужи вместе,
непроходимые,
как Альфред
из «Известий».
Прославлял
романтик
Дон-Кихота, —
с ветром воевал
и с ду́хами иными.
Просто
мельников хвалить
кому охота —
с настоящей борются,
не с ветряными.

Слушайте,
пролетарские дочки:
пришедший
в землю врыться,
в чертежах
размечавший точки,
он —
сегодняшний рыцарь!
Он так же мечтает,
он так же любит.
Руда
залегла, томясь.
Красавцем
в кудрявом
дымном клубе —
за ней
сквозь камень масс!
Стальной бурав
о землю ломался.
Сиди,
оттачивай,
правь —
и снова
земли атакуется масса,
и снова
иззубрен бурав.
И снова —
ухнем!
И снова —
ура! —
в расселинах каменных масс.
Стальной
сменял
алмазный бурав,
и снова
ломался алмаз.
И когда
казалось —
правь надеждам тризну,
из-под Курска
прямо в нас

настоящею
земной любовью брызнул
будущего
приоткрытый глаз.
Пусть
разводят
скептики
уныньe сычье:
нынче, мол, не взять
и далеко лежит.
Если б
коммунизму
жить
осталось
только нынче,
мы
вообще бы
перестали жить.
Будет Лучше всяких «Лефов»
насмерть ранив
русского
ленивый вкус,
музыкой
в мильон подъемных кранов
цокает,
защелкивает Курск.
И не тщась
взлететь
на буровые вышки,
в иллюстрацию
зоологовых слов,
приготовишкам
соловьишки
демонстрируют
свое
унылейшее ремесло.
Где бульвар
вздыхал
весною томной,
не таких
любовей
лития, —

огнегубые
вздыхают топкой домны,
рассыпаясь
звездами литья.
Речка,
где и уткам
было узко,
где и по колено
не было ногам бы,
шла
плотвою флотов
речка Ту́скарь:
курс на Курск —
эСэСэСэРский Гамбург.
Всякого Нью-Йорка ньюйоркистей,
раздинамливая
электрический раскат,
маяки
просверливающей зоркости
в девяти морях
слепят
глаза эскадр.
И при каждой топке,
каждом кране,
наступивши
молниям на хвост,
выверенные куряне
направляли
весь
с цепей сорвавшийся хао́с.
Четкие, как выстрел,
у машин
эльвисты.
В небесах,
где месяц,
раб писателин,
искры труб
черпал совком, —

с башенных волчков
 — куда тут Татлин! —
отдавал
 сиренами
 приказ
 завком.
«Слушай!
 д 2!
 3 и!
Пятый ряд тяжелой индустрии!
7 ф!
Доки лодок
 и шестая верфь!»
Заревет сирена
 и замрет тонка,
и опять
 засвистывает
 электричество и пар.
«Слушай!
 19-й ангар!»
Раззевают
 слуховые окна
 крыши-норы.
Сразу
 в сто
 товарно-пассажирских линий
отправляются
 с иголочки
 планёры,
рассияв
 по солнцу
 алюминий.
Раззевают
 главный вход
 заводы.
Лентами
 авто и паровозы —
 в главный.

С верфей
с верстовых
соскальзывают в воды
корабли
надводных
и подводных плаваний.
И уже
по тундрам,
обгоняя ветер резкий,
параллельными путями
на пари
два локомотива —
скорый
и курьерский —
в свитрах,
в кепках
запускают лопари.
В деревнях,
с аэропланов
озирая тыщеполье,
стадом
в 1000 —
не много и не мало —
пастушонок
лет семи,
не более,
управляет
световым сигналом.
Что перо? —
гусиные обноски! —
только зря
бумагу рвут, —
сто статей
напишет
обо мне
Сосновский,
каждый день
меняя
«Ундервуд».

Я считаю,
обходя
бульварные аллеи,
скольких
наследили
юбилеи?
Пушкин,
Достоевский,
Гоголь,
Алексей Толстой
в бороде у Льва.
Не завидую —
у нас
бульваров много,
каждому
найдется
бульвар.
Может,
будет
Лазарев
у липы в лепете.
Обозначат
в бронзе
чином чин.
Ну, а остальные?
Как их слéпите?
Тысяч тридцать
курских
женщин и мужчин.
Вам
не скрестишь ручки,
не напялишь тогу,
не поставишь
нянькам на затор...
Ну и слава богу!
Но зато —
на бóроды дымов,
на тело гулов
не покусится
никакой Меркулов.

Трем Андреевым,
всему академическому скопу,
копошащемуся
у писателей в усах,
никогда
не вылепить
ваш красный корпус,
заводские корпуса.
Вас
не будут звать:
«Железо бросьте,
выверните
на спину
глаза,
возвращайтесь
вспять
к слоновой кости,
к мамонту,
к Островскому
назад».
В ваш
столетний юбилей
не прольют
Сакулины
речей елей.
Ты работал,
ты уснул
и спи —
только город ты,
а не Шекспир.
Собинов,
перезвените званьем Южина.
Лезьте
корпусом
из монографий и садов.
Курскам
ваших мраморов
не нужно.

Но зато —
на бегущий памятник
курьерский
рукотворный
не присядут
гадить
во́роны.
Вас,
у опер
и у оперетт в антракте,
в юбилее
не расхвалит
языкастый лектор.
Речь
об вас
разгромыхает трактор —
самый убедительный электролектор.
Гиз
не тиснет
монографии о вас.
Но зато —
растает дыма клуб,
и опять
фамилий ваших вязь
вписывают
миллионы труб.
Двери в славу —
двери узкие,
но как бы ни были они узки́,
навсегда войдете
вы,
кто в Курске
добывал
железные куски.

Август — декабрь 1923

РЕКЛАМА

(1923—1925)

«ЛЕФ»

Лучшие советы

Против старья озверев —
ищите «Леф».
Витрину оглазев —
покупайте «Леф».
Вечером сев —
читайте «Леф».
От критики старых дев —
защищайте «Леф».
Хорошая книга!
                    А то
                         с какой стати —
стали б
        плохую
                издавать в Госиздате!

Дальше!

У «Лефа» пара глаз —
и то спереди,
                а не сзади.
«Назад, осади!» —
                    на нас
орут
      раз десять на́ день.

У «Лефа»
неповоротливая нога,
громок у «Лефа» рот, —
наше дело —
вперед шагать,
и глазеть,
и звать вперед.

1923

<ЖУРНАЛ «КРЫСОДАВ»>

Мы

Днем —
благоденствуют дома и домишки:
ни таракана,
ни мышки.
Товарищ,
на этом не успокаивайся очень —
подожди ночи.
При лампе — ничего.
А потушишь ее —
из-за печек,
из-под водопровода
вылазит тараканьё
всевозможного рода:
черные,
желтые,
русые —
усатые,
безусые.
Пустяк, что много,
полезут они —
и врассыпную —
только кипятком шпарни.
Но вот,
задремлете лишь,
лезет
из щелок
разная мышь.

Нам
мышь не страшна.
Пусть себе,
в ожидании красной кошки,
ест
понемногу
нэпские крошки.
Наконец,
когда всё еще храпом свищет,
из нор
выползают
ручные крысищи.
Сахар попался —
сахар в рот.
Хлеб по дороге —
хлебище жрет.
С этими
не будь чересчур кроткий.
Щеки выгрызут,
вопьются в глотки.
Чтоб на нас
не лезли, как на окорок висячий,
волю зубам крысячьим дав,
для борьбы
с армией крысячьей
учреждаем
«Крысодав».

1923

<ЖУРНАЛ «ОГОНЕК»>

Беги со всех ног
покупать
«Огонек».

1923

ГУМ

‹1›

Человек —
только с часами.
Часы
только Мозера.
Мозер
только у ГУМа.

‹2›

Всё, что требует
желудок,
тело
или ум, —
всё
человеку
предоставляет ГУМ.

‹3›

Не уговариваем, но предупреждаем вас:
голландское масло —
лучшее из масл.
Для салатов, соусов и прочих ед
лучшего масла
не было и нет.

‹4›

Нет места
сомненью
и думе —
все для женщины
только
в ГУМе.

⟨5⟩

Тому не страшен
мороз зловещий,
кто в ГУМе
купит
теплые вещи.

1923

РЕЗИНОТРЕСТ

⟨1⟩

Дождик, дождь, впустую льешь —
я не выйду без галош.
С помощью Резинотреста
мне везде сухое место.

⟨2⟩

«Без галош элегантнее» —
это ложь!
Вся элегантность от наших галош.

⟨Мячики⟩

Товарищи девочки, товарищи мальчики!
Требуйте у мамы
эти мячики.

⟨Соски⟩

Лучших сосок
не было и нет —
готов сосать до старости лет.

⟨Игрушки⟩

От игр от этих
стихают дети.
Без этих игр
ребенок — тигр.

1923

МОССЕЛЬПРОМ

* * *

Нигде кроме
как в Моссельпроме.

1923

⟨Папиросы «Ира»⟩

Нами
оставляются
от старого мира
только —
папиросы «Ира».

1923

⟨ЖУРНАЛ «КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ»⟩

Только подписчики
«Красного перца»
смеются
от всего сердца.

1925

ПРИМЕЧАНИЯ

Поэтическое наследие Маяковского чрезвычайно обширно. «Сто томов... партийных книжек» — реальная цифра изданных при жизни поэта книг, считая и многочисленные сборники стихотворений, и отдельные издания поэм, и итоговые собрания — такие, как «Все сочиненное Владимиром Маяковским», «13 лет работы». Первое собрание сочинений Маяковского в 10-ти томах (М.—Л., 1927—1933), восемь из которых были подготовлены самим поэтом, определило основные принципы изданий сочинений поэта, примененные в последующих посмертных собраниях. Первое Полное собрание сочинений, в 12-ти томах с дополнительным выпуском 13-го тома, под общей редакцией Л. Ю. Брик (М., 1934—1938), включало многие стихотворения, затерянные в периодике и не вошедшие в прижизненные издания. В 1939 г. было предпринято новое Полное собрание сочинений в 12-ти томах под общей редакцией Н. Н. Асеева, Л. В. Маяковской, В. О. Перцова и М. И. Серебрянского, завершенное только после Великой Отечественной войны в 1949 г. Последнее Полное собрание сочинений, в 13-ти томах (1955—1961), включает исчерпывающий свод вариантов черновых автографов и прижизненных публикаций. Тексты в этом издании были подвергнуты научной проверке, освобождены от многих искажений и опечаток.

Одновременно с полными собраниями сочинений неоднократно издавался избранный Маяковский, в том числе в «Библиотеке поэта»: Стихотворения в 3-х томах. Вступительная статья, редакция и примечания Н. Я. Степанова. Малая серия (Л., 1940—1941); Собрание стихотворений в 2-х томах. Вступительная статья Н. Маслина. Большая серия (Л., 1950); Стихотворения. Поэмы. В 3-х томах. Вступительная статья Ан. Тарасенкова. Подготовка текста и примечания В. А. Катаняна. Малая серия (Л., 1955).

Настоящее двухтомное издание не повторяет прежних. В нем с достаточной широтой представлены все этапы творчества Маяковского. Не стремясь исчерпать все темы и жанры поэтического наследия Маяковского, составители руководствовались задачей дать «лучшее из лучшего», поступившись при этом произведениями, варьирующими темы и мотивы, более глубоко разработанные в других стихах, либо такими, в которых текст звучит лишь в сочетании с рисунком, плакатом.

Произведения, входящие в состав настоящего издания, располагаются по хронологически-жанровому принципу, как это принято для Маяковского, начиная с прижизненного собрания сочинений. В данном случае, в соответствии с общепринятой периодизацией творчества Маяковского, выделены три периода — 1912—1917, 1917—1924, 1925—1930 гг., внутри которых деление проведено по жанровому признаку.

Все даты, авторские, а также установленные по прямым и косвенным источникам, даются под текстом. В тех случаях, когда дата написания неизвестна, в угловых скобках указано время первой публикации стихотворения. В примечаниях даты не оговариваются, за исключением тех случаев, когда уточняются или исправляются авторские датировки.

При подготовке текстов составители опирались на текстологическую работу, проделанную в последнем Полном собрании сочинений в 13-ти томах. Текстологические решения, принятые в этом издании, не пересматриваются и специально не отмечаются. Изменен и уточнен лишь характер текстологического описания по принятым в «Библиотеке поэта» правилам.

В примечаниях указаны первая публикация текста и все прижизненные издания, в которых текст подвергался изменениям. Из многочисленных вариантов приводятся только наиболее значительные отрывки, исключенные автором при последующих публикациях. Оговариваются также цензурные вмешательства, изменения заглавий, посвящения, авторские примечания и т. д. В заключение библиографической справки указывается источник, по которому печатается текст. За основу берется издание, в котором впервые установилась последняя авторская редакция стихотворения. Если первопечатный текст не менялся, то источник текста специально не оговаривается. Поскольку исчерпывающий свод прижизненных публикаций дан в последнем Полном собрании сочинений, отмечается включение стихотворений только в основные прижизненные сборники, являющиеся итоговыми для того или иного периода творчества поэта. В текстологическом комментарии указываются черновые и беловые автографы, авторские корректуры, авторизованные копии, списки, сделанные теми или иными лицами с не дошедших до нас оригиналов. Из многочисленных рукописных вариантов приводятся только не вошедшие в публикацию строки в их последней редакции. Отмечаются авторские даты, посвящения, варианты заглавий, местонахождение рукописи. [1]

---

[1] Рукописное наследие Маяковского разбросано по нескольким архивохранилищам. Наиболее крупные собрания имеются в Государственной библиотеке-музее В. В. Маяковского, Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР, рукописном отделе Института мировой литературы им. А. М. Горького, Центральном государственном архиве Октябрьской революции и социалистического строительства СССР. Отдельные рукописи имеются в Государственном литературном музее, рукописных отделах Института русской литературы (Пушкинский Дом), в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина.

Цитаты из статей и выступлений Маяковского приводятся по Полному собранию сочинений в 13-ти томах (1955—1961) с указанием тома и страницы.

Выражаем благодарность сотрудникам Государственной библиотеки-музея В. В. Маяковского И. С. Правдиной и А. И. Певзнер, которые помогли в работе над настоящим изданием.

Сокращения, принятые в примечаниях

АП — В. Маяковский. Американцам для памяти. Нью-Йорк, 1925.

БММ — Государственная библиотека-музей В. В. Маяковского.

«Все сочиненное» — «Все сочиненное Владимиром Маяковским (1909—1919)». Пг., 1919.

ВЭГ — В. Маяковский. Вещи этого года. Берлин, 1924.

ГБЛ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина.

ГЛМ — Государственный литературный музей.

«255» — «255 страниц Маяковского», кн. 1. М.—Пг., 1923.

ДГ — «Маяковский для голоса». М.—Берлин, 1923.

ЗК — Записные книжки В. Маяковского. Рукописные материалы и заготовки к стихам. Архивная нумерация книжек 1—72.

Избр. 1923 — «Избранный Маяковский». Берлин, 1923.

Избр. 1926 — В. Маяковский. Избранное из избранного. М., 1926.

Изд. 1916 г. — В. Маяковский. Простое как мычание. Пг., 1916.

ИМЛИ — Рукописный отдел Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР.

Катанян — В. Катанян. «В. Маяковский. Литературная хроника». М., 1961.

КН — журнал «Красная новь».

КНива — журнал «Красная нива».

КФ — В. Маяковский. Кофта фата. Пг., 1918. Сверстанный корректурный оттиск. В свет не вышел. Хранится в ЦГАЛИ.

Лирика — В. Маяковский. Лирика. Книга стихов. М., 1923.

МИ — «Маяковский издевается. Первая книжица сатиры». МАФ, серия поэтов № 3. М., 1922.

МП — В. Маяковский. Мы и прадеды. Стихи. М., 1927.

МУ — «Маяковский улыбается, Маяковский смеется, Маяковский издевается». М., 1923.

НЖ — газета «Новая жизнь».

НС — журнал «Новый сатирикон».

«О Курске» — В. Маяковский. О Курске, о комсомоле, о мае, о полете, о Чаплине, о Германии, о нефти, о 5 Интернационале и о проч. М., 1924.

ПЗ — В. Маяковский. Для первого знакомства. Корректурные листы нескольких стихотворений и сверстанный экземпляр сборника. Пг., 1915. В свет не вышел. Хранится в собрании К. И. Чуковского.

ПР — В. Маяковский. Песни рабочим. М., 1925.

ПСС 1939 — В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 12-ти томах. М., 1939—1949.

ПСС 1955 — В. Маяковский. Полное собрание сочинений в 13-ти томах. М. 1955—1961.

Соч. — В. Маяковский. Собрание сочинений в 10-ти томах. М. — Л., 1927—1933.

СР — В. Маяковский. Стихи о революции. 1-е и 2-е изд. М., 1923.

ТН — В. Маяковский. Только новое. Л.—М., 1925.

«13 лет» — В. Маяковский. 13 лет работы, тт. 1 и 2. М., 1922.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР.

ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства.

ШМ — «Школьный Маяковский». М.—Л., 1929.

«Я!» — В. Маяковский. «Я!». М., 1913.

СТИХОТВОРЕНИЯ

(1912—1917)

Ночь. Впервые — «Пощечина общественному вкусу», М., 1912, стр. 91. Печ. по изд. 1916 г., стр. 31. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1; Соч., т. 1. В автобиографии Маяковский называет это стихотворение «первым профессиональным, печатаемым» (т. 1, стр. 20). О более ранних стихах там же, в главе «11 бутырских месяцев»: «Перечел все новейшее. Символисты — Белый, Бальмонт. Разобрала формальная новизна. Но было чуждо. Темы, образы не моей жизни. Попробовал сам писать так же хорошо, но про другое. Оказалось *так же* про *другое* — нельзя. Вышло ходульно и ревплаксиво. Что-то вроде:

В золото, в пурпур леса одевались,
Солнце играло на главах церквей.
Ждал я: но в месяцах дни потерялись,
Сотни томительных дней.

Исписал таким целую тетрадку. Спасибо надзирателям — при выходе отобрали. А то б еще напечатал!» (т. 1, стр. 17). По свидетельству издателя «Пощечины общественному вкусу» С. Д. Долинского, летом 1912 г. Маяковский написал несколько стихотворений, которые вскоре были им уничтожены. Осенью 1912 г. Маяковский читал свои стихи Д. Д. Бурлюку (см. автобиографию).

Утро. Впервые — «Пощечина общественному вкусу», М., 1912, стр. 91. Печ. по изд. 1916 г., стр. 29. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1; Избр. 1923; Соч., т. 1. В статье «Как делать стихи?» Маяковский пишет: «...Я в девяноста из ста случаев знаю даже место, где на протяжении моей пятнадцатилетней работы пришли и получили окончательное оформление те или иные рифмы, аллитерации, образы и т. д. ... Угрюмый дождь скосил глаза, — А за...,

(Страстной монастырь, 12 г.)» (т. 12, стр. 90—91). В рецензии на «Пощечину общественному вкусу» Брюсов писал: «Не удовлетворяют нас такие способы находить новую форму (кстати сказать, способы тоже не новые, потому что, не поминая Тредьяковского, можно указать достаточное их применение у Эдгара По — «Eldorado»), какие предлагает Маяковский. Однако за пределами этих крайностей остается кое-что, не лишенное ценности, как новый прием выразительности в поэзии» («Русская мысль», 1913, № 13, стр. 132). В середине ноября 1912 г. Маяковский впервые публично читал свои стихи в Петербурге в артистическом подвале «Бродячая собака»: «После г. Бурлюка выступил другой московский поэт — г. Маяковский, прочитавший несколько своих стихотворений, в которых слушатели сразу почувствовали настоящее, большое поэтическое дарование. Стихи г. Маяковского были встречены рукоплесканиями» («Обозрение театров», 1912, 19 ноября).

П о р т. Впервые — «Садок судей», т. 2, П., 1913, стр. 62, под заглавием «Отплытие», ст. 1—6:

Простыню вод под брюхом крылий
порвал на волны белый зуб
был вой трубы как запах лилий
любовь кричавших медью труб.
И взвизг сирен забыл у входов
недоуменье фонарей.

Печ. по изд. 1916 г., стр. 28. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1; Соч., т. 1. Написано во время поездки в Таврическую губернию, в Чернодолинское имение, которым управлял отец Д. Д. Бурлюка. См. в автобиографии: «На Рождество <Бурлюк> завез к себе в Новую Маячку. Привез «Порт» и другое» (т. 1, стр. 20). По пути Маяковский проезжал портовый город Николаев.

У л и ч н о е. Впервые — «Садок судей», т. 2, П., 1913, стр. 62, без заглавия. Печ. по «Все сочиненное», стр. 12. Вошло в «13 лет», т. 1; Соч., т. 1.

И з у л и ц ы в у л и ц у. Впервые — листовка «Пощечина общественному вкусу», М., 1913, без заглавия. Под заглавием «Разговариваю с солнцем у Сухаревой башни» — «Требник троих», М., 1913, стр. 36. Печ. по изд. 1916 г., стр. 32. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1; Соч., т. 1. Стихотворение было прочитано Маяковским 24 марта 1913 г. в Петербурге в Троицком театре.

А в ы м о г л и б ы? Впервые — «Требник троих», М., 1913, стр. 35, без заглавия, сначала строки 5—10. Печ. по изд. 1916 г., стр. 41. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1; Избр. 1923; Соч., т. 1. Автограф (ст. 5—10) — ЦГАЛИ. В 1920 г. Маяковский начитал стихотворение на фонограф.

Вывескам. Впервые — «Требник троих», М., 1913, стр. 42, без заглавия, с рисунком В. Татлина. Печ. по изд. 1916 г., стр. 23. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1; Избр. 1923; Соч., т. 1. *Созвездия «Магги»* — световая реклама бульонного экстракта фирмы «Магги».

Кое-что про Петербург. Впервые — «Требник троих», М., 1913, стр. 46, без заглавия. Под заглавием «Кое-что про Петроград» — изд. 1916 г., стр. 25. Печ. по «Все сочиненное», стр. 17. Вошло в «13 лет», т. 1; Соч., т. 1.

За женщиной. Впервые — «Требник троих», М., 1913, стр. 47, без заглавия, с цензурными купюрами ст. 13—16. С изменениями — изд. 1916 г., стр. 24. Печ. по Соч., т. 1, стр. 68. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1.

Я.

1. «По мостовой...». Впервые — «Я!», стр. 1. С изменениями — «Дохлая луна», М., 1913, стр. 24. Печ. по изд. 1916 г., стр. 11. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1; Соч., т. 1. Первый сборник стихов Маяковского «Я!», включающий это и последующие три стихотворения, был издан в мае 1913 г. литографским способом в количестве 300 экземпляров с рисунками В. Н. Чекрыгина и Л. Ф. Жегина, обложкой Маяковского. «Штаб-издательской квартирой была моя комната, — вспоминает Жегин. — Маяковский принес литографской бумаги и диктовал Чекрыгину стихи, которые тот своим четким почерком переписывал особыми литографскими чернилами... Работа над внешним оформлением книжечек продолжалась неделю или полторы. Наконец, подготовленные к печати листки были собраны с большой осторожностью (ибо литографская бумага чувствительна к каждому прикосновению пальцев) и снесены в маленькую литографию, которая, как помнится, помещалась на Никитской в Хлудовском тупике... Маяковский разнес их <книги> по магазинам, где они были довольно скоро распроданы» (Л. Жегин. Воспоминания. «Литературная газета», 1935, 15 апреля). В обзоре «Год русской поэзии» Брюсов писал: «...Больше всего счастливых исключений мы находим в стихах, подписанных В. Маяковским. У г. Маяковского много от нашего «крайнего» футуризма, но есть свое восприятие действительности, есть воображение и есть умение изображать... Как в маленьком сборнике Маяковского <«Я!»>, так и в его стихах, помещенных в разных сборниках, и в его трагедии встречаются и удачные стихи и целые стихотворения, задуманные оригинально» («Русская мысль», 1914, № 5, стр. 30—31). Книга была отмечена М. Горьким: «Вот возьмите для примера Маяковского — он молод, ему всего двадцать лет, он криклив, необуздан, но у него, несомненно, где-то под спудом есть дарование. Ему надо работать, надо учиться, и он будет писать хорошие, настоящие стихи. Я читал его книжку стихов. Какое-то меня остановило. Оно написано настоящими словами» («Журнал журналов», 1915, № 1, стр. 3—4).

2. Несколько слов о моей жене. Впервые — «Я!», стр. 2. С изменениями — изд. 1916 г., стр. 12. Печ. по «Все сочиненное», стр. 23. Вошло в «13 лет», т. 1; Соч., т. 1.

3. Несколько слов о моей маме. Впервые — «Я!», стр. 7, под заглавием «О моей маме». С изменением — «Дохлая луна», М., 1914. Печ. по изд. 1916 г., стр. 13. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1; Соч., т. 1. *Шустов* Н. Л. — глава известной в дореволюционной России фирмы по производству коньяков. *Аванцо* — фамилия владельца магазина художественных изделий в Москве на Кузнецком мосту.

4. Несколько слов обо мне самом. Впервые — «Я!», стр. 12, под заглавием «Теперь про меня», с цензурными вариантами ст. 12 и 13: «Скакал сумасшедший топор», «Я вижу, он сквозь город бежал». С изменениями — «Дохлая луна», М., 1914, стр. 64. В изд. 1916 г. цензурная купюра в ст. 12 и 13. Печ. по «Все сочиненное», стр. 25. Вошло в «13 лет», т. 1; Соч., т. 1. Л. Равич, встречавшийся с Маяковским в 1928 г., вспоминает: «Мы шли уже, кажется, по улице Дзержинского. Из школы выбежали дети... Маяковский остановился, залюбовался детьми. Он стоял и смотрел на них, а я, как будто меня кто-то дернул за язык, тихо проговорил: — *Я люблю смотреть, как умирают дети...* Мы пошли дальше. Он молчал, потом вдруг сказал: — Надо знать, почему написано, когда написано и для кого написано... Неужели вы думаете, что это правда?» (сб. «Маяковский», Л., 1940, стр. 180). Есть предположение, что Маяковский в данном случае полемизирует со стихотворением французского религиозного поэта Ф. Жамма «Молитва, чтобы ребенок не умер». Книжка Ф. Жамма в русском переводе вышла в 1913 г. (см.: В. Перцов. Маяковский. Жизнь и творчество, т. 1. М.—Л., 1950, стр. 221).

Шумики, шумы и шумищи. Впервые — «Дохлая луна», М., 1913, стр. 23, без заглавия. Печ. по изд. 1916 г., стр. 45. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1; Соч., т. 1.

От усталости. Впервые — «Дохлая луна», М., 1913, стр. 21. Печ. по изд. 1916 г., стр. 19. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1; Соч., т. 1.

Адище города. Впервые — «Молоко кобылиц», М., 1914, стр. 69, под заглавием «Зигзаги в вечер». С изменениями — изд. 1916 г. Печ. по «Все сочиненное», стр. 15. Вошло в «13 лет», т. 1; Соч., т. 1.

Нате! Впервые — «Рыкающий Парнас», Пг., 1914, стр. 5. С изменениями — ПЗ. С новыми изменениями — изд. 1916 г. Печ. по Соч., т. 1, стр. 170. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1; Избр. 1923. Впервые было прочитано Маяковским в Москве на открытии литературного кабаре «Розовый фонарь» (в Мамоновском пер.). В одном из газетных отчетов о вечере говорится: «...Публика пришла в ярость. Послышались оглушительные свистки, крики «долой!». Маяковский был непоколебим» («Московская газета», 1913, 21 октября).

Вечер закончился вмешательством полиции. В автобиографии Маяковский писал: «„Розовый фонарь“ закрыли после чтения мной „Через час отсюда“» (т. 1, стр. 374).

Ничего не понимают. Впервые — «Рыкающий Парнас», Пг., 1914, стр. 6, под заглавием «Пробиваясь кулаками». С изменениями — ПЗ. Печ. по изд. 1916 г., стр. 36. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1; Избр. 1923; Соч., т. 1.

Кофта фата. Впервые — «Первый журнал русских футуристов», 1914, № 1—2, стр. 3, без заглавия. В ПЗ под заглавием «Желтая кофта». С изменениями — изд. 1916 г., стр. 46. Печ. по «Все сочиненное», стр. 17. Вошло в «13 лет», т. 1; Избр. 1923; Соч., т. 1. *Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего.* См. эпиграф к поэме «Египетские ночи», взятый Пушкиным из «Альманаха каламбуров» маркиза Бьевра: «— Что это за человек? — О, это очень большой талант, он делает из своего голоса все, что хочет. — Ему бы следовало, сударыня, сделать себе из него штаны». Поэма Пушкина привлекала внимание Маяковского. См. стихотворение «В. Я. Брюсову на память». *Би-ба-бо* — популярная в то время игрушка, забавная кукла, надеваемая на руку.

Послушайте! Впервые — «Первый журнал русских футуристов», 1914, № 1—2, стр. 4, без заглавия. Печ. по изд. 1916 г., стр. 17. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1; Избр. 1923; Соч., т. 1. В 1920 г. Маяковский начитал стихотворение на фонограф, в записи изменения. С. С. Шамардина вспоминает: «Возвращаясь однажды с какого-то концерта-вечера, ехали на извозчике. Небо было хмурое. Только изредка вдруг блеснет звезда. И вот тут же в извозчичьей пролетке стало слагаться стихотворение: «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? ..» Он держал мою руку и наговаривал о звездах. Потом говорит: „Получаются стихи. Только не похоже это на меня. О звездах! Это не очень сентиментально? А все-таки напишу. А печатать, может быть, не буду“» (цит. по кн.: Катанян, стр. 436). Это стихотворение рассматривают как полемику с «Молитвой, чтобы получить звезду» Ф. Жамма (см. примеч. к стих. «Несколько слов обо мне самом»).

А все-таки. Впервые — «Первый журнал русских футуристов», 1914, № 1—2, стр. 67, под заглавием «Еще я», без ст. 10—13, с цензурными изъятиями в ст. 16, 17, 18, 20. С изменениями — корректура ПЗ, с новыми изменениями — ПЗ. Печ. по изд. 1916 г., стр. 20. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1; Соч., т. 1.

Еще Петербург. Впервые — «Первый журнал русских футуристов», 1914, № 1—2, стр. 67, под заглавием «Утро Петербурга». Под заглавием «Еще Петроград» — изд. 1916 г., стр. 26. Печ. по «Все сочиненное», стр. 17. Вошло в «13 лет», т. 1; Соч., т. 1.

Скрипка и немножко нервно. Впервые — «Театр в карикатурах», 1914, № 18, стр. 10, под заглавием «Немножко нервно и скрипка», без ст. 29. С изменениями — изд. 1916 г., стр. 47. Печ. по «Все сочиненное», стр. 19. Вошло в «13 лет», т. 1; Избр. 1923; Соч., т. 1. Беловой автограф (без ст. 29 и 44) — ЦГАЛИ.

Война объявлена. Впервые — журн. «Новая жизнь», 1914, № 8, стр. 3. Вместе с политической карикатурой Маяковского «Germania grandiosa — mania grandiosa» — «Война», М., 1914, стр. 23. С изменениями и посвящением: «Светлой О. В. Р<озенблюм> — эти стихи» и ошибочной датой «20 июля 1915 г.» — «Весеннее контрагентство муз», М., 1915, стр. 17. С новыми изменениями — изд. 1916 г. Печ. по Соч., т. 1, стр. 149. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1. 18 июля 1914 г. была объявлена первая мировая война. В автобиографии Маяковский писал: «Принял взволнованно. Сначала только с декоративной, с шумовой стороны. Плакаты заказные и, конечно, вполне военные. Затем стих. „Война объявлена“» (т. 1, стр. 22). Маяковский читал это стихотворение 21 июля 1914 г. на митинге у памятника Скобелева в Москве («Русское слово», 1914, 22 июля).

Мама и убитый немцами вечер. Впервые — «Новь», 1914, 20 ноября. С посвящением: «Светлой О. В. Р<озенблюм> — эти стихи» и ошибочной датой «Октябрь 1915» — «Весеннее контрагентство муз», М., 1915, стр. 16. Печ. по «Все сочиненное», стр. 64. Вошло в изд. 1916 г.; «13 лет», т. 1; Соч., т. 1. Беловой автограф — ЦГАЛИ. Маяковский читал это стихотворение и стихотворение «Война объявлена» 14 октября 1914 г. в Политехническом музее на вечере «Война и искусство» («Раннее утро», 1914, 15 октября, и др.). *На шее Варшавы.* Осенью 1914 г. под Варшавой шли кровопролитные бои. *Пальцы улиц ломала Ковна.* Осенью 1914 г. под Ковно (теперь Каунас) шли военные действия.

Мысли в призыв. Впервые — «Все сочиненное», стр. 113. Входило в состав не увидевшего свет сб. «Кофта фата». Вошло в «13 лет», т. 1; Соч., т. 1. *«Анатэма»* — пьеса Л. Андреева.

Я и Наполеон. Впервые — «Весеннее контрагентство муз», М., 1915, стр. 13, с посвящением: «Светлой О. В. Р<озенблюм> — эти стихи»; цензурные купюры: в ст. 20 снято «простоволосая», в ст. 34 — «самодержца». С изменениями — изд. 1916 г., стр. 54. Печ. по Соч., т. 1, стр. 153. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1. Беловой автограф — БММ. *Большая Пресня, 36, 24* — в Москве, точный адрес Маяковского с 1913 по 1915 гг. *Ноев* — владелец цветочного магазина в Москве на Петровке. *Солнце Аустерлица.* Под Аустерлицем в 1805 г. Наполеон одержал крупную победу. На рассвете перед Бородинским сражением Наполеон воскликнул: «Вот солнце Аустерлица!» *Я каждый день иду к зачумленным по тысячам русских Яфф!* В 1799 г. Наполеон посетил чумной госпиталь в Яффе. *Тысячу Аркольских мостов.* В 1796 г. в бою с австрийскими

войсками Наполеон, возглавлявший атаку, едва не был убит на мосту в итальянском местечке Арколе. Некоторые мотивы стихотворения Маяковский, по-видимому, почерпнул из лекции Д. Д. Бурлюка «Война и искусство», состоявшейся 14 октября 1914 г. По сообщению М. Н. Бурлюка, в лекции упоминались картины барона Гро (1771—1838) «Аркольский мост», «Чума в Яффе», а также говорилось о культе покойников и пирамидах в Египте («Color and Rhyme», Нью-Йорк, 1956, № 31).

Вам! Впервые — «Взял», Пг., 1915, стр. 1, под заглавием «Вам, которые в тылу»; в ст. 9 цензурой были сняты слова: «приведенный на убой». Печ. по «13 лет», т. 1, стр. 115. Вошло в Соч., т. 1. Маяковский читал стихотворение 11 февраля 1915 г. в Петрограде в артистическом подвале «Бродячая собака». Сохранились воспоминания об этом вечере Т. Толстой-Вечерки: «Уже после 12-ти ночи конферансье объявил: сейчас будет читать стихи поэт-футурист Маяковский. Не помню, как был он одет, знаю, что был очень бледен и мрачен, сжевал папиросу и сейчас же другую, затянулся, хмуро ждал, чтобы публика успокоилась, и вдруг начал — как рявкнул с места:

Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет...

Публика, по большей части, состояла именно из «имеющих все удобства», поэтому застыла в изумлении: кто с поднятой рюмкой, кто с куском недоеденного цыпленка. Раздалось несколько недоумевающих возгласов, но Маяковский, перекрывая голоса, громко продолжал чтение» (ПСС 1939, т. 1, стр. 434). *Георгий.* Георгиевский крест — военная награда. *Северянин* Игорь (Лотарев Игорь Васильевич, 1887—1942) — русский поэт. У Маяковского всегда появляется как воплощение изысканной салонно-ресторанной поэзии, отвечающей вкусам буржуазной публики. См. в поэме «Облако в штанах»: «А из сигарного дыма, ликерною рюмкой, вытягивалось пропитое лицо Северянина...»

Гимн судье. Впервые — НС, 1915, № 9, стр. 2, под заглавием «Судья», с иллюстрацией А. Радакова. С изменениями — изд. 1916 г. Печ. по «Все сочиненное», стр. 53. Вошло в «13 лет», т. 1; Соч., т. 1. В 1920 г. Маяковский начитал это стихотворение на фонограф.

Гимн ученому. Впервые — НС, 1915, № 12, стр. 12, под заглавием «Ученый», с иллюстрацией А. Радакова. Печ. по «Все сочиненное», стр. 54. Вошло в «13 лет», т. 1; Соч., т. 1. А. Радаков вспоминает: «В 1915 г. я иллюстрировал ряд стихов Маяковского — «Гимн судье», «Гимн взятке», «Гимн ученому», «Гимн здоровью». Мне было очень трудно. Я чувствовал, что Маяковского надо иллюстрировать как-то иначе, не так, как других поэтов. Не удавался рисунок «Гимн ученому», рисунок получался какой-то неубедитель-

ный. Маяковский долго смотрел на рисунок и сказал: «А вы спрячьте голову ученого в книгу, пусть с головой уйдет в книгу». Я так и сделал. И рисунок тематически очень выиграл, тема стихотворения была раскрыта» («Литературная газета», 1940, 26 апреля).

Военно-морская любовь. Впервые — НС, 1915, № 25, стр. 25. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1; Избр. 1926; Соч., т. 1. В 1920 г. Маяковский начитал стихотворение на фонограф.

Гимн критику. Впервые — НС, 1915, № 28, стр. 9, с иллюстрацией А. Радакова. Печ. по «Все сочиненное», стр. 55. Вошло в «13 лет», т. 1; Соч., т. 1. Список К. И. Чуковского с черновой рукописи — БММ.

Гимн обеду. Впервые — НС, 1915, № 29, стр. 3. С изменениями — ПЗ. Печ. по «Все сочиненное», стр. 57. Вошло в «13 лет», т. 1; Соч., т. 1. *Реймс.* Реймский собор — один из шедевров готической архитектуры XIII в., в годы первой мировой войны подвергался варварскому обстрелу германской артиллерии.

Вот так я сделался собакой. Впервые — НС, 1915, № 31, стр. 7, с подзаголовком «Нам. Вам. Им». С изменениями — изд. 1916 г., стр. 34. Печ. по «Все сочиненное», стр. 48. Вошло в «13 лет», т. 1; Соч., т. 1.

Кое-что по поводу дирижера. Впервые — НС, 1915, № 32, стр. 6. С изменениями — изд. 1916 г., стр. 37. Печ. по Соч., т. 1, стр. 171. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1; Избр. 1923.

Пустяк у Оки. Впервые — НС, 1915, № 33, стр. 10. С изменениями — КФ. Печ. по Соч., т. 1, стр. 178. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1.

Гимн взятке. Впервые — НС, 1915, № 35, стр. 2, с иллюстрацией А. Радакова. Печ. по Соч., т. 1, стр. 188. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1. Весь этот номер журнала был посвящен разоблачению взяточничества.

Внимательное отношение к взяточникам. Впервые — НС, 1915, № 35, стр. 4. С изменениями — КФ. Под заглавием «Гимн взятке» — МУ, стр. 17. Печ. по «Все сочиненное», стр. 60. Вошло в «13 лет», т. 1; Соч., т. 1.

Чудовищные похороны. Впервые — НС, 1915, № 36, стр. 6. С изменениями — изд. 1916 г., стр. 39. Печ. по «Все сочиненное», стр. 49. Вошло в «13 лет», т. 1; Соч., т. 1. *Гаршин* Всеволод Михайлович (1855—1888) — русский писатель, чье творчество отличалось болезненно обостренным восприятием социального зла, несправедливости.

Мое к этому отношение. Впервые — НС, 1915, № 38, стр. 5, без подзаголовка. Печ. по «Все сочиненное», стр. 61. Вошло в «13 лет», т. 1; Соч., т. 1. Смысл подзаголовка раскрывается в сопоставлении с заглавием стихотворения «Теплое слово кое-каким порокам (почти гимн)». *Сытин* Иван Дмитриевич (1851—1934) — крупный русский издатель. В воспоминаниях о Маяковском, относящимся к 1911 г., М. Н. Бурлюк пишет: *«„Сыт — как Сытин“,* как острил тогда вечно неунывающий Бурлюк» («Красная стрела», Нью-Йорк, 1932, стр. 10). *Апухтин* Алексей Николаевич (1841—1893) — поэт, страдал болезненным ожирением. *Спектакль-гала́ затеяла труппа малороссов.* Спектакль-гала́ — особенно пышное представление, включающее драматические и музыкальные жанры. После успеха в 1890-е годы украинского театра корифеев появилось множество украинских провинциальных гастролирующих трупп с довольно низкопробным мелодраматическим репертуаром.

Эй! Впервые — НС, 1916, № 8, стр. 5, с посвящением: «Михаилу Александровичу Гринкругу». Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1; Соч., т. 1.

Ко всему. Впервые — альм. «Стрелец», вып. 2, Пг., 1916, стр. 117, под заглавием «Анафема», с цензурным изъятием ст. 42—43, 72, 98—101, 110, цензурной купюрой в ст. 77. С изменениями — изд. 1916 г., под заглавием «Ко всей книге» и с посвящением: «Л. Ю. Б<рик>». Печ. по «Все сочиненное», стр. 118. Вошло в «13 лет», т. 1 (заглавие — «Анафема»); Соч., т. 1. В альм. «Стрелец» были напечатаны вместе футуристы и символисты. 5 февраля 1915 г. Маяковский выступал в Петрограде в артистическом подвале «Бродячая собака» на вечере, посвященном выходу первой книжки «Стрельца», где были напечатаны отрывки из пролога и четвертой части поэмы «Облако в штанах». «...Нужно отдать должное футуризму: он, гордясь пришествием к себе символистов, все же иронически относится к возможности благотворного влияния на себя такого общения. По крайней мере г. Маяковский, наидерзостнейший футурист, презрительно заявил, говоря о возможном воздействии символистов на футуристов, что он не желает, чтобы ему „прививали мертвую ногу“» («Современный мир», 1915, № 3, стр. 166). *«Око за око!»* — из Библии.

Надоело. Впервые — НС, 1916, № 46, стр. 12, под заглавием «Лучше не называть», с иллюстрацией А. Радакова. С изменениями — «13 лет», т. 1, стр. 156. Здесь ст. 62 — «в 1914». Печ. по Соч., т. 1, стр. 198. *Рябое прочту «Простое как мычание».* Имеется в виду сборник Маяковского, вышедший в 1916 г. Рябое — от точек на месте цензурных купюр.

Дешевая распродажа. Впервые — НС, 1916, № 48, стр. 5, с цензурной купюрой в ст. 24. Печ. по «Все сочиненное», стр. 95. Вошло в «13 лет», т. 1; Соч., т. 1. *Морган* Джон Пирпонт

(1837—1913) — американский миллиардер. *Надеждинская* — улица в Петрограде, теперь ул. Маяковского. Маяковский жил здесь в 1916 г.

Хвои. Впервые — НС, 1916, № 52, стр. 11. С изменениями — КФ. С новыми изменениями — «Все сочиненное», стр. 96. Печ. по Соч., т. 1, стр. 160. Вошло в «13 лет», т. 1.

Себе, любимому, посвящает эти строки автор. Впервые — «Весенний салон поэтов», М., 1918, стр. 123. С изменениями — «Все сочиненное», стр. 117. Печ. по «13 лет», т. 1, стр. 68. Вошло в Соч., т. 1; Избр. 1923. *Кесарево кесарю — богу богово* — несколько видоизмененная цитата из Евангелия. *Голиаф* (библ.) — богатырь-филистимлянин, воплощение физической силы.

Лиличка! Впервые — «С Маяковским», М., 1934, стр. 75. Беловой автограф с датой «26 мая 1916 г. Петроград» и посвящением: «Л. Ю. Брик». *Глава в крученыховском аде.* Имеется в виду поэма А. Крученых и В. Хлебникова «Игра в аду» (1912).

Последняя петербургская сказка. Впервые — «Все сочиненное», стр. 51. Вошло в «13 лет», т. 1; Соч., т. 1. *Стоит император Петр Великий.* Имеется в виду памятник Петру I скульптора Фальконе на бывшей Сенатской, теперь — площади Декабристов в Ленинграде. *«Запирую на просторе я!»* — перефразированная строка из поэмы Пушкина «Медный всадник»: «И запируем на просторе». *Трое медных.* Композицию памятника Петру I составляют три фигуры: всадник на вздыбленном коне попирает копытами змею. *Гренадин* — прохладительный напиток, который было принято пить через соломинку.

России. Впервые — «Все сочиненное», стр. 116. Вошло в «13 лет», т. 1; Соч., т. 1.

Братья писатели. Впервые — НС, 1917, № 3, стр. 8. С изменениями — КФ. Печ. по «Все сочиненное», стр. 100. Вошло в «13 лет», т. 1; Соч., т. 1. *«Бристоль»* — кафе в Петрограде, посещаемое литераторами. *Виллон* (Вийон) Франсуа (род. 1431) — поэт французского средневековья. В 1916 г. вышла книга его переводов «Отрывки из „Большого завещания“». По свидетельству И. Г. Эренбурга, Маяковский любил повторять строки из «Эпитафии» Вийона: «И сколько весит этот зад, узнает скоро шея». («Знамя», 1936, № 5, стр. 67). Вийон был связан с уголовным миром, приговаривался к повешению за убийство. *«Причесываться? Зачем же?! На время не стоит труда, а вечно причесанным быть невозможно»* — ироническая перефразировка строк из стихотворения М. Ю. Лермонтова «И скучно и грустно»: «Любить, но кого же?.. на время — не стоит труда, а вечно любить невозможно».

Революция. Впервые — НЖ, 1917, 21 мая, с подзаголовком «Хроника» и посвящением: «Л. Ю. Б<рик>». С изменениями —

«Газета футуристов», 1918, 15 марта. Печ. по АП, стр. 4. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1; Избр. 1923; Соч., т. 2. Черновые записи ст. 1—72, 115—118, 125—129, 159—212, 169—175 в ЗК № 1 (1917) — БММ. Здесь ст. 169—179:

Мы русские
Нам и француз и англичанин родной.
Нам и турки и немцы и негры братья.
Мы на нашей планете
воины одной
жизнь охраняющей рати.

26 февраля 1917 г. началась Февральская революция. В автобиографии в главке «26 февраля, 17-й год» говорится: «Пишу в первые же дни революции Поэтохронику «Революция». Читаю лекции „Большевики искусства“» (т. 1, стр. 24). *Волынский полк* — первый из полков Петроградского гарнизона, перешедший на сторону революции. Маяковский, будучи призван в армию, служил в *военно-автомобильной школе. «Граждане, за ружья! К оружию, граждане!»* — слова «Марсельезы» (перевод П. Л. Лаврова). *Купол Думы.* Государственная дума заседала в Таврическом дворце, здание которого увенчано куполом. *Марат* Жан-Поль (1743—1793) — выдающийся политический деятель и оратор французской революции 1789—1793 гг. По его инициативе принимались суровые, карающие законы. *Новые несем земле скрижали с нашего серого Синая.* По библейской легенде, на горе Синай пророк Моисей получил от бога скрижали (каменные доски, таблицы) с текстом десяти заповедей.

Сказка о красной шапочке. Впервые — НЖ, 1917, 30 июля, под заглавием: «Сказочка. Цвету интеллигенции посвящаю». С изменениями — «Все сочиненное», стр. 196. Печ. по «13 лет», т. 1, стр. 127. Вошло в Соч., т. 2. *Кадеты* — конституционно-демократическая партия либерально-монархической буржуазии. После июльского расстрела рабочей демонстрации министры Временного правительства, принадлежавшие к кадетской партии, вынуждены были уйти в отставку.

К ответу! Впервые — НЖ, 1917, 9 августа. Черновой автограф в ЗК № 1 (1917) — БММ. В связи с появлением этого стихотворения в редактируемом М. Горьким органе, меньшевистская оборонческая газета «Единство» писала: «...Если до сих пор только... скучные прозаики... победно боролись с «империализмом»... Милюкова, французов и англичан, то теперь за это дело взялся в стихах футурист Маяковский... Видимо, плохая политическая проза настолько испортила вкус М. Горького, что он потерял чутье и к поэзии» («Единство», 1917, 11 августа). В стихотворении названы реальные территориальные интересы воюющих империалистических держав. За влияние в *Албании* боролись Австро-Венгрия, Италия, Балканские государства. Пролив *Босфор* был объектом империалистических интересов Англии, Франции, Турции, России, Германии.

В борьбе за обладание *Месопотамией,* богатой нефтью областью между реками Тигр и Ефрат в передней Азии, сталкивались интересы Англии и Турции.

Интернациональная басня. Впервые — «Все сочиненное», стр. 196. Печ. по Соч., т. 2, стр. 14. Вошло в «13 лет», т. 1. Черновой автограф с заглавием «Басня» в ЗК № 1 (1917) — БММ. Маяковский подразумевает союз воевавших против кайзеровской Германии империалистических правительств Англии *(дог),* Франции *(петух),* царской России *(вор* — Николай II) и Италии, получивший название Антанты, или «Четверного согласия». В связи с революцией в России и низложением Николая II наметился развал Антанты. Россия официально вышла из союза после Октябрьской революции.

«Ешь ананасы, рябчиков жуй...» Впервые — журн. «Соловей», 1917, № 1, в качестве подписи к сатирическому рисунку на обложке. Печ. по Соч., т. 4, стр. 231. В статье «Только не воспоминания» Маяковский пишет: «К «Привалу» <«Привал комедиантов» — артистическое кафе в Петрограде> стали приваливаться остатки фешенебельного и богатого Петербурга. В такт какой-то разухабистой музычке я сделал двустишие... Это двустишие стало моим любимейшим стихом: петербургские газеты первых дней Октября писали, что матросы шли на Зимний, напевая какую-то песенку: Ешь ананасы...» (т. 12, стр. 151—152). Разухабистая музыка — мотив песни «Эй, ухарь купец». Процитировано Маяковским в поэме «Владимир Ильич Ленин» (см. т. 2 наст. изд., стр. 433).

ТРАГЕДИЯ, ПОЭМЫ
(1913—1917)

Владимир Маяковский. Впервые — «Владимир Маяковский. Трагедия в двух действиях с прологом и эпилогом». М., 1914. На обложке: «Владимир Маяковский. Трагедия Владимира Маяковского, шедшая в 1913 году в театре «Луна-парк» (Петербург)». В тексте цензурой сняты строки: «где за святость распяли пророка» и сделаны купюры в ст. 95, 98, 178. Издано с портретом Маяковского работы Д. Бурлюка. С изменениями — изд. 1916 г., стр. 61. С новыми изменениями — «Все сочиненное», стр. 29. Печ. по Соч., т. 1, стр. 93. Вошло в «13 лет», т. 1. Экземпляр первого издания с поправками Маяковского (1915) — БММ. Цензурный машинописный экземпляр, являющийся сценической редакцией трагедии, — ЦГАЛИ. Дата представления в цензуру — 9 ноября, разрешено цензурой к постановке — 15 ноября 1913 г. Над трагедией Маяковский работал летом 1913 г. на даче в Кунцеве (под Москвой). Самое раннее упоминание о трагедии — в декларации состоявшегося в июле 1913 г. «Первого всероссийского съезда баячей будущего», где она названа: «Железная дорога» («За 7 дней», 1913,

№ 28, стр. 166). Другой вариант названия — «Восстание вещей» (Elsa Triolet. Maïkovski, poète russe. Souvenirs. Paris, 1939, стр. 12). По свидетельству А. Крученых: «Маяковский до того спешно писал пьесу, что даже не успел дать ей название, и в цензуру его рукопись пошла под заголовком «Владимир Маяковский. Трагедия». Когда выпускалась афиша, то полицеймейстер никакого нового названия уже не разрешал, а Маяковский даже обрадовался: «Ну пусть трагедия так и называется: „Владимир Маяковский“» (ПСС 1939, т. 1, стр. 449). Маяковский заключил 16 ноября 1913 г. договор с петроградским «Союзом молодежи»: «Я, нижеподписавшийся, передаю обществу художников «Союз молодежи» свою трагедию «Владимир Маяковский» для постановки в Петербурге в сезон 1913—1914. Постановка ведется по моим указаниям и под моим личным наблюдением за всей художественной частью пьесы. . .» (Катанян, стр. 55—56). Поэт сам осуществил постановку трагедии силами любителей, приглашенных через объявления в газете. В работе над спектаклем ему помогал режиссер В. Р. Раппопорт. Первая читка трагедии и распределение ролей происходили в Троицком театре миниатюр. Оформление пролога и эпилога, а также костюмы были сделаны П. Н. Филоновым, декорации к 1-му и 2-му действию — И. С. Школьником. (Воспроизведены — «Изобразительное искусство», 1919, № 1, стр. 39.) 2 и 4 декабря 1913 г. трагедия была показана на сцене бывшего театра В. Ф. Комиссаржевской, в то время театра оперетты «Луна-парк» (Офицерская ул., теперь ул. Декабристов). Заглавную роль трагедии исполнял автор, он же читал текст ряда других ролей, так как некоторые из участников на представление не пришли. «. . .Поэт оставался на сцене таким, какой он в жизни: с своим лицом, с своими манерами, в своей желтой блузе, в своем пальто и шляпе, с своей тросточкой. Другие же лица были отвлеченные, и не только чудища, носящие перед собой картоны («Старик с черными сухими кошками», «Человек без глаза и ноги», «Человек без уха» и «Человек без головы»), а и «Обыкновенный молодой человек», газетчики и «Женщины со слезинками и слезаньками», которые были похожи на людей» (П. Ярцев. Театр футуристов. — «Речь», 1913, 7 (20) декабря). Спектакль вызвал множество рецензий в столичной и провинциальной прессе, в большинстве случаев отрицательных. Положительно трагедия была оценена В. Я. Брюсовым («Русская мысль», 1914, № 5, стр. 5) и К. И. Чуковским («Русское слово», 1913, 4 декабря). На одном из представлений трагедии был А. А. Блок. *Старик с черными сухими кошками.* Один из тезисов доклада Маяковского «Перчатка», прочитанного 13 октября 1913 г. в Москве, — «Египтяне и греки, гладящие черных сухих кошек» (т. 1, стр. 366). В газетном отчете об этом выступлении говорится: «Нашелся у него <Маяковского> даже один недурной образ в ответ на указания, что футуризм не нов: и у других могли быть проблески «истинной» поэзии. Но египтяне, которые гладили черных сухих кошек, может быть, тоже извлекали иногда электрическую искру. Однако. . . мы прославляем не их, а тех, кто дал огненные зрачки мертвым головам уличных фонарей и тысячи рук поющим дугам трамваев» («Утро России»,

1913, 15 октября). См. также статью Маяковского «Без белых флагов». *Матчиш* — модный в то время эстрадный танец. В ритмическом строе матчиша Маяковским написан монолог негуса в «Мистерии-буфф» «Хоть чуть чернее снега я». *Фигаро, Матэн* — названия французских газет.

Облако в штанах. Впервые — «Стрелец», № 1, Пг., 1915, стр. 87, с подзаголовком «отрывок из трагедии» — ст. 21—26 вступления и ст. 2—22, 41—78, 91—103 4-й части. В статье «О разных Маяковских» («Журнал журналов», 1915, № 17, стр. 4) Маяковский процитировал ряд строк своей, как здесь сказано, «второй трагедии»: 70—81, 96—139, 152—160 2-й части и 36—41, 92—103 3-й части. Полностью — «Облако в штанах. Тетраптих», Пг., 1915, с посвящением: «Тебе, Лиля <Л. Ю. Брик>», с изъятыми цензурой ст. 42—45, 115—127, 140—147 2-й части, 88—91, 106—107, 133—137 3-й части, 86—89, 96, 132—174 4-й части, с цензурными купюрами в ст. 99, 132, 158—159, 164 3-й части. С изменениями и новыми цензурными изъятиями — изд. 1916 г., стр. 85. Исключенные цензурой строки — НС, 1917, № 11, стр. 10, под заглавием «Восстанавливаю» и следующим предисловием: «Моя книга «Облако в штанах» была послана в цензуру под первоначальным названием «Тринадцатый апостол». Помещаю из этой изуродованной в первом и кастрированной во втором издании книги — 75 строк». Под вторым изданием Маяковский имеет в виду перепечатку поэмы в Изд. 1916 г. С восстановлением цензурных купюр и изменениями — «Облако в штанах. Тетраптих», 2-е изд., Пг. (вышло в Москве), 1918, с предисловием — «Второму изданию»: «„Облако в штанах“ (первое имя «Тринадцатый апостол» зачеркнуто цензурой. Не восстанавливаю. Свыкся) считаю катехизисом сегодняшнего искусства. «Долой вашу любовь», «долой ваше искусство», «долой ваш строй», «долой вашу религию» — четыре крика четырех частей. Долг мой восстановить и обнародовать эту искаженную и обезжаленную дореволюционной цензурой книгу». С изменениями — «Все сочиненное», стр. 70. С новыми изменениями — «13 лет», т. 2, стр. 85. 3-е изд. с изменениями — М., 1925. Печ. по Соч., т. 1, стр. 119. Вошло в Избр. 1923. Черновой автограф не вошедшей в текст строфы:

Небо какао
От лета запах
паленного верблюда.
Шаги азартны
Как игроки в макао
А шляпа бульвара
Вся в перьях люда

и заключительных восьми строк поэмы — БММ. Текст цензурных изъятий 1-го издания, вписанный поэтом в экземпляры О. М. Брика и Л. Ю. Брик, — собрание Л. Ю. Брик. В автобиографии, в главке «Начало 14-го года», Маяковский пишет: «Чувствую мастерство. Могу овладеть темой. Вплотную. Ставлю вопрос о теме. О рево-

люционной. Думаю над „Облаком в штанах“» (т. 1, стр. 22). В главке «Куоккала»: «Вечера шатаюсь пляжем. Пишу «Облако». Выкрепло сознание близкой революции» (т. 1, стр. 23). К. И. Чуковский, живший в то время в Куоккале, рассказывает о работе Маяковского над поэмой: «Это продолжалось часов пять или шесть — ежедневно. Ежедневно он исхаживал по берегу моря 12—15 верст. Подошвы его стерлись от камней, нанковый синеватый костюм от морского ветра и солнца давно уже стал голубым, а он все не прекращал своей безумной ходьбы... Каждый вечер, придумав новые строки, Маяковский приходил ко мне, или к Кульбину, или к художнику Пуни и делился своей новой продукцией. Иногда в течение недели ему удавалось создать семь или восемь стихов, и тогда он жаловался, что у него —

Тихо барахтается в тине сердца
Глупая вобла воображения.

Иногда какая-нибудь рифма отнимала у него целый день, но зато, записав сочиненное, он уже не менял ни строчки. Записывал он большей частью на папиросных коробках» (однодневная газета «Владимир Маяковский», 1930, 24 апреля). Выступая на вечере в Доме комсомола Красной Пресни 25 марта 1930 г., Маяковский вспоминал: «Оно <«Облако в штанах»> начато письмом в 1913/14 году, закончено в 1915 году и сначала называлось «Тринадцатый апостол». Когда я пришел с этим произведением в цензуру, то меня спросили: «Что вы, на каторгу захотели?» Я сказал, что ни в каком случае, что это ни в коем случае меня не устраивает. Тогда мне вычеркнули шесть страниц, в том числе и заглавие. Это — вопрос о том, откуда взялось заглавие. Меня спросили — как я могу соединить лирику и большую грубость. Тогда я сказал: «Хорошо, я буду, если хотите, как бешеный, если хотите, буду самым нежным, не мужчина, а облако в штанах». Эта книжка касалась тогдашней литературы, тогдашних писателей, тогдашней религии, и она вышла под таким заглавием» (т. 12, стр. 36). Еще о заглавии поэмы в статье «Как делать стихи?»: «Году в тринадцатом, возвращаясь из Саратова в Москву, я, в целях доказательства какой-то вагонной спутнице своей полной лояльности, сказал ей, что я «не мужчина, а облако в штанах». Сказав, я сейчас же сообразил, что это может пригодиться для стиха, а вдруг это разойдется изустно и будет разбазарено зря?.. Через два года «облако в штанах» понадобилось мне для названия целой поэмы» (т. 12, стр. 91—92). В начале июля 1915 г. Маяковский читал поэму М. Горькому на даче в Мустамяках. Горький вспоминал об этой встрече в письме к И. А. Груздеву (апрель 1930 г.): «...Там он читал «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник» — отрывки и много различных лирических стихов. Стихи очень понравились мне, и читал он отлично, даже разрыдался, как женщина, чем весьма испугал и взволновал меня. Жаловался на то, что «человек делится горизонтально по диафрагме». Когда я сказал ему, что — на мой взгляд — у него большое, хотя, наверно, очень

тяжелое будущее и что его талант требует огромной работы, он угрюмо ответил: «...«Я хочу будущего сегодня» и еще «Без радости не надо мне будущего, а радости я не чувствую». Вел он себя очень нервозно, очевидно был глубоко расстроен... Он говорил как-то в два голоса, то — как чистейший лирик, то — резко сатирически. Чувствовалось, что он не знает себя и чего-то боится... Но было ясно — человек своеобразно чувствующий, очень талантливый и — несчастный» (цит. по кн.: Б. Бялик. О Горьком. М., 1947, стр. 225). Ранее Горький слушал отрывки из поэмы на вечере в артистическом подвале «Бродячая собака» 25 февраля 1915 г. По воспоминаниям А. Н. Тихонова (Сереброва), Горького «поразила в поэме богоборческая струя. Он цитировал стихи из «Облака в штанах» и говорил, что такого разговора с богом он никогда не читал, кроме как в книге Иова, и что господу богу от Маяковского здорово влетело...» (БММ). Сохранился экземпляр первого издания поэмы с надписью Маяковского: «Алексею Максимовичу с любовью». *Химеры Собора Парижской Богоматери* — изваяния мифических чудищ на здании собора. *Джек Лондон* (1876—1916) — американский писатель. В 1918 г. Маяковский написал по роману Д. Лондона «Мартин Иден» сценарий «Не для денег родившийся» и снимался в этой картине в главной роли поэта Ивана Нова. В заметке, написанной, по-видимому, самим Маяковским, говорится: «В своем кинoромане «Не для денег родившийся» Маяковский дает Ивана Нова, это тот же Иден, только сумевший не быть сломленным под тяжестью хлынувшего золота» («Мир экрана», 1918, № 3, стр. 13). *Джиоконда* (Монна-Лиза) — знаменитая картина Леонардо да Винчи. В 1911 г. была украдена из Лувра. Отыскана и возвращена в музей в 1913 г. *«Лузитания»* — английский пассажирский пароход. 7 мая 1915 г. был торпедирован германской подводной лодкой и сгорел в открытом море. *Городов вавилонские башни.* По библейскому преданию, жители Вавилона решили строить башню до неба. Разгневанный бог смешал языки, и люди, перестав понимать друг друга, не смогли осуществить свой замысел. *Что мне до Фауста, феерией ракет скользящего с Мефистофелем в небесном паркете!* Во второй части драматической поэмы Гёте «Фауст» Мефистофель и Фауст переносятся по небесному эфиру в разные страны и разные эпохи. *Заратустра* — мифический создатель религии народов Средней Азии, Персии, Азербайджана. Маяковский употребляет здесь в смысле — пророк, глашатай, имея в виду героя философской поэмы Ф. Ницше «Так говорил Заратустра». *Это взвело на Голгофы аудиторий Петрограда, Москвы, Одессы, Киева.* Голгофа — холм близ Иерусалима, где, по евангельской легенде, был распят Иисус Христос. Маяковский имеет в виду свои выступления в различных городах России в конце 1913 — начале 1914 гг. *«Распни его!»* — цитата из Евангелия. Согласно евангельскому рассказу, в Иерусалиме существовал обычай по случаю праздника отпускать одного из узников. Римский наместник Пилат предложил освободить Христа, оклеветанного первосвященниками. Но толпа потребовала казни Христа и просила отпустить убийцу Варавву. См. далее: *«Видишь — опять голгофнику оплеван-*

ному предпочитают Варавву?». Сквозь свой до крика разодранный глаз лез, обезумев, Бурлюк. Бурлюк был слеп на один глаз. *Пейте какао Ван-Гутена!* Как сообщали газеты, приговоренный к смерти согласился крикнуть в момент казни: «Пейте какао Ван-Гутена!» За это рекламное выступление фирма обещала большое вознаграждение семье казненного. *Северянин* — см. стр. 600. *Бисмарк* фон Шенгаузен Отто (1815—1898) — канцлер Германской империи. *Галифе.* Галиффе Гастон (1830—1909) — французский генерал, жестоко расправившийся с парижскими коммунарами в 1871 г. *Пирует Мамаем, задом на город насев.* Полководцы Чингисхана после победы на Калке в 1223 г. пировали, сидя на досках, положенных на тела побежденных. Маяковский ошибочно приписывает это хану Золотой Орды Мамаю. *Азеф* Е. Ф. (1869—1918) — провокатор, работавший в эсеровском подполье. Имя Азефа стало синонимом предательства. *Поэт сонеты поет Тиане.* «Тиана» — стихотворение И. Северянина. *«Хлеб наш насущный даждь нам днесь»* — слова молитвы «Отче наш». *Тысячу раз опляшет Иродиадой.* По евангельской легенде, вокруг блюда с головой казненного Иоанна Крестителя танцевала не Иродиада, а ее дочь Саломея. *На дереве изучения добра и зла.* По библии, запретный плод с древа познания добра и зла вкусили Адам и Ева, после чего были изгнаны из рая. *Ки-ка-пу* — эстрадный танец. *Апостол Петр* — по церковному преданию, считается хранителем ключей от врат, ведущих в царство небесное. *Больше не хочу дарить кобылам из севрской му́ки изваянных ваз.* Знаменитый завод в Севре выпускал особенно тонкие и ценные фарфоровые изделия. Ваза из му́ки — метафорический образ сердца, души. Ср. в стихотворении «Ко всему»: «Теперь — клянусь моей языческой силою! — дайте любую красивую, юную, — души не растрачу». См. также в стихотворении «Несколько слов о моей маме»: «Если станет жалко мне вазы вашей му́ки». Метафору «ваза из му́ки» можно рассматривать как использование с несколько пародийным оттенком поэтики ранних символистов. См. стихотворение Апухтина «Разбитая ваза».

Флейта-позвоночник. Впервые первая часть — «Взял», Пг., 1915, стр. 4, с посвящением: «Лиле Юрьевне Брик», с изъятыми цензурой ст. 15—16, 21, 24, 25, 46—55, 61. Полностью — отд. изд., Пг., 1916, с посвящением: «Лиле Юрьевне Б<рик>», с изъятыми цензурой ст. 17—20 пролога, ст. 3, 15—17, 21, 24, 25, 49—61, 68—74, 84 1-й части, ст. 9—16. 17, 73—80 2-й части, ст. 94 3-й части. С изменениями и восстановлением цензурных купюр — «Все сочиненное», стр. 103, заглавие «Флейта позвоночника». С новыми изменениями — «13 лет», т. 2, стр. 5, и Лирика, стр. 7. Печ. по Соч., т. 1, стр. 225. Экземпляр первого издания со вписанным рукою Маяковского текстом цензурных изъятий — ЦГАЛИ. *Стрелка, Сокольники* — места загородных прогулок в Петрограде и Москве. *Святая Елена* — остров в Атлантическом океане, куда был сослан и где умер в 1821 г. Наполеон. *Как слоны стопудовыми играми завершали победу Пиррову.* В битве при Сирисе в 280 г. эпирский царь Пирр впервые применил против римлян боевых слонов, что и обеспечило ему побе-

ду. *Бялик* Хаим-Нахман (1873—1934) — поэт, писавший на древнееврейском языке. *Король Альберт* (1875—1934) — бельгийский король. В 1914 г. германские войска, наступая на Францию, оккупировали Бельгию.

Война и мир. Впервые 5-я часть — «Летопись», 1917, № 2—4, стр. 247; Пролог — «Летопись», 1917, № 7—8, стр. 7; 4-я часть — «Чудо в пустыне», Одесса, 1917, стр. 25; 3-я часть — НЖ, 1917, 13 августа. Полностью — «Война и мир», Пг., 1917. С изменениями — «Все сочиненное», стр. 125, и «Война и мир», 2-е изд. (Пг., 1919). Печ. по «13 лет», т. 2, стр. 121. Вошло в «225»; Соч., т. 1; ШМ. Корректура первого издания — ЦГАЛИ. Здесь в конце 4-й части вычеркнуто:

Пусть одни проклятья привык реветь —
забудьте!
Умер я,
отвратительный и грубый!
Отныне некому и не на кого выкрикивать
в славословие сложенные губы!
Вижу
нового солнца лучи.
С тела на тело!
И вот я светлых гор достиг.
Слышите, —
как с неба голос звучит:
имя человечье несите в гордости!
Славься, человек!
Славься, сияние новых весен!
Вся вселенная со всеми живыми, радуйся!

3-ю часть поэмы Маяковский читал в редакции «Летописи» в присутствии М. Горького. Цензура запретила ее публикацию, и в № 9 журнала за 1916 г. поэма была помещена в списке произведений, которые «не могут быть напечатаны по независящим от редакции обстоятельствам». Вторая половина заглавия по дореволюционной орфографии писалась через «і» — «Міръ», т. е. вселенная. *Лиле* — Л. Ю. Брик. *8 октября. 1915 год* — фактическая дата призыва Маяковского в царскую армию. *Под рубрикой «убитые»* в газетах печатались официальные списки погибших на фронте. В начале первой части помещены ноты популярного в те годы аргентинского танго. *Ной* — библейский патриарх. Согласно библейской легенде, во время всемирного потопа спасся в построенном им по божественному указанию ковчеге. Упившийся вином Ной был осмеян своим сыном Хамом. *Бурш* — от названия немецких студенческих корпораций, отличавшихся буйными кутежами. Применяется к немецким студентам вообще, с ироническим оттенком. *Митральеза* — скорострельная пушка. *Нерон* (37—68) — римский император. Известен своей страстью к жестоким зрелищам, к грандиозным теа-

тральным представлениям, в которых сам принимал участие. Согласно легенде, поджег Рим и любовался картиной пожара. *Колизей* — самый большой из амфитеатров в Древнем Риме, вмещавший 87 тысяч зрителей. *«Спаси Господи лю<ди твоя>»* — из церковной службы. *Разящий Георгий.* Святой Георгий Победоносец считался покровителем русского оружия. На коне, разящий копьем змея, он изображался на военных знаменах. На реке *Марне* во Франции в 1914 г. шли ожесточенные бои. *Жоффр* — главнокомандующий французской армией в первой мировой войне. *Морзе* Самюэль (1791—1872) — изобретатель телеграфного аппарата. *Ваганьково* — кладбище в Москве. *За ны* (древнеслав.) — за нас. *Понтий Пилат* — наместник Рима в Иудее; по евангельскому преданию, при нем был распят Христос. *Саваоф* — одно из библейских имен бога. *Иегова* — имя бога в израильской религии. *Тальони* Мария (1804—1884) — знаменитая итальянская балерина. *Вий.* В примечании к повести «Вий» Гоголь пишет: «„Вий" — есть колоссальное создание простонародного воображения. Таким именем называется у малороссиян начальник гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли». При своем появлении в повести Гоголя Вий произносит: *«Подымите мне веки: не вижу!»* В стихотворении «Письмо Татьяне Яковлевой»: «Вспухнут веки впору Вию». *Лазарь.* По евангельской притче о богатом и бедном, нищий Лазарь попал в небесное царство. *Маринетти* Филиппо Томазо (1876—1944) — глава итальянских футуристов. В 1914 г. приезжал в Петербург. *Каин* — персонаж Библии, братоубийца.

Человек. Впервые — отд. изд., Пг. (вышло в Москве), 1918, с подзаголовком «Вещь» и посвящением: «Тебе, Лиля» <Л. Ю. Брик>. Печ. по Соч., т. 1 стр. 285. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 2; Избр. 1923. Черновые записи ст. 19—30 гл. «Рождество Маяковского», ст. 9—13, 141—148 гл. «Жизнь Маяковского» и ст. 53—56 гл. «Маяковский векам» в ЗК № 1 (1917) — БММ. Беловой автограф — БММ. Здесь не вошедший в текст конец вступления:

Прямо в разинутый зев
Напрасно
Мне
не нужен никто
Ни жена
ни еда
ни стих
В дверь ни в одну не войду веселящ и беспечен
Мне надоело
из дома в дом нести
остроумие
блуд
вином размытую печень
Напрасно

Не сломишь плечистого
Зря таращишь глазища блюд
Также пронесу
бережно
чисто
мальчишеское мое
«люблю».
Тобой живу
и никому
тебя
любовь
не выдам
С тобой пойду
в трущобы мук
скитаться вечным жидом.

В главке «16-й год» автобиографии: «Окончена „Война и мир“. Немного позднее — „Человек“» (т. 1, стр. 24). В конце января 1918 г. поэма читалась на вечере — «встрече двух поколений поэтов» — на квартире поэта А. Амари. «Едва кончил Маяковский, с места встал побледневший от переживаемого А. Белый и заявил, что он даже представить себе не мог, что в России в это время могла быть написана поэма столь могучая по глубине замысла и выполнению, что вещью этой двинута на громадную дистанцию вся мировая литература, и т. д. ... После окончания этого сплошного дифирамба слушавшие инстинктивно обратились с аплодисментами не к оратору, а к Маяковскому. Встал маститый И. Д. Бальмонт... Начал читать сонет. И в этом сонете, сквозь дружескую и отеческую похвалу, звучала горечь признания в сдаче позиций и отступления на второй план» («Дальневосточное обозрение», 1919, 29 июня). В феврале 1918 г. Маяковский читал поэму в Политехническом музее в Москве. *«Ныне отпущаеши»* — из церковной службы. *Ной* — см. стр. 619. *Голгофа* — см. стр. 617. *Летний сад* — в Петрограде. *В небе моего Вифлеема никаких не горело знаков.* В Вифлееме, по евангелию, родился Иисус Христос. Пришедшие поклониться новорожденному волхвы (восточные мудрецы) нашли его с помощью небесного знамения, звезды. *Говорящую рыбешку выудим нитями невода и поем, поем золотую.* Очевидно, имеется в виду «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. *Мекка* — место паломничества мусульман. Считается родиной Магомета. *Брэм* Альфред (1829—1884) — немецкий зоолог, широко известны его книги «Жизнь птиц», «Жизнь животных» и др. *Локк* Вильям Джон (1863—1930) — английский писатель, автор развлекательных романов, изображающих в идеальном свете жизнь аристократического и буржуазного общества. *Фидий* (ум. ок. 431—432 до н. э.) — великий скульптор Древней Греции. *«Солнце встает над ковылями».* Маяковский пародирует хрестоматийные стихи. *Абрам Васильевич* — знакомый Маяковского, А. В. Евнин. *«Папаша, мне скушно! Мне скушно, папаша!»* — перефразировка строки из стихотворения И. Северянина «Тиана»: «Тиана, мне скучно, мне скучно, Тиана». *Вот так же, из ниши, головы*

кобыльей вылеп. Имеется в виду сохранившееся до сих пор изваяние лошадиной головы в нише одного из домов на ул. Жуковского в Ленинграде. На ул. Жуковского жила Л. Ю. Брик. *«Со святыми упокой»* — из церковной службы.

СТИХОТВОРЕНИЯ

(1917—1924)

Наш марш. Впервые — «Газета футуристов», 1918, 15 марта. Под заглавием «Марш футуристов» — «Газета футуристов», Томск, 1919. Печ. по «Все сочиненное», стр. 199. Вошло в «13 лет», т. 1; Избр. 1923; Соч., т. 2. Беловой автограф, переданный поэтом в начале 1918 г. артистке О. В. Гзовской для исполнения с эстрады, — БММ. Известно из воспоминаний В. Д. Бонч-Бруевича, что В. И. Ленину не понравилось это стихотворение в исполнении О. В. Гзовской («На литературном посту», 1931, № 4, стр. 7). На текст стихотворения композитором А. С. Лурье была написана музыка. В дни Октябрьских торжеств 1918 г. «Наш марш» исполнялся военно-духовыми оркестрами на эстрадах, площадях, на Марсовом поле, при открытии памятника Карлу Марксу («Жизнь искусства», 1918, 20 ноября).

Ода революции. Впервые — «Пламя», 1918, № 27, стр. 441. Печ. по «Все сочиненное», стр. 194. Вошло в «13 лет», т. 1; Избр. 1923; Соч., т. 2. С. Спасский вспоминает, что Маяковский читал «Оду революции» в кафе поэтов в Москве весной 1918 г. («Литературный современник», 1935, № 3, стр. 221). *Блаженный стропила соборовы тщетно возносит.* В октябре 1917 г. во время боев с юнкерами, засевшими в Кремле, артиллерийским снарядом был поврежден собор Василия Блаженного. *«Слава»* — корабль Балтийского военного флота. Временное правительство в октябре 1917 г. готовилось сдать немцам Петроград. Балтийские моряки решили защищать город. Навстречу немецкому флоту было выведено несколько судов, в том числе «Слава». 18 октября во время боя в Моозундском проливе крейсер загорелся и был затоплен командой. *Прикладами гонишь седых адмиралов.* Имеется в виду восстание моряков в Гельсингфорсе (Хельсинки) в сентябре 1917 г. и расправа матросов с контрреволюционными офицерами.

Тучкины штучки. Впервые — «Все сочиненное», стр. 198. Вошло в «13 лет», т. 1; Соч., т. 2. В конце 1916 г. К. И. Чуковский обратился к Маяковскому с просьбой написать что-либо для детского сборника, предполагавшегося в издательстве «Парус». Возможно, что стихотворение было написано для этого издания. Должно было войти в книжку стихов «Для детков», предложенную Маяковским вместе со сборником стихов «Издевательства» для издания Отделу изобразительных искусств Наркомпроса в декабре 1918 г. Издание не было осуществлено.

Хорошее отношение к лошадям. Впервые — НЖ, 1918, 9 июня, под заглавием «Отношение к лошадям». С изменениями — Избр. 1923, стр. 39. Печ. по «Все сочиненное», стр. 197. Вошло в «13 лет», т. 1; Соч., т. 2. Маяковский сообщает в письме к Л. Ю. Брик из Москвы в конце марта 1918 г.: «Стихов не пишу, хотя и хочется очень написать что-нибудь прочувствованное про лошадь» (т. 13, стр. 32). В том же номере НЖ напечатан очерк А. М. Горького «В большом городе» об уличном происшествии в Петрограде: «Лошадь, истощенная трудом и голодом, упала на кучу торца; острые углы дерева впиваются ей в бока, переломленная оглобля колет вздутый живот. Лошадь плачет, вялые веки судорожно выжимают из мутных глаз большие, грязноватые слезы. Ее окружает толпа угрюмых людей, которым, видимо, некуда спешить: они говорят о том, что лошадь стара, воз нагружен не по силам ей, извозчик, присев на тумбу, рассказывает о дороговизне корма и пророчит: — Скоро все поумираем от бескормицы. И люди — тоже».

Приказ по армии искусства. Впервые — «Искусство коммуны», 1918, 7 декабря. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1; Избр. 1923; Избр. 1926; Соч., т. 2. 5 декабря 1918 г. Маяковский выступал на заседании Отдела изобразительных искусств Наркомпроса с сообщением о газете «Искусство коммуны». Газета считалась органом Отдела, но первый ее номер со стихотворением «Приказ по армии искусств» в виде передовой был выпущен явочным порядком по инициативе группы сотрудников Отдела, которая, как говорится в стенограмме заседания, решила «поставить коллегию перед фактом издания газеты с тем, чтобы привлечь к дальнейшему редактированию всю коллегию». «Сейчас,— сказал Маяковский на совещании, — ответственность за издание несет главным образом литературная секция, которая взялась за дело инициативно. В первом редакционном совещании участвовали: Брик, Пунин, Альтман и я, в виде совещательной лошади, которая ходила по делам газеты» (Катанян, стр. 114—115). В последующих номерах газеты были напечатаны, также в виде передовой, стихотворения Маяковского «Радоваться рано», «Поэт рабочий», «Левый марш», «С товарищеским приветом Маяковский».

Радоваться рано. Впервые — «Искусство коммуны», 1918, 15 декабря, ст. 12: «по стенкам музеев тенькать». Печ. по Соч., т. 2, стр. 177. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1. В статье «Ложка противоядия» А. В. Луначарский писал: «Мне говорят, — политика Комиссариата в деле искусства строго определена. Не напрасно, говорят мне, потрачено столько, порою, героических усилий на сохранение всякой художественной старины; не напрасно мы шли даже на нарекания, будто мы оберегаем «барское добро», — и мы не можем позволить, чтобы официальный орган нашего же Комиссариата изображал все художественное достояние от Адама до Маяковского кучей хлама, подлежащей разрушению... Итак, две черты пугают в молодом лике той газеты, на столбцах которой

печатается это мое письмо: разрушительные наклонности по отношению к прошлому и стремление, говоря от лица определенной школы, говорить в то же время от лица власти» («Искусство коммуны», 1918, 29 декабря). Статья Луначарского сопровождалась написанной, по всей вероятности при участии Маяковского, заметкой «От редакции», где говорилось, что критика стихотворения «Радоваться рано» основана на буквальном толковании его поэтических образов: «Ни один современный критик не решился бы утверждать, что Пушкин в своем стихе «Глаголом жги сердца людей» призывает поэта какими-либо горючими материалами жечь сердца своих близких». См. также примечания к стихотворению «Той стороне». *Растрелли* Бартоломео (1700—1771) — русский зодчий; по его проекту построен Зимний дворец. *А царь Александр на площади Восстаний стоит?* Памятник Александру III работы скульптора П. Трубецкого стоял на площади перед Московским вокзалом в Петрограде, находится теперь в фондах Русского музея.

Поэт рабочий. Впервые — «Искусство коммуны», 1918, 22 декабря. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1; Избр. 1923; Соч., т. 2.

Той стороне. Впервые — «Искусство коммуны», 1918, 29 декабря. Печ. по Соч., т. 2, стр. 181. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1. Стихотворение написано как полемический отклик на статью А. В. Луначарского «Ложка противоядия» (см. стр. 623—624 наст. тома).

Левый марш. Впервые — «Искусство коммуны», 1919, 12 января. Ст. 9: «Клячу истории загоним» — ДГ, стр. 7. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1; Избр. 1923; Избр. 1926; Соч., т. 2; ШМ. Впервые прочитано Маяковским 17 декабря 1918 г. в Матросском театре бывшего Гвардейского экипажа. В выступлении на вечере в Доме комсомола Красной Пресни, посвященном двадцатилетию деятельности, Маяковский вспоминал: «Мне позвонили из бывшего Гвардейского экипажа и потребовали, чтобы я приехал читать стихотворения, и вот я на извозчике написал «Левый марш». Конечно, я раньше заготовил отдельные строфы, а тут только объединил адресованные к матросам» (т. 12, стр. 436). Стихотворение было для Маяковского программным как образец массовой революционной поэзии. Он неизменно читал его на всех своих выступлениях, на массовых собраниях. Например, 12 мая 1923 г. на площади Свердлова и Советской площади на митингах протеста против убийства В. В. Воровского: «Большой, бесконечный Маяковский, выкрикивающий с балкончика статуи Свободы на медном зыке своего голоса: — Разворачивайтесь в марше... Левой! — И внизу ревущее тысячеголосое — „Левой!“» («Правда», 1923, 13 мая). С «Левого марша» начинал поэт свои выступления в Праге, Париже, Берлине, Варшаве; это было первым его стихотворением, переведенным на языки народов СССР и многие иностранные языки.

Герои и жертвы революции. Впервые — «Герои и жертвы революции. Октябрь 1917—1918». Рисунки: Богуславской, Козлинского, Маклецова, Пуни, текст Владимира Маяковского, Пг., 1918. Текст «Красноармейца» в 1919 г. выпущен как отдельный плакат. Под заглавием «Из книги рисунков «Герои и жертвы революции». 9 текстов-плакатов» — Соч., т. 4, стр. 232. Печ. по первой публикации, с исправлением в тексте «Автомобилиста» по Соч.: «и кучи его рассыплются, воя» вместо «и кучи его рассыпятся, воя». В 1927 г. Маяковский писал в статье «Только не воспоминания»: «Начались первые попытки агитпоэзии. К годовщине Октября (1918 г.) была издана ИЗО папка одноцветных плакатов под названием: «Герои и жертвы революции». Рисунки с частушечными подписями... У меня этой папки нет. Сохранилась ли она у кого-нибудь? Эта папка развилась в будущем во весь революционный плакат. Для нас — главным образом в „Окна сатиры РОСТА“» (т. 12, стр. 152). Текст к плакату «Красноармеец» приведен Маяковским в этой статье в новом варианте:

То, что знамя красное рдеется, —
дело руки красногвардейца.

Резвясь, жила синица-птица за мóрем и за вóдами. Маяковский переосмыслил тему народной песни «За морем синичка не пышно жила», уже получившей в русской поэзии социально-сатирическую интерпретацию в «Хоре ко превратному свету» А. Сумарокова и др. *Кирочная* — улица в Петрограде, теперь ул. Салтыкова-Щедрина.

Потрясающие факты. Впервые — «Искусство коммуны», 1919, 19 января. С изменением — СР, 2-е изд., стр. 17; Печ. по Соч., т. 2, стр. 42. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1; Избр. 1923. Написано в связи с восстанием берлинских рабочих в январе 1919 г. *Триэтажный призрак со стороны российской. Поднялся. Шагает по Европе* — поэтический перифраз первых строк «Коммунистического манифеста» К. Маркса и Ф. Энгельса: «...Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». В здании Смольного три этажа. *Аллея Побед* — в Берлине, украшена памятниками германских императоров, полководцев. *Летучий голландец* — легендарный призрачный корабль, обреченный на вечное скитание по морям и океанам. Встреча с Летучим голландцем предвещала несчастье и гибель. Широко известный роман Ф. Марриэта (1792—1848) «The Phantom Ship» в русском переводе назван «Летучий голландец». *Туда, где гудит союзное ржанье.* В Париже в то время происходило совещание союзных держав победителей в первой империалистической войне — Франции, Англии и США — в связи с подписанием Версальского договора с Германией.

Мы идем. Впервые — «Искусство», 1919, 1 апреля, под заглавием «Мы идем!». Печ. по Соч., т. 2, стр. 175. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1. Черновой автограф без заглавия в ЗК № 2 (1919) — БММ. *Это революция и на Страстном монастыре начертила: «Не трудящийся не ест».* Стены Страстного монастыря в

Москве (находился на теперешней площади Пушкина) в 1918—1919 гг. были расписаны революционными лозунгами.

С товарищеским приветом, Маяковский. Впервые — «Искусство коммуны», 1919, 9 февраля. Вошло во «Все сочиненное»; «13 лет», т. 1; Соч., т. 2. Написано в связи с отмечавшейся газетой годовщиной Отдела изобразительных искусств Наркомпроса.

ОКНА РОСТА И ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТА

Многорисуночные плакаты «Окна РОСТА» выпускались Российским телеграфным агентством с осени 1919 г. С января 1921 г. по январь 1922 г. выпуск плакатов продолжал Главный политико-просветительный комитет (Главполитпросвет), входивший в состав Народного комиссариата просвещения РСФСР. «Моя работа в РОСТА, — писал Маяковский в 1930 г. в предисловии к сборнику «Грозный смех», где впервые были собраны его сатирические плакаты, — началась так: я увидел на углу Кузнецкого и Петровки, где теперь Моссельпром, первый вывешенный двухметровый плакат. Немедленно обратился к заву РОСТОЙ, тов. Керженцеву, который свел меня с М. М. Черемных — одним из лучших работников этого дела. Второе окно мы делали вместе. Дальше пришел и Малютин, а потом художники: Лавинский, Левин, Брик, Моор, Нюренберг и другие, трафаретчики: Шиман, Михайлов, Кушнер и многие еще, фотограф Никитин. Первое время над текстами работал тов. Грамен, дальше почти все темы и тексты мои; работали еще над текстом О. Брик, Р. Райт, Вольпин» (т. 12, стр. 206—207). Первоначально «Окна РОСТА» вывешивались в окнах пустовавших магазинов. Отсюда их название. Плакаты размножались при помощи трафаретов, ручным способом. Несмотря на, казалось бы, мизерный тираж (не более трехсот экземпляров), «Окна РОСТА» имели большое преимущество перед печатным плакатом. «Война и разруха шли вместе, — писал Маяковский в статье «Революционный плакат». — Печатный станок не справлялся с требованием на плакат. Даже если и справлялся, то безнадежно затягивал, теряя агитационность... Однодневка-агитка целиком перешла к «кустарям»-ручникам. Эти плакаты имели огромные достоинства. Вместе с получением телеграмм (для газет, еще не напечатанных) поэт, журналист тут же давал «тему» — язвительную сатиру, стих. Ночь ерзали по полу над аршинными листами художники, и утром, часто даже до получения газет, плакаты — окна сатиры вывешивались в местах наибольшего людского скопища: агитпункты, вокзалы, рынки и т. д. Так как с машинами считаться не приходилось, плакаты делались огромных размеров 4×4 арш., многоцветные, всегда останавливающие даже бегущего» (т. 12, стр. 33—34). Всего в Москве было выпущено около 1600 плакатов, Маяковский написал тексты приблизительно к 1300 из них. «Окна» откликались на самые животрепещущие темы дня. В октябре 1919 — январе 1920 гг. это — разгром Деникина, Юденича и контрреволюционных заговоров, блокада Советской России интервентами. В феврале — апреле 1920 г. уве-

личивается количество тем, посвященных вопросам внутренней политики. С конца апреля до конца 1920 г. основной темой «окон» был третий поход Антанты (Польша, Врангель). С окончанием гражданской войны сразу появляется тема восстановления народного хозяйства. В апреле — июне 1921 г. в центре внимания вопросы, связанные с переходом к новой экономической политике, разъяснение декретов Советской власти. В июле — декабре 1921 г. — «окна» призывают к борьбе с голодом в Поволжье. Через весь 1921 г. проходит тема укрепления обороны молодого советского государства. Работа над «окнами» была для Маяковского не только общественно значительным делом, но и большой поэтической школой. Не случайно десять лет спустя в предисловии к сборнику «Грозный смех» поэт писал об «окнах» как о работе «большого словесного значения», очищавшей язык «от поэтической шелухи» (т. 12, стр. 208).

Так как все «окна» впервые «публиковались» рисованными плакатами, в примечаниях не оговаривается первая публикация, а указывается лишь источник, по которому текст «окна» печатается в данном издании.

Рабочий! Глупость беспартийную выкинь! Печ. по фотографии (ГЛМ). По устному свидетельству М. М. Черемных, является первым «окном», рисованным Маяковским. Партийная неделя проводилась осенью 1919 г. с целью усиления роста Коммунистической партии. Проведение партийной недели в Москве (8—15 октября) совпало с приближением войск Деникина. В. И. Ленин в статье «Государство рабочих и партийная неделя», напечатанной в «Правде» 12 октября, писал: «Больше новых работников из массы в ряды партии, для самостоятельного участия в строительстве новой жизни, — таков наш прием борьбы со всеми трудностями, таков наш путь к победе» (В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 30, стр. 47).

Песня рязанского мужика. Печатается по фотографии (ГЛМ). Худ. И. А. Малютин. Маяковский цитирует четверостишие: «Побывал у Дутова. . .» в статье «Только не воспоминания» как пример «хороших и популярных стихов», служащих делу агитации. В «окне» использована народная песня с припевом «Батюшки! Матушки!», известная во многих вариантах. *Дутов А. И.* (1864—1921) — атаман оренбургского белоказачества. *Краснов П. Н.* (1869—1947), *Мамонтов К. В.* (1869—1919) — белогвардейские генералы.

Два гренадера и один адмирал. Печ. по Соч., т. 4, стр. 235. Воспроизведено среди стихотворений, иллюстрирующих статью Маяковского «Прошу слова» («Огонек», 1930, № 1. Худ. Маяковский) под общим заглавием «Стиховые лозунги и лозунговые стихи». *«Во Францию два гренадера. . .»* — популярная песня на слова Генриха Гейне в вольном переводе поэта-шестидесятника М. Л. Михайлова. *Еще прихватили и Гдов.* Громя Юденича, Красная Армия заняла город Гдов 7 ноября 1919 г. *Не дали Орла.* В октябре 1919 г. между Орлом и Тулой войска Деникина

были разбиты Красной Армией. *Оттяпают Курск.* Курск был взят 17 ноября. *Адмирал.* Имеется в виду Колчак. *Николя́* — Николай II.

Баллада об одном короле и тоже об одной блохе. Печ. по Соч., т. 4, стр. 240. В «окне» пародийно использована «Песня о блохе» М. П. Мусоргского. *Не платят ни гроша.* «Стенная газета РОСТА» от 20 ноября 1919 г., № 102, сообщала: «Англия и Франция отказываются помогать Деникину и Колчаку, главным образом потому, что „у них уже больше не хватает денег. Казна опустела!“»

Неделя фронта — неделя победы.

I. Неделя фронта. II. Неделя фронта — неделя победы. III. Одно из двух. IV. «Вот „национальное отечество...“». Печ. по фотографии (ГЛМ). Худ. Маяковский. Неделя фронта проводилась в Москве с 14 по 20 января 1920 г. Стихи «Неделя фронта — неделя победы» написаны, очевидно, в связи с передовой «Правды» «Готовьтесь к „Неделе фронта“»: «Наша Красная Армия взяла уже Ростов и Нахичевань. Она доламывает сопротивление врага... Она уже объединила Россию на свой советский трудовой, революционный лад. Но чем серьезнее наши победы, тем тверже должны мы помнить, что для нас наступило теперь самое горячее время... Поэтому наши силы должны быть направлены сейчас на одну цель: так разгромить врага, чтобы он никогда, ни при каких условиях не мог уже подняться» («Правда», 1920, 11 января).

День Парижской коммуны. Печ. по фотографии (ГЛМ). Худ. Маяковский. День Парижской коммуны — 18 марта. «Окна», посвященные революционным праздникам, делались заблаговременно, за 2—3 недели. Через год, к 18 марта 1921 г. «окно» было повторено с рисунками худ. М. М. Черемных. *Галифе* — см. стр. 618.

«Мчит Пилсудский...» Печ. по фотографии (Русский музей). Худ. И. А. Малютин. Первые пять строк в несколько измененной редакции, под заглавием «Частушки» — КНива, 1923, № 8, стр. 31. Маяковский цитирует начало стихотворения в статье «Только не воспоминания». Полностью текст «окна» поэт перепечатал в журнале «Огонек», 1930, № 1. Написано в связи с началом войны с панской Польшей. 26 апреля 1920 г. армия польского маршала Пилсудского вторглась в пределы Советской Украины. 30 апреля опубликовано воззвание ВЦИК и Совнаркома «Ко всем рабочим, крестьянам и честным гражданам России» с призывом дать отпор наступлению белополяков.

«Оружие Антанты — деньги...» Печ. по оригиналу — (ЦГАЛИ). Худ. Маяковский.

Нормализованная гайка. Печ. по оригиналу (ЦГАЛИ). Худ. Маяковский.

Кто? Печ. по фотографии (ГЛМ). Худ. Маяковский. В опубликованном 21 июля 1920 г. воззвании советского правительства «К рабочим, крестьянам и всем честным гражданам Советской России и Советской Украины» говорилось: «...результатом... согласованного сотрудничества Керзона, Черчиля и Врангеля явилось новое наступление белогвардейских войск в начале июня из Крыма на север». В тексте использован шуточный прием «вопросов для эхо».

«Щадите пленных!..» Печ. по фотографии (ГЛМ). Худ. Маяковский. Написано в связи с приказом Реввоенсовета Республики от 17 июля 1920 г. о гуманном обращении с военнопленными.

История про бублики и про бабу, не признающую республики. Печ. по трафаретному оттиску (ЦГАЛИ). Худ. М. М. Черемных. Выпущено в связи с «Неделей крестьянина», которая подготавливалась заблаговременно как общегосударственная кампания, имеющая целью укрепить союз рабочего класса и крестьянства путем усиления взаимопомощи города и деревни. 6 августа «Неделе крестьянина» были посвящены передовые «Правды» и «Известий». «Неделя» проводилась в Московской губернии с 7 августа. На эту тему было выпущено несколько «окон РОСТА», текст публикуемого «окна» был тогда же отпечатан типографским способом, как отдельный плакат.

«Врангель подбит...» Печ. по фотографии (БММ). Худ. не установлен. «Окно» выпущено между 11 и 15 ноября — датами прорыва Красной Армией перекопских укреплений и взятием Симферополя, Севастополя и Феодосии.

Красный еж. Печ. по тексту журн. КН, 1932, № 8, стр. 30, где стихотворение напечатано Маяковским как текст «Окна сатиры». Оригинал или трафаретный оттиск не разыскан. В измененной редакции текст «окна» использован Маяковским в статье «Прошу слова».

«Каждый прогул...» Печ. по фотографии (ГЛМ). Худ. Маяковский.

«Красноармеец! Если ты демобилизован...» Печ. по оригиналу (ЦГАЛИ). Худ. Маяковский. Выпущено в январе 1921 г. в связи с начавшейся частичной демобилизацией Красной Армии. Правительственное сообщение о демобилизации — «Известия», 1920, 30 декабря.

«Сдай налог...» Печ. по фотографии (ГЛМ). Худ. И. А. Малютин. Выпущено в связи с постановлением ВЦИК от 21 марта 1921 г. «О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом» — одним из первых законодательных актов, связанных с переходом к новой экономической политике.

Владимир Ильич! Впервые — «Красная газета», утренний выпуск, 1922, 5 ноября. С изменением — «13 лет», т. 1, стр. 197. Печ. по Соч., т. 2, стр. 31; «обмахивать юбиляра уют» вместо «обмахивать высокий уют» и «РКП» в ст. 71 вместо «ВКП» — по автографу. Черновой автограф первоначального варианта строк 10—15, 23—30 и черновой автограф полного текста стихотворения в ЗК № 4 (1920) — БММ. Написано в 1920 г. к пятидесятилетию со дня рождения В. И. Ленина. С чтением стихотворения Маяковский выступал 28 апреля 1920 г. на вечере, посвященном В. И. Ленину в московском Доме печати. Намерение Маяковского в 1922 г. вернуться к этому стихотворению возникло в связи с общим потоком приветствий по поводу выздоровления В. И. Ленина. 3 октября В. И. Ленин впервые после четырех месяцев болезни председательствовал на заседании Совета Народных Комиссаров. Печатая стихотворение в 1922 г., Маяковский устранил указание на связь с датой, в ознаменование которой оно было написано, заменив в строке 61 слово «юбиляра» словом «высокий».

Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче. Впервые — «Лирень», М., 1920, стр. 10. С изменениями — КНива, 1923, № 1, стр. 33, заглавие «Солнце», подзаголовок «Из „Лирня“», с рисунком М. Ларионова. Отдельное издание — «Солнце», М.—Пг., 1923, заглавие в тексте: «Необычайнейшее... приключение, бывшее со мной, с Владимиром Владимировичем Маяковским, на даче — станция Пушкино, Акулова гора, дом Румянцевой, 27 верст от Москвы, по Ярославской ж. д.», иллюстрации М. Ларионова. С изменениями и заглавием: «Солнце. Необычайнейшее приключение, бывшее со мной, с Владимиром Маяковским, на даче Румянцева, Пушкино, Акулова гора, Ярославской ж. д.» — ДГ, стр. 57. 2-е отдельное издание — «Солнце в гостях у Маяковского», Нью-Йорк, 1925, заглавие в тексте: «Необычайное приключение, бывшее со мной, с Владимиром Маяковским, на даче в Пушкино, 27 верст от Москвы по Ярославской железной дороге, Акулова гора, дача Румянцева», с рисунком Д. Бурлюка. Под заглавием «Необычайнейшее приключение, бывшее со мной, с Владимиром Маяковским, на даче Румянцева, Акулова гора, Пушкино, Ярославской жел. дор.» — Избр. 1926, стр. 1. Печ. по Соч., т. 2, стр. 293, с исправлением опечатки в строке 108: «взорим» вместо «взорлим». Вошло в «13 лет», т. 1. Черновой автограф без заглавия в ЗК № 5 (1920) — БММ. Здесь первоначальные варианты ст. 114—118:

Сметя долгов и чувств тюрьму
Среди Вселенной бала
Взметаем солнца кутерьму
Смеясь во что попало

Ст. 119—125:

Иду горю что силы есть
Чтоб не отстать от друга
Какое счастье в душу влезть
Просолнить сердце лугом.

Беловой автограф с заглавием «Необычайное приключение, случившееся с Владимиром Маяковским на даче Пушкино. Акулова гора. Дача Румянцева» и подписью «Маяковский Владимир» — собрание Г. К. Флаксерман. Авторизованная машинописная копия с заглавием «Необычайное, невероятное происшествие, бывшее с Владимиром Владимировичем Маяковским летом 1920 г. в Пушкине, 28 верст от Москвы по Ярославской железной дороге, дача Румянцева, Акулова гора» и дарственной надписью Маяковского А. В. Февральскому от 9 марта 1921 г. — собрание А. В. Февральского. В 1920 г. Маяковский начитал стихотворение на фонограф. *Сиди, рисуй плакаты. ...Заела Роста.* См. примеч. к «Окнам РОСТА», стр. 626—627 наст. тома.

III Интернационал. Впервые — «Вечерняя стенная газета РОСТА», 1920, 26 июля, с подзаголовком «Марш-гимн». С изменениями — «13 лет», т. 1, стр. 200. С новыми изменениями — ДГ, стр. 27. Печ. по СР, 2-е изд., стр. 5. Вошло в Соч., т. 2. Черновой автограф без заглавия в ЗК № 5 (1920) — БММ. Здесь после ст. 19:

Подымайся капиталом покоренный.
Раб Европы долго ль будешь нем
Щелкайте орехами короны
Революциями цепи плавь в огне.

Написано ко дню демонстрации в честь делегатов II конгресса Коммунистического Интернационала, состоявшейся в Москве 27 июля 1920 г.

Отношение к барышне. Впервые — «Лирень», М., 1920, стр. 14. Вошло в «13 лет», т. 1; Соч., т. 2. Черновой автограф в ЗК № 5 (1920) — БММ. Здесь первый вариант ст. 1—8:

Тоннелем любви мутнели
глаза темнотою шли
Удерж<неразб.> еле-еле
Не удержишься и еле-еле
Наклонился я и лишь

Гейнеобразное. Впервые — «Лирень», М., 1920, стр. 14. Вошло в «13 лет», т. 1; Соч., т. 2. Черновой автограф без заглавия

в ЗК № 5 (1920) — БММ. *Гейнеобразное.* Ироническая интерпретация любовной темы характерна для раннего Гейне. А. К. Толстой пародийно любовному стихотворению «Память прошлого», вошедшему в цикл Козьмы Пруткова, дает подзаголовок «Как будто из Гейне».

«Портсигар в траву...». Впервые — ПСС 1939, стр. 68. Черновой автограф в ЗК № 5 (1920) — БММ.

Рассказ про то, как кума о Врангеле толковала без всякого ума. Впервые — МИ, стр. 11. Вошло в «13 лет», т. 1; Избр. 1923; ШМ; Соч., т. 4. Черновые записи отдельных строк на обложке журнала «Художественное слово», 1920, № 1 — БММ. Предназначалось для отдельного издания с рисунками, но своевременно издано не было. В середине ноября 1920 г. Врангель был окончательно изгнан из Крыма. Стихотворение потеряло свою злободневность и было напечатано Маяковским лишь в 1922 г. с подзаголовком «Старая, но полезная история».

Последняя страничка гражданской войны. Впервые — «Бов», 1921, № 1, стр. 8. Печ. по сб. «Грозный смех», М., 1932, стр. 59. «Бов» («Боевой отряд весельчаков» или «Большевистское веселье») — первый советский сатирический журнал. Маяковский принимал в выпуске журнала активное участие. Вышел только один номер. Последние строки стихотворения перекликаются с началом стихотворения «О дряни», напечатанного в том же номере журнала без заглавия.

О дряни. Впервые — «Бов», 1921, № 1, стр. 18. Без заглавия. Здесь после ст. 28:

Что, мол, Коммуна?!
Когда еще, мол...
А пока
Один за другим завел
Академический,
Пролеткультский,
2 красноармейских
и 4 тыловых пайка.

С изменениями — МИ, стр. 3. Здесь ст. 24: «намозолив от пятилетнего сидения зады» вместо «натерев от трехлетних заседаний зады». С новыми изменениями — Избр. 1923, стр. 57. Печ. по Соч., т. 2, стр. 150. Вошло в «13 лет» т. 1; ШМ.

Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе. Впервые — МИ, стр. 21. С изменением — «13 лет», т. 1, стр. 258. Печ. по СР, 1-е изд., стр. 71. Вошло в Избр. 1923; Соч., т. 2. *«Чистка!»* Речь идет о чистке

партии, проводившейся летом и осенью 1921 г. по решению ЦК РКП(б) от 25 июня 1921 г. *Мясницкая* — улица в Москве, сейчас ул. Кирова. *Ярославский* — вокзал в Москве. *Правдив и свободен мой вещий язык и с волей советскою дружен.* Перефразировка строк из стихотворения А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»: «Правдив и свободен их вещий язык и с волей небесною дружен».

Приказ № 2 армии искусств. Впервые — «Вещь» (Международное обозрение современного искусства), Берлин, 1922, № 1—2, стр. 6, без заглавия. Под заглавием «Приказ № 2 армиям искусств» — МИ, стр. 7. Под заглавием «Приказ № 2 по армиям искусств» — ДГ, стр. 35. Печ. по Соч., т. 2, стр. 186. Вошло в «13 лет», т. 1; Избр. 1923. *Пентры* — от французского peintre — художник.

Прозаседавшиеся. «Известия», 1922, 4 марта, под заглавием «Наш быт. Прозаседавшимся». Печ. по Соч., т. 2, стр. 134. В ст. 54 «раздвояться» вместо «разорваться» — по ШМ, стр. 88, исправлено автором. Вошло в «13 лет», т. 1; Избр. 1923; Избр. 1926. В речи «О международном и внутреннем положении Советской республики» на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов 6 марта 1922 года В. И. Ленин говорил: «Вчера я случайно прочитал в «Известиях» стихотворение Маяковского на политическую тему. Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области. Но давно я не испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они всё заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно. Мы, действительно, находимся в положении людей (и надо сказать, что положение это очень глупое), которые всё заседают, составляют комиссии, составляют планы — до бесконечности... Практическое исполнение декретов, которых у нас больше чем достаточно и которые мы печем с той торопливостью, которую изобразил Маяковский, не находит себе проверки» (Соч., т. 33, стр. 197—198). О начале своего сотрудничества в «Известиях» Маяковский вспоминал на диспуте «Больные вопросы советской печати» 14 декабря 1925 г.: «Я лично ни разу не был допущен к Стеклову <тогдашнему редактору «Известий»>. И напечататься мне удалось только случайно, во время его отъезда, благодаря Литовскому. И только после того, как Ленин отметил меня, только тогда «Известия» стали меня печатать» (т. 12, стр. 293). *Тео* — театральный отдел Главполитпросвета. *Гукон* — Главное управление коннозаводства при Наркомземе.

Сволочи! Впервые — «Известия», 1922, 15 марта, под заглавием «Слушайте!» и с примечанием от редакции: «В оригинале

первая строка звучит несколько более резко». Печ. по Соч., т. 2, стр. 17. Вошло в «13 лет», т. 1. Черновой автограф в ЗК № 17 (1922) — БММ. Здесь ст. 6—13:

Возьму самого лоснящегося и плешивого
носом в Известия ткну за шиворот
Не понимаете
быль<ю> одену голой
отчет Помгола

После ст. 190 зачеркнуто:

Дети голодающих
отданные чехословакам
пусть
эхом
донесутся эти слова к вам

Помгол — Комиссия помощи голодающим областям России, организованная ВЦИК в 1920 г. *Нансен* Фритиоф (1861—1930) — норвежский ученый, исследователь Арктики. Принимал активное участие в международной помощи голодающим Поволжья. *«Ампир»* — ресторан в Москве в первые годы нэпа.

Моя речь на Генуэзской конференции. Впервые — «Известия», 1922, 12 апреля. Вошло в «13 лет», т. 1; Соч., т. 2. *Генуэзская конференция.* Международная конференция по экономическим и финансовым вопросам происходила в Генуе (Италия) в апреле — мае 1922 г. Советская делегация решительно отвергла притязания империалистов, пытавшихся навязать Советской России кабальные условия соглашения, добиться политических и экономических уступок (уплаты царских долгов и т. д.). *Чичерин* Георгий Васильевич (1872—1936) — народный комиссар иностранных дел, фактически возглавлял советскую делегацию на Генуэзской конференции. *«Матэн»* — французская буржуазная газета. *«Таймс»* — английская буржуазная газета. *Пуанкаре* Раймон (1860—1934) — президент Франции (1913—1920), один из вдохновителей первой мировой войны и инициаторов интервенции в Советскую Россию. *Ллойд Джордж Давид* (1863—1945) — лидер английской либеральной партии, в 1916—1922 гг. премьер-министр. *Слышите из Берлина первый шаг трех Интернационалов?* Речь идет о конференции единого фронта, состоявшейся в Берлине в апреле 1922 г. В ней приняли участие Исполкомы Коммунистического Интернационала и оппортунистических — 2-го и так называемого $2^1/_2$-го интернационалов.

Как работает республика демократическая? Впервые — «Известия», 1922, 23 мая. С изменением — МУ, стр. 77. Печ. по МИ, стр. 85. Вошло в Соч., т. 2. Маяковский был в Риге (тогда столице буржуазной Латвии) в мае 1922 г. В ЗК № 11 за 1922 г. (БММ) имеются записи сведений о Латвии, использо-

ванные в стихотворении. *Эсдеки* — члены социал-демократической партии. *Дерман* Вилис (р. 1875) — депутат Учредительного собрания Латвии, независимый социал-демократ, работавший в контакте с коммунистами. Дерману было предъявлено провокационное обвинение, в результате чего Учредительное собрание проголосовало за его выдачу полиции. При выходе из здания Учредительного собрания Дерман был арестован. *Напечатал «Люблю».* Поэма «Люблю» была издана в Риге издательством «Арбейтергейм». Издание было конфисковано и уничтожено полицией. *Бурш* — см. стр. 619. *Захотелось лекциишку прочесть.* О запрещении лекции Маяковский упоминает в дарственной надписи устроителю этой лекции: «Милому Шеришевскому в память о наших неудачах и с надеждами. В. Маяковский. Рига 6/V-22 г.» (БММ).

Германия. Впервые — «Известия», 1923, 4 января. После ст. 49 заглавие: «Песня немецких рабочих». С изменениями — ВЭГ, стр. 13. Заглавие первой части — «Немцам», второй — «Немецкая песня». Стихотворные строки напечатаны вразбивку, «лесенкой». Печ. по Соч., т. 2, стр. 226. Черновой автограф строк 1—7 в ЗК № 18 (1922) — БММ. Маяковский был в Германии в октябре — ноябре 1922 г. В предисловии к сб. ВЭГ — «До» он пишет: «Аэроплан, летевший за нами с нашими вещами, был снижен мелкой неисправностью под каким-то городом. Чемоданы были вскрыты и мои рукописи взяты какими-то крупными жандармами какого-то мелкого народа. Поэтому вещи, восстанавливаемые памятью, будут слегка разниться от первоначальных вариантов». *Рапалло.* Имеется в виду договор между Советской Россией и Германией, подписанный в апреле 1922 г. в Рапалло (Италия) во время Генуэзской конференции. *Вильгельм II* Гогенцоллерн (1859—1941) — германский император. *Я от первых дней войнищу эту проклял.* См. стихотворения «Война объявлена», «Вам!» и др. *Распустив демократические слюни, шел Керенский в орудийном гуле.* В июле 1917 г. правительство Керенского предприняло по указке Антанты новое наступление, имевшее целью затянуть войну между Германией и Россией. *Унтерденлиндские отели* — богатые отели на улице Унтерденлинден в центре Берлина.

О поэтах. Впервые — КНива, 1923, № 7, стр. 3, под заглавием: «Стихотворение это — одинаково полезно для редактора и для поэтов». С изменениями — МУ, стр. 103. С новыми изменениями — СР, 2-е изд., стр. 107. Печ. по Соч., т. 2, стр. 189. *О «прожигании глаголами сердец людей».* Перефразировка строки из стихотворения А. С. Пушкина «Пророк». См. примеч. на стр. 624. *Луначарский* Анатолий Васильевич (1875—1933) — первый народный комиссар просвещения РСФСР (1917—1930). *Семашко* Николай Александрович (1874—1949) — первый народный комиссар здравоохранения РСФСР (1918—1930).

Париж. Впервые — КНива, 1923, № 9, стр. 6. С изменениями — СР, 2-е изд., стр. 60. Печ. по Соч., т. 2, стр. 230. Черновой

автограф ст. 1—14 в ЗК № 18 (1922) — БММ. В Париже Маяковский был с 18 по 25 ноября 1922 г. *Аполлинер* Гийом (1881—1918) — французский поэт. *Монмартр* — район в Париже, где сосредоточены ночные увеселительные заведения. *Булонский лес* — парк в Париже.

Мы не верим! Впервые — «Бюллетень Прессбюро Агитпропа ЦК РКП», 1923, 24 марта, под заглавием «Ленин». Печ. по «Огоньку», 1923, № 1, стр. 1. Перепечатано во многих провинциальных газетах. Вошло в Избр. 1926; Соч., т. 2. Черновой автограф ст. 1—6, 14, 20—22 в ЗК № 19 (1922—1923) и беловой автограф — БММ. 25 марта Маяковский читал стихотворение в Доме печати. *Выклеен правительственный бюллетень.* В дни болезни В. И. Ленина, с 12 марта ежедневно печатались в газетах, вывешивались на улицах и в учреждениях правительственные бюллетени о состоянии здоровья Владимира Ильича.

Весенний вопрос. Впервые — КНива, 1923, № 14, стр. 19. Вошло в Соч., т. 2. *Могу доказать: «самогон — большое зло».* В 1923 году Маяковский написал агитпоэму «Вон Самогон».

Схема смеха. Впервые — Огонек, 1923, № 5, стр. 24, с рисунками Маяковского. Приведя стихотворение в «Предисловии» к МУ, Маяковский писал: «Каждый, прочтя этот стих, улыбнется или засмеется... Это не стих, годный к употреблению. Это образчик. Это схема смеха» (т. 12, стр. 52). См. примеч. к стихотворению «Мелкая философия на глубоких местах», т. 2 наст. изд., стр. 562.

Воровский. Впервые — «Известия», 1923, 20 мая, с выделением в качестве заглавия первой строки — «Сегодня». С изменениями — ВЭГ, стр. 40. Печ. по Соч., т. 2, стр. 239, в ст. 10 вместо «пойдет Воровский» — «пройдет Воровский» (по первой публикации). Черновой автограф первых пяти строк в ЗК № 20 (1923) — БММ. Опубликовано в день прибытия в Москву тела полпреда РСФСР в Италии, представителя Советской России на Лозаннской конференции В. В. Воровского (род. 1871), убитого в Лозанне (Швейцария) 10 мая 1923 г. белогвардейцем Конради. В тот же день Маяковский читал это стихотворение на площади Свердлова на траурном митинге памяти В. В. Воровского. Выступление Маяковского было снято кинохроникой. *Ответ в мильон шагов пошли на наглость нот.* 8 мая 1923 г. английский министр иностранных дел Керзон прислал советскому правительству ноту, в которой в ультимативной форме предъявлял ряд требований, касающихся внешней и внутренней политики СССР. Ультиматум Керзона встретил единодушный отпор трудящихся Советского Союза.

Баку. Впервые — «Бакинский рабочий», 1923, 25 мая. Печ. по «О Курске», стр. 3. Вошло в Соч., т. 3. Записи рифм к ст. 22,

25, 26, 30, 51, 53 и не вошедшая в текст рифма «источники — точки» в ЗК № 20 (1923) — БММ. Беловой автограф 1923 г. — ЦГАЛИ, на обороте зачеркнуты ст. 1—6, записанные «лесенкой». Номер газеты «Бакинский рабочий» был посвящен трехлетию работы нефтяных промыслов. *Балаханы* — пригород Баку, где находится часть нефтяных промыслов. *Дервиш* — нищий странствующий монах в мусульманских странах. *Тибет* является центром буддийско-ламанской религии. *Мекка* — см. стр. 613. *Иерусалим* — город в Палестине, где, по преданию, был распят Иисус Христос; является местом паломничества христиан.

Нордерней. Впервые — «Известия», 1923, 12 августа. Вошло в Соч., т. 2. Черновой автограф ст. 21—93 в ЗК № 21 (1923) — БММ. О работе над стихотворением Маяковский сообщает в сб. ВЭГ под рубрикой «Сейчас пишу», датированной 25 июля. На курорте Нордерней (северо-западное побережье Германии) Маяковский отдыхал в августе 1923 г. *Табльдот* (франц.) — общий обед в гостиницах и пансионах. *Обер*, Обер-кельнер (нем.) — старший официант. *Муссолинится* — от имени главаря итальянского фашизма Бенито Муссолини (1883—1945).

Москва — Кенигсберг. Впервые — «Огонек», 1923, № 29, стр. 4. Вошло в Соч., т. 2. Воздушное сообщение Москва — Кенигсберг (теперь Калининград) открылось в мае 1922 г. и являлось одной из первых международных авиалиний, связывавших Советскую Россию и Запад. *Тверская* — теперь ул. Горького в Москве. *«Каделяк»* — «кадиллак», марка автомобиля американской фирмы. *Брик* — Л. Ю. Брик. *Ньюбольд* Д. И. — английский коммунист, делегат расширенного Пленума Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала. Заседания Пленума происходили в Москве в июне 1923 г. *Ходынка* — Ходынское (ныне Октябрьское) поле в Москве; использовалось как аэродром. *Икар* — герой древнегреческой легенды, первый воздухоплаватель. По преданию, пытался перелететь море на сделанных его отцом Дедалом крыльях. Увлекшись полетом и слишком приблизившись к солнцу, которое растопило скреплявший крылья воск, Икар упал в море. *Леонардо* да Винчи (1452—1519) — итальянский ученый и художник Возрождения, автор трактата «О полете птиц». Пытался сконструировать летательный аппарат, приводимый в движение мускульной силой человека. *Уточкин* Сергей Исаевич (1874—1916) — русский летчик, в 1911 г. при перелете из Петербурга в Москву потерпел аварию. *Двинск* — теперь Даугавпилс, город в Латвии. *Горро* — Гаррос Роланд (1888—1918), французский летчик-спортсмен, установивший несколько рекордов дальности полета. *«Гном»* — марка мотора. *Юнкерс, Дукс* — немецкие авиационные фирмы.

Киев. Впервые — «Пролетарская правда», Киев, 1924, 2 марта. Печ. по МП, стр. 26. Беловой автограф — ИРЛИ. Написано

во время пребывания в Киеве с 12 по 18 января 1924 г. *Киевскую Русь оглядывал Перун.* Согласно летописи, идолы, изображавшие языческих богов, в том числе главного бога славян — бога грома Перуна, стояли в Киеве на возвышенном берегу Днепра и были уничтожены во время крещения Руси. *Дир* и *Аскольд* (IX в.) — первые киевские князья, о которых упоминают летописи. *Владимир* (? — ум. 1015) — великий князь Киевский, принявший около 988 г. христианство и энергично вводивший новую веру. *Плеть креста сжимает каменный святой.* Памятник князю Владимиру, где он изображен с крестом в руке, стоит в Киеве на Владимирской горке. *Столыпин* П. А. (1862—1911) — реакционный политический деятель, в 1906—1911 гг. председатель совета министров Российской империи. В 1911 г. был убит в Киеве агентом царской охранки с провокационной целью. В Киеве Столыпину был воздвигнут памятник, снесенный после революции. *Подол* — промышленный район в Киеве. *Пуанкаре* — см. стр. 634. *Даю-беру червонцы!* — выкрик спекулянтов валютой. В 1924 г., когда Советское правительство осуществило денежную реформу, установив твердый денежный курс червонца, некоторое время в обращении находились и старые денежные знаки, с каждым днем обесценивавшиеся. Этим пользовались спекулянты, покупая и перепродавая червонцы.

9-е января. Впервые — «Известия», 1924, 22 января. Машинописная копия с правкой поэта — ЦГАОР, фонд газеты «Известия». Написано к 19-й годовщине Кровавого воскресенья. *Гапон* Г. А. (1870—1906) — поп-провокатор, организовавший 9 января 1905 г. шествие петербургских рабочих к Зимнему дворцу. *Помазанник* — царь Николай II.

Комсомольская. Впервые — «Молодая гвардия», М., 1924, № 2—3, стр. 10, с датой «31 марта 1924 г.», ст. 55—56:

Гордиться именем:
Ленина.

Под заглавием: «Ленин. Из поэмы Молодой Гвардии „Комсомольская"». «Бюллетень Прессбюро», 1924, „А/Б" 8 апреля. Печ. по МП, стр. 16. Вошло в Соч., т. 2. Беловой автограф — БММ. Стихотворение является первым откликом Маяковского на смерть В. И. Ленина.

Два Берлина. Впервые — «Бюллетень Прессбюро», „А" 1924, 13 мая. В сб. ВЭГ под рубрикой «Сейчас пишу» упомянуты «Стихи о Нордене». Написано в результате поездки в Берлин во второй половине апреля — начале мая 1924 г. *Подано три миллиона голосов.* На выборах в германский рейхстаг, состоявшихся в начале мая 1924 г., за коммунистов голосовало — 3 712 000 человек.

К стр. 345

Юбилейное. Впервые — «Леф», 1924, № 2, стр. 16. С изменениями — «Заря Востока», Тифлис, 1924, 7 сентября. Печ. по ТН, стр. 45. Вошло в Избр. 1926; Соч., т. 2. Беловой автограф — ЦГАЛИ. Написано в связи с 125-летием со дня рождения А. С. Пушкина. Это была первая большая памятная дата гениального классика прошлого, широко отмечавшаяся после Октября. Маяковский говорил о Пушкине на диспуте о задачах литературы и драматургии 26 мая 1924 г.: «Вот Анатолий Васильевич <Луначарский> упрекает в неуважении к предкам, а месяц тому назад, во время работы, Брик начал читать «Евгения Онегина», которого я знаю наизусть, и я не мог оторваться и слушал до конца и два дня ходил под обаянием четверостишия:

Я знаю: жребий мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...

Конечно, мы будем сотни раз возвращаться к таким художественным произведениям, учиться этим максимально добросовестным творческим приемам, которые дают верную формулировку взятой, диктуемой, чувствуемой мысли. Этого ни в одном произведении в кругу современных авторов нет. Конечно, это никак не похоже на лозунг «Назад к Пушкину». Мое отношение к этому вопросу в стихе моем „Юбилейное"» (т. 12, стр. 265—266). *Я теперь свободен от любви и от плакатов.* Работа Маяковского над плакатами для Главполитпросвета прекратилась в 1922 г. *Шкурой ревности медведь лежит когтист.* Поэт возвращается к одному из метафорических мотивов поэмы «Про это»: «Сквозь первое горе бессмысленный, ярый, мозг поборов, проскребается зверь». *«Коопсах»* — сокращенное название кооперации сахарной промышленности. Вывеска Коопсаха, синего цвета с оранжевыми, расходящимися во все стороны лучами, висела на Страстной площади, ныне пл. Пушкина, недалеко от памятника Пушкину. *Навуходоносор* (604—561 до н. э.) — царь Ассиро-Вавилонии. *Red и White Star'ы* — названия трансокеанских пароходных компаний. В 1924 г. Маяковский собирался в Америку, но не смог добиться визы на въезд в США. *Я сейчас же утром должен быть уверен...* — перефразировка строк из VIII гл. «Евгения Онегина»: «Я утром должен быть уверен, Что с вами днем увижусь я». *Дорогойченко* Алексей Яковлевич (1894—1947) — советский писатель, начинал малооригинальными стихами. *Герасимов* Михаил Прокопьевич (1899—1939), *Кириллов* Владимир Тимофеевич (1889—1943) — поэты группы «Кузница». *Родов* Семен Абрамович (р. 1893) — «напостовский» критик, поэт. Об отношении Маяковского к псевдореволюционной поэтике стихов Родова и других «пролетарских поэтов» дают представление сделанные им в 1924 г. пометки на сборнике «Пролетарские писатели» (БММ). См.: Н. В. Реформатская. Пометки Маяковского на полях сборника «Пролетарские писатели» — в кн. «Владимир Маяковский», М.—Л.,

1940. *Ну Есенин, мужиковствующих свора.* В 1924 г. Есенин, отойдя от имажинистов, был увлечен идеей объединения крестьянских поэтов Клюева Н. А., Клычкова С. А., Орешина П. В., Наседкина В. Ф. и др. вокруг предполагаемого журнала «Россиянин». *«Леф»* — здесь журнал, выходивший под редакцией Маяковского в 1923—1925 гг., орган группы Леф (Левый фронт искусства). *Жиркость и сукна.* Речь идет о работе Маяковского над рекламами для парфюмерного треста «Жиркость» (ТЭЖЭ) и для треста «Моссукно». *В рекламу б выдал гумских дам.* Имеется в виду реклама Маяковского для ГУМа (государственного универсального магазина): «Нет места сомнению и думе — всё для женщины только в ГУМе» и т. п. *Невольник чести* — слова из начальной строки стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта». *На Тверском бульваре.* Памятник А. С. Пушкину в Москве до 1950 г. стоял на Тверском бульваре.

Пролетарий, в зародыше задуши войну! Впервые — «Известия», 1924, 3 августа. С изменениями — ПР, стр. 5. Печ. по ТН, стр. 26. Вошло в Соч., т. 2. Авторизованная машинописная копия — ЦГАОР, фонд газеты «Известия». Авторизованная машинописная копия — БММ. Написано к 10-летию первой мировой войны. *Фирма Морган* — американская финансовая монополия. *Флеш-рояль* — известная комбинация карт в покере. *Кольт* — система револьвера. *30 миллионов* — цифра убитых, раненых и без вести пропавших во время первой мировой войны.

Севастополь — Ялта. Впервые — ТН, стр. 3. Вошло в Соч., т. 2. Записи рифм к строкам 86, 91 в ЗК № 23 (1924), беловой автограф в ЗК № 27 (1924) и второй беловой автограф — БММ. Стихотворение написано во время поездки по Крыму и Кавказу с 20 августа до середины сентября 1924 г. По свидетельству В. А. Катаняна, работавшего в то время в газете «Заря Востока», Маяковский в период пребывания в Тифлисе передал стихотворение в газету, но напечатано оно не было (Катанян, стр. 211). *Шашла, мускат* — сорта винограда. *Байдарские ворота* — перевал через главную гряду Крымских гор по пути из Севастополя в Ялту.

Владикавказ — Тифлис. Впервые — «Заря Востока», 1924, 3 сентября. Печ. по ТН, стр. 13. Вошло в Соч., т. 2. *Я вспомнил, что я — грузин.* Маяковский родился и провел детские годы в Грузии. *Архалух* — легкий кафтан, кавказская верхняя мужская одежда. *Карабах* — в данном случае порода горных кавказских лошадей. *Ройлс* — «Рольс-Ройс», марка автомобилей. *Муша* (груз.) — рабочий. *Тамара.* См. примеч. к стих. «Тамара и Демон». *«Мхолот шен эртс рац...»* — слова грузинской песни, текст Шалва Дадиани. *Арсен* — Джоржиашвили (Джойяшвили) Арсен (1881—1906), грузинский революционер, участник революции 1905 г. В январе 1906 г. убил царского генерала Гряз-

нова и был казнен. *Алиханов*-Аварский Максуд (1846—1907) — генерал царской армии, губернатор Кутаисской губ., в 1905 г. жестоко расправившийся с революционным движением. В автобиографии Маяковский называет его «усмирителем Грузии». *Какие-то люди, мутней, чем Кура, французов чмокают в ручку.* Речь идет о предательстве грузинских меньшевиков, пошедших во время гражданской войны и иностранной интервенции на сговор с французскими и английскими империалистами. *Мадчари* (груз.) — неперебродившее молодое вино. *Эдем* — по библейской легенде, местопребывание человека до грехопадения, земной рай. *Кинто* (груз.) — бродячий торговец, балагур, остряк. *Шаири* — восьмистопные четырехстишия в древнегрузинской поэзии. Таким стихом написана поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Тамара и Демон. Впервые — КН, 1925, № 2, стр. 133. С изменениями — ТН, стр. 7. Печ. по АП, стр. 13. Вошло в Избр. 1926; Соч., т. 2. Черновой автограф без названия и беловой автограф в ЗК № 27 (1924) — БММ. *Тамара.* Грузинская легенда о пленнице башни Дарьяльского ущелья, завлекавшей путников и убивавшей их, положенная в основу стихотворения Лермонтова «Тамара», имеет в виду сестру знаменитой грузинской царицы Тамары, Дарью. Лермонтов романтически переосмыслил легенду, отнеся ее к самой царице Тамаре, популярной героине народных грузинских сказаний. *Коган* Петр Семенович (1872—1932) — историк литературы, критик, президент Государственной академии художественных наук. *И пусть, озверев от помарок, про это пишет себе Пастернак.* Речь идет о книге Б. Л. Пастернака «Сестра моя жизнь», посвященной Лермонтову и открывающейся стихотворением «Памяти Демона».

Гулом восстаний, на эхо помноженным, об этом дадут настоящий стих, а я лишь то, что сегодня можно, скажу о деле 26-ти. Впервые — «Заря Востока», 1924, 20 сентября, с указанием места написания «Тифлис». С изменениями — КНива, 1924, № 39, стр. 940, под заглавием «Гулом восстаний, на эхо помноженным...». Печ. по Соч., т. 2, стр. 55. Посвящено шестой годовщине расстрела закавказскими эсерами и английскими оккупационными властями 26 бакинских комиссаров в сентябре 1918 г. *Сипаи* — наемные солдаты-индусы в английской колониальной армии. *Степан* — Шаумян Степан Георгиевич (1876—1918), видный деятель Коммунистической партии. После Великой Октябрьской социалистической революции — чрезвычайный комиссар Кавказа, в марте 1918 г. — председатель Бакинского Совнаркома и комиссар иностранных дел. *Алеша* — партийная кличка Джапаридзе Прокофия Апрасионовича (1880—1918), видного деятеля Бакинского Совнаркома, редактора газеты «Бакинский рабочий». *Тиг Джонс,* английский капитан, и *Моллесон,* генерал английской оккупационной армии в Закавказье, — организаторы расстрела 26 бакинских комиссаров. *207-я верста* — место под Красноводском, где были расстреляны

бакинские комиссары. *Рука, размахнись...* — перефразировка слов из стихотворения Кольцова «Косарь»: «Раззудись плечо, размахнись рука!» *Ганди* Мохандас (1869—1948) — выдающийся индийский политический деятель, руководитель партии «Индийский национальный конгресс». Возглавив национальное движение за освобождение Индии от британского владычества, Ганди старался ввести его в рамки «пассивного сопротивления».

Грустная повесть из жизни Филиппова. Впервые — «Красный перец», 1924, № 23, стр. 12, с иллюстрациями Ю. Ганфа. Эпиграф — «Правда», 1924, 10 октября. *ИСУХРИ* — Иисус Христос.

Хулиганщина. Впервые — «Красный перец», 1924, № 22, стр. 9, без подписи автора. Черновой автограф ст. 1—29 в ЗК № 27 (1924) — БММ.

Флаг. Впервые — «Московский альманах», 1926, № 1, стр. 125. В связи с признанием СССР Францией, 6 ноября 1924 г. состоялась официальная передача здания бывшего русского посольства в Париже советским представителям, а 14 декабря — подъем советского флага на этом здании. Маяковский присутствовал на церемонии подъема флага. *Гренелль* — улица в Париже, где находится здание полномочного представительства СССР. *Консьержка, консьерж* (франц.) — привратница, привратник. *«Аксион франсез»* — монархическая лига, имевшая боевую организацию из фашистских молодчиков (так называемые «камло дю руа»). *«Боже, буржуев храни»* — перефразировка слов из царского гимна «Боже, царя храни».

Ялта — Новороссийск. Впервые — «Прожектор», 1925, № 10, стр. 16, под заглавием «Ялта — Севастополь», с рисунками К. Ротова. Под рубрикой «Из цикла „Путешествия“» и под заглавием «Ялта — Новороссийск» — «Парижский вестник», 1925, 4 июня. Черновые записи к ст. 112—115 в ЗК № 23 (1924) — БММ. Список, сделанный рукой Л. Ю. Брик, под заглавием «Ялта — Новороссийск» — собрание Л. Ю. Брик. Маяковский выехал из Ялты в Новороссийск в конце августа 1924 г. *Мандат.* Имеется в виду удостоверение корреспондента газеты «Известия ВЦИК». *«Дофин»* — французский пароход. *Райкомвод* — районный комитет водников. *Бламанже* (бланманже) — желе из сливок.

«МИСТЕРИЯ-БУФФ» И ПОЭМЫ

(1918—1923)

Мистерия-буфф. Впервые — Мистерия-буфф. Героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи, сделанное Владимиром Маяковским, 3 действия, 5 картин. Пг., 1918.

С изменениями — 2-е изд., Пг., 1919. С новыми изменениями — «13 лет», т. 2, стр. 165. Печ. по Соч., т. 3, стр. 3. Вошло во «Все сочиненное»; «255». Второй вариант «Мистерии-буфф» был написан как новая сценическая редакция пьесы, предназначенная для постановки в Театре РСФСР Первом в 1921 г. Редакции «Мистерии-буфф» рассматривались Маяковским как два самостоятельных произведения и в собраниях («13 лет», т. 2; Соч., т. 3) печатались вместе. Второй вариант впервые опубликован в качестве приложения к «Вестнику театра», 1921, № 91—92, с предисловием: «„Мистерия-буфф“ — дорога. Дорога революции. Никто не предскажет с точностью, какие еще горы придется взрывать нам, идущим этой дорогой. Сегодня сверлит ухо слово «Ллойд Джордж», а завтра имя его забудут и сами англичане. Сегодня к коммуне рвется воля миллионов, а через полсотни лет, может быть, в атаку далеких планет ринутся воздушные дредноуты коммуны. Поэтому, оставив дорогу (форму), я опять изменил части пейзажа (содержание). В будущем, все играющие, ставящие, читающие, печатающие «Мистерию-буфф», меняйте содержание — делайте содержание ее современным, сегодняшним, сиюминутным». Замысел пьесы возник незадолго до Октябрьской революции. В автобиографии под датой «август 1917 года» Маяковский отметил: «Задумываю „Мистерию-буфф“» (т. 1, стр. 24). Писалась пьеса летом 1918 г. на даче под Петроградом, в Левашове. 27 сентября 1918 г. состоялось первое чтение пьесы в кругу режиссеров, художников и других деятелей искусства. На чтении присутствовал А. В. Луначарский, который «отметил проникающий всё произведение революционный порыв и приветствовал В. В. Маяковского как выразителя подлинно революционного чувства» («Вестник общественно-политической жизни, искусства, театра и литературы», 1918, 28 сентября). Центральное бюро по организации празднеств первой годовщины Октябрьской революции, познакомившись с пьесой, признало необходимым ее поставить. Для этого сначала был намечен Александринский театр. Однако для актеров академического театра, прослушавших пьесу в чтении Маяковского, «Мистерия-буфф» оказалась слишком непривычным драматургическим материалом. Было решено осуществить постановку силами актеров-добровольцев. В ряде петроградских газет появилось следующее обращение к актерам: «Товарищи актеры! Вы обязаны великий праздник революции ознаменовать революционным спектаклем. Вами должна быть разыграна «Мистерия-буфф», героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи, сделанное Вл. Маяковским. Приходите все в воскресенье 13 октября в зал Тенишевского училища (Моховая, 33). Автор прочтет «Мистерию», режиссер изложит план постановки, художник покажет эскизы, а те из вас, кто загорится этой работой, будут исполнителями. Центральное бюро по устройству октябрьских торжеств предоставляет все необходимые средства для осуществления «Мистерии». Все к работе! Время дорого. Просят являться только товарищей, желающих принять участие в постановке. Число мест ограничено». Ставили «Мистерию-буфф»

на сцене Музыкального театра драмы (здание Консерватории) Мейерхольд и Маяковский. Оформлял спектакль художник К. Малевич. Дано было три представления — 7, 8, 9 ноября. Маяковский играл «Человека просто». На первом спектакле Маяковский также играл Мафусаила и одного из чертей, так как исполнители этих ролей не явились. В автобиографии в главе «19-й год» говорится: «Езжу с «Мистерией» и другими вещами моими и товарищей по заводам. Радостный прием» (т. 1, стр. 25). В начале 1919 г. пьеса была включена в репертуар передвижных постановок для показа в районных театрах Петрограда. Маяковский написал эскизы костюмов и декораций. Однако постановка не была реализована. К мысли о постановке пьесы возвращались неоднократно. По предложению Н. К. Крупской в начале осени 1920 г. «Мистерию-буфф» хотели поставить силами рабочих в центральном клубе Хамовнического района Москвы. Постановку намечали к Октябрьскому празднику. Потом отложили до 1 мая, но, очевидно в связи с предполагавшейся постановкой в Театре РСФСР Первом, прекратили работу. Из письма заведующего Центропечатью Б. Малкина к В. Мейерхольду известно о предполагаемой постановке «Мистерии-буфф» к X съезду партии: «Необходимо поставить (мы заинтересовали большую группу партийных товарищей) Мистерию для партсъезда. Я говорил с Лениным о Маяковском и о Мистерии — мы с ним условились, что он прослушает пьесу (в чтении автора). Но теперь уж лучше подождать постановки» («Литературное наследство», т. 65, стр. 210). Известно, что Малкин был на приеме у В. И. Ленина 31 января 1921 г. (см. «Два месяца работы Ленина», М., 1934, стр. 44). Встреча Маяковского с Лениным не осуществилась. В Театре РСФСР Первом пьеса была поставлена В. Мейерхольдом и В. Бебутовым. Маяковский, работавший с актерами над стихотворным текстом, значился на афише ассистентом режиссера. Художники спектакля — В. П. Киселев, А. М. Лавинский, В. Л. Храковский. Премьера состоялась 1 мая 1921 г. Спектакль шел после этого ежедневно до закрытия сезона 7 июля. Новый пролог второй редакции «Мистерии-буфф» отражал принципы сценического решения спектакля Театра РСФСР Первого с неизменной во всех картинах конструкцией театральной площадки:

Нечистый

Через минуту
мы вам покажем...
Мистерию-буфф.
Должен сказать два слова я:
это
вещь новая.
Чтобы выше головы прыгнуть,
надо, чтоб кто-нибудь помог.
Перед новой пьесой
Необходим пролог.
Во-первых,

почему
весь театр разворочен?
Благонамеренных людей
это возмутит очень.
Вы для чего ходите на спектакли?
Для того, чтобы удовольствие получить, —
не так ли?
А велико ли удовольствие смотреть,
если удовольствие только на сцене;
сцена-то —
всего одна треть.
Значит,
в интересном спектакле,
если всё застроишь,
то и удовольствие твое увеличится втрое ж,
а если
спектакль неинтересный,
то не стоит смотреть
и на одну треть.
Для других театров
представлять не важно:
для них
сцена —
замочная скважина.
Сиди, мол, смирно,
прямо или наискосочек
и смотри чужой жизни кусочек.
Смотришь и видишь —
гнусят на диване
тети Мани
да дяди Вани.
А нас не интересуют
ни дяди, ни тети, —
теть и дядь и дома найдете.
Мы тоже покажем настоящую жизнь,
но она
в зрелище необычайнейшее театром превращена.
Суть первого действия такая:
земля протекает.
Потом — топот.
Все бегут от революционного потопа.
Семь пар нечистых
и чистых семь пар,
то есть
четырнадцать бедняков-пролетариев
и четырнадцать буржуа-бар,
а меж ними,
с парой заплаканных щечек, —
меньшевичочек.
Полюс захлестывает.

К стр. 397

Рушится последнее убежище.
И все начинают строить
даже не ковчег,
а ковчежище.
Во втором действии
в ковчеге путешествует публика:
тут тебе и самодержавие
и демократическая республика,
и, наконец,
за борт,
под меньшевистский вой,
чистых сбросили вниз головой.
В третьем действии показано,
что рабочим
ничего бояться не надо,
даже чертей посреди ада.
В четвертом —
смейтесь гуще! —
показываются райские кущи.
В пятом действии разруха,
разинув необъятный рот,
крушит и жрет.
Хоть мы работали и на голодное брюхо,
но нами
была побеждена разруха.
В шестом действии —
коммуна, —
весь зал,
пой во все глотки!
Смотри во все глаза!

Все готово?
И ад?
И рай?

Из-за сцены

Г-о-т-о-в-о!
Давай!

Над вторым вариантом «Мистерии-буфф» Маяковский работал с октября 1920 г., обновляя текст пьесы, внося в нее злободневные мотивы. Изменился список действующих лиц. В число «чистых» вместо офицера, итальянца и студента были введены Ллойд Джордж и Дипломат, Российский спекулянт заменил русского купчину, Клемансо — француза. В среде «нечистых» появились красноармеец, машинист, шахтер вместо трубочиста, сапожника, рудокопа. Список действующих лиц пополнился совершенно новыми персонажами: соглашатель, роль которого была написана заново, и интеллигенция, — этому лицу были переданы реплики студента. Дама-истерика стала называться дамой с картонками. Для второго

варианта было написано новое действие «Страна обломков», где появляется характерный для агиттеатра тех лет персонаж — разруха. К январю 1921 г. работа над вторым вариантом «Мистерии-буфф» была закончена. К этому времени относится машинописная копия, хранящаяся в собрании А. Февральского. Ряд изменений и дополнений делался по ходу постановки пьесы. В ЗК № 9 (1921 — БММ) внесены черновые наброски к третьему действию (Ад), сделанные уже после премьеры. 24, 25 и 26 июня 1921 г. «Мистерия-буфф» была показана делегатам III конгресса Интернационала на арене Первого государственного цирка в немецком переводе Р. Райт. Маяковский написал новый пролог, адресованный представителям международного пролетариата:

Товарищи!
Вас, представляющих мир,
Всехсветной Коммуны Вестники, —
вас
сегодня
приветствуем мы:
рев-комедианты,
рев-живописцы,
рев-песенники.
Вашим странам
предстоит еще
взорванными лететь —
Европам,
Африкам,
Америкам,
Азиям, —
а нам
уже
удается разглядеть
черты Коммуны, встающей над фантазиями.
Всё, что битвами завоевано на̀ поле,
всё, что промитинговано на все лады,
в этом цирке отразим,
как в капле
воды.
Пройдут и буржуи,
и меньшевистская истерика,
и мы —
препятствия пухом сдув!
Пролетарской МИСТЕРИИ река
и буржуазии БУФФ.
Равны Революциям — взрывы пьес.
Сатира, как стачка, —
за брюхо берет.
Товарищи актеры!
Слова наперевес!
Вперед!

К стр. 397

В текст 2-го действия был введен новый диалог соглашателя с нечистыми:

Соглашатель

Согласитесь на Второй интернационал.
Замечательная вещь!
В меру черен,
в меру бел,
в меру желт,
в меру ал.
Каутский,
Мартов
и то согласились, —
умнейшие люди, как-никак...

Нечистые

Долой!

Соглашатель

Ну,
берите Интернационал двухсполовинный.
Больше не уступлю ни одного золотника!
Чай, немецкие социал-демократы не дети,
сам Леви его признал, —
как-никак, политический деятель.

Нечистые

Долой их!
Не хотим знать никаких вторых!

Соглашатель

Ну,
берите два и $^3/_4$.
Последняя цена,
себе дороже!..
Как!
И этого не хотите тоже?!

Нечистые

Довольно!
К чертям разговоры эти!
У рабочих
один Интернационал —
Третий!

Во втором варианте «Мистерия-буфф» была поставлена в 1921—1923 гг. в Томске, Перми, Тамбове, Екатеринбурге (Свердловске), Краснодаре, Харькове, Омске, Иркутске, Красноярске, Казани. В 1923 г. в Москве учащиеся Опытной школы эстетического воспитания детей разыграли под руководством детского писателя и ре-

жиссера С. Г. Розанова «Мистерию-буфф» (в первой редакции). Маяковский присутствовал в 1924 г. на одном из спектаклей. Вскоре после его посещения С. Г. Розанов передал исполнительнице роли кузнеца Леле Нюниной (теперь художнице Е. В. Бердоносовой) текст нового финала пьесы, специально написанный для этого спектакля:

Кузнец

(вылезает из Страны вещей)

Ребята, сомкнитесь плечо с плечом.
Никогда пусть никто не ленится
исполнять заветы, данные Ильичем.
Ведь недаром теперь мы — ленинцы...
Мировой капитал пусть везде наколется
о штыки международного комсомольца.
Наше старанье,
хоть мы и юны,
достроить зданье
Мировой Коммуны.
Устали отцы? Так будете сменены
нами, носящими имя Ленина.
А пока по земле наш победный клич
разнесется звенящей нотой:
Ты не умер, ты жив, Ильич!
Мы
докончим твою работу...

Полностью и в отрывках «Мистерия-буфф» ставилась в Чехословакии (1922), в Польше (1922, 1925). *Семь пар чистых. Семь пар нечистых.* По библейской легенде, во время всемирного потопа спасся только один праведник Ной, которому бог повелел построить ковчег и взять с собой для продолжения жизни на земле животных: семь пар чистых и семь пар нечистых. *Вельзевул* — библейское название дьявола. *Златоуст* Иоанн (ок. 347 — ок. 407) — один из проповедников христианской церкви. *Мафусаил* — святой, по библейскому преданию, прожил более 900 лет. *«Потерянный и возвращенный рай».* Речь идет о поэмах английского поэта Мильтона (1608—1674) «Потерянный рай» и «Возвращенный рай», написанных на библейские сюжеты. *Этуаль* (франц.) — звезда. *Боши* (франц. boche) — презрительное название немцев в годы первой мировой войны. *Шваб* — немец, первоначально житель Швабии, одной из областей юго-западной Германии. *Эвива Италия!* (итал. eviva Italia!) — да здравствует Италия! *Гох фатерланд!* (нем. hoch Vaterland!) — да здравствует отечество! *Доползем до Арарата.* По библейской легенде, когда спали воды всемирного потопа, Ноев ковчег оказался на горе Арарат. *Первой гильдии.* В России купцы делились на гильдии (разряды) соответственно размерам своего капитала. Первая гильдия — самые богатые купцы. *Алон занфан* (франц. alons, enfants) — слова французского текста «Марсельезы». *Он шел, рассекая генисаретские воды!* По евангельской легенде,

Христос перешел через Генисаретское озеро, ступая по воде, как по суше. *Новая проповедь нагорная.* По евангельской легенде, Христос, взойдя на Елеонскую гору, обратился к ученикам с проповедью. *Мы все Назареи.* Пророком Назареи называли Христа, родившегося, по преданию, в Назарете. *Ню* (франц. nu) — голый, обнаженный; так называют жанр живописи с изображением обнаженного тела. *Сиу* — Сиу и К°, фирма, выпускавшая кондитерские изделия, имела фабрику в Москве. *Х. и В.* — сокращенное «Христос Воскресе». Этими буквами украшались предметы пасхального ритуала.

150 000 000. Впервые — отрывки поэмы, ст. 1—7, под заглавием «Пролог всей книги», и 3-я глава, названная «Часть II», без подписи автора — «Художественное слово» (временник литературного отдела Наркомпроса), № 1, 1920, стр. 13. Первое издание — «150 000 000», ГИЗ, М., 1921, без имени автора. Три экземпляра этого издания были выпущены с вклеенным шмуцтитулом, на котором напечатаны фамилия автора и посвящение: «Л. Ю. Б<рик>». С изменениями — «13 лет», т. 2, стр. 389. Печ. по Соч., т. 3, стр. 217, со ступенчатой разбивкой строк по списку ИМЛИ, сделанному в 1924 г. для неосуществленного издания поэмы с не дошедшего до нас оригинала, где разбивка была произведена рукой Маяковского. Черновые автографы отрывков, отдельных строк и заготовок в ЗК № 2 (1919), № 3 (1920), № 5 (1920) — БММ. В ЗК № 3 запись к общей теме поэмы: «В [России] мире может быть только два лагеря — буржуазии и коммунистов». Машинописная копия 1920 г. с авторскими исправлениями и вставками — ЦГАЛИ. Здесь ст. 28—31 во 2-й главе основного текста вписаны на полях вместо зачеркнутых:

Будьте любезны встать
снимите головные уборы
каждый
пусть головой поникнет
эти слова
земли молитву
для которой покамест книг нет
слушайте
напряженнейшее внимание
Тс...с...с...

Ст. 82—90 2-й главы вписаны на полях вместо зачеркнутых:

Новое имя
Вырвись
лети
в пространство мирового жилья
Тысячелетнее
низкое небо
сгинь синезадо

Это Я
я, я
я
я
я
земли вдохновенный ассенизатор.

Ст. 8—12 4-й главы вписаны на полях вместо зачеркнутых:

Поэты велеречивы
буфонадят буфонады
Про знамена пишут
про сталь
а этого
вовсе ничего не надо
Революция
революция проста
это не героям стих умиленный
в бою
бьются миллионы
идут миллионы
миллионы поют
Поем
[такой] простотой возвеличась
и фельдмаршалейший из фельдмаршалов Фош
и самое величественное из величеств
из поля зрения уползает как вошь
это ерунда
когда в пушки тараторя
лезет на царя остервенелый царь,
этой войны бескрайняя территория
все земли
все умы
все сердца
Люди надевали разноформенные брюки
драться шли
назывались враги
а у каждого
одинаковые руки и ноги
и тоска одинакова пудовостью гирь
Но разве слезой опоганит глаз
злобу бросающую класс на класс?
Быть буржуем
это не то что капитал
иметь
золотые транжиря
это
у молодых
на горле
мертвецов пята

это рот зажатый комьями жира
быть пролетарием
это не значит быть
чумазым
тем кто заводы вертит
быть пролетарием
грядущее любить
грязь подвалов взорвавшее
верьте!

Вариант ст. 270—291 4-й главы:

Собрав попов непомерное количество
божьих матерей повытаскав из карет
старалось сразить
христианство и католичество
о переделке храмов на цирки декрет.
Но недвижимый
в Остоженку врос
стоймя стал
и стоит Наркомпрос.
Справедливость за справедливость
за ятью ять
к стенке!
вывести!
расстрелять!
[За красноармейцами гонятся]
За футуристами гонятся
памятников бронзовая конница!
Туда!
Бросилась
девятисотая
армия художественного труда.
И увидели в затишье
в секунду антракта
по обломкам памятников
громыхающий трактор.

После ст. 299 4-й главы зачеркнуто:

Напрасно
шлет
Вильсон в грозе
мирных иллюзий последний резерв
неиссякаема сила Иванова
сто сразят
тысячи наново
Растут в рядах Вильсона прорехи
под огненными ударами вулканьих рогов
целые мадагаскары щелкают как орехи
в зубах взбунтовавшихся берегов.

Авторизованные корректурные гранки отдельного издания поэмы с датой производственного отдела Госиздата «22 ноября 1920 г.» — ЦГАЛИ. Здесь ст. 270—291 4-й главы в варианте авторизованной машинописной копии ЦГАЛИ. В автобиографии, в главке «19-й год», Маяковский пишет: «Голову охватило „150 000 000“» (т. 1, стр. 25). В списке предполагаемых к выпуску в издательстве ИМО книг, который Маяковский представил наркому просвещения А. В. Луначарскому 10 февраля 1919 г., поэма значится под названием «Воля миллионов». В договоре, заключенном Маяковским с Центропечатью 11 июля 1919 г., она названа «Былина об Иване». Еще один вариант названия — «Иван. Былина. Эпос революции» — в счете, поданном Маяковским в августе 1919 г. Госиздату. 5 марта 1920 г. Маяковский читал отрывки из поэмы в Москве на открытии клуба при Всероссийском союзе поэтов; полностью — 4 декабря 1920 г. в петроградском Доме искусств и 12 декабря в Москве, в Политехническом музее. Маяковский и его друзья послали В. И. Ленину отдельное издание поэмы со следующей надписью: «Товарищу Владимиру Ильичу с комфутским приветом». В. И. Ленин отрицательно отнесся к поэме, считая возможным печатать ее лишь в небольшом тираже. См. вступ. статью, стр. 25. *Керенки* — название бумажных денег, выпущенных в 1917 г. правительством Керенского и быстро обесценившихся. *Птифур* (франц. petits fours) — сорт печенья. *Вильсон* Вудро (1856—1924) — президент США в 1913—1921 гг. *Ллойд Джордж* — см. стр. 634. *Парабеллум* — система автоматического пистолета. *Я один там был, в барах ел и пил.* Маяковский перефразирует былинное присловье. У Пушкина в «Сказке о царе Салтане»: «Я там был, мед, пиво пил». *Курьера курьер обгоняет в карьер. Нет числа. От числа такого дух займет у щенка-Хлестакова.* В комедии Гоголя «Ревизор» в сцене вранья Хлестаков говорит: «И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!» *Сухарева башня* в Москве, ныне снесенная, находилась на Сухаревской (теперь Колхозной) площади. *Иоркширом иоркшир,* т. е. свинья свиньей. Иоркшир — графство в Великобритании, славившееся разведением свиней. *Линкольн* Авраам (1809—1865) — президент США в 1861—1865 гг. *Уитмен* Уолт (1819—1892) — американский поэт. *Эдисон* Томас Алва (1847—1931) — американский ученый-изобретатель. *Аделина Патти* (1843—1919) — итальянская певица. *Экольдебозар* (франц. école de beaux arts) — Школа изящных искусств *Лонгфелло* Генри (1807—1882) — американский поэт. *Клемансо* Жорж (1841—1929) — французский политический деятель, премьер-министр Франции с 1917 по 1920 г. *Прислали из северной Трои начиненного бунтом человека-коня!* Согласно мифу о греко-троянской войне, греки, после многих лет безуспешной осады Трои, взяли ее хитростью. Они построили громадного деревянного коня, спрятали внутри воинов и, поставив у ворот Трои, отошли от города. Торжествующие троянцы втащили коня в город. Когда же настала ночь, греческие воины вылезли из коня и овладели Троей. *Адмиралтейство* — здание в Ленинграде, увенчанное шпилем. *Главковерх* — верховный главнокомандующий.

К стр. 516

Люблю. Впервые — «Люблю», М., 1922. Вошло в «13 лет», т. 2; Соч., т. 2. По свидетельству М. Шац-Анина, рабочее издательство «Арбейтергейм» в Риге выпустило в 1922 г., во время пребывания Маяковского в Латвии, два издания поэмы, — первое было конфисковано полицией («Советская молодежь», Рига, 1950, 14 апреля). Черновой автограф отрывков поэмы без заглавия и название глав в ЗК № 10 (1922) — ЦГАЛИ. После ст. 24 главки «Взрослое» — строфа, не вошедшая в окончательный текст:

Я слышал ветров и ливней признание
Одарен мильоном фонарных улыбок
И ребрам в сводчатое здание
вмещалась еле сердечная глыба

Беловой автограф — собрание Л. Ю. Брик. Заглавие:

Официальное заглавие

ЛЮБЛЮ

Неофициальное

МИЛЫМ КИСАМ
ЗАМЕСТО ОБЪЯСНЕНИЕВ И ПИСЕМ.

В письме от 22 ноября 1921 г. Маяковский писал Л. Ю. Брик: «Волнуюсь, что к твоему приезду не сумею написать стих для тебя. Стараюсь страшно» («Литературное наследство», т. 65, М., 1958, стр. 119). Издаваемый В. Каменским «Наш журнал» в номере от 15 марта 1922 г. сообщал в информационной заметке, что Маяковский закончил поэму «Люблю». 13 марта 1922 г. Маяковский читал поэму на двухлетнем юбилее Дома печати. *Мюллер* И. П. — автор популярного руководства по гимнастике «Моя система». *Рион* (Риони) — река в Грузии. *«Три листика»* — карточная игра. *Меня ж из 5-го вышибли класса.* Маяковский ушел из гимназии, не окончив ее, в связи с участием в революционной работе. *Бутырки* — центральная пересыльная тюрьма. Маяковский был заключен в нее в 1909—1910 гг. за участие в революционном движении. *Булонский лес* — см. стр. 636. *103 камера* — номер одиночной камеры в Бутырках, где сидел Маяковский. В окно камеры была видна только вывеска бюро похоронных процессий. *Иловайский* Д. И. (1832—1920) — автор гимназических учебников по истории, написанных в реакционно-монархическом духе. *Была ль рыжа борода Барбароссы?* Фридрих I Барбаросса (1123—1190) — император так называемой «Римской империи германской нации». Барба росса — по-итальянски «рыжая борода». *Я вытомлен лирикой — мира кормилица,*

гипербола прообраза Мопассанова. Имеется в виду рассказ Мопассана «Идиллия». В рассказе молодую крестьянку-кормилицу, изнемогавшую от напора молока, спасает встреченный ею в вагоне голодный безработный. *Крез* (VI в. до н. э.) — царь древнего государства Лидия; по преданию, обладал несметными богатствами.

Про это. Впервые — «Леф», 1923, № 1, стр. 65, с посвящением: «Посвящается ей и мне», перед заглавием вступления: «А», перед заглавием третьей части: «Б». С изменениями, с посвящением: «Ей и мне» — «Про это», М.—Л., 1923. Печ. по Соч., т. 3, стр. 287. Черновая рукопись, отражающая весь процесс работы над поэмой, с записями заготовок; беловая рукопись с поправками и дополнениями и беловая рукопись с поправками — собрание Л. Ю. Брик. В черновой рукописи не вошедшие в основной текст отрывки: гл. 1, подглавка «Размедвеженье», после ст. 7 зачеркнуто:

Ловите любовь в телефонные сети
по радио тешьтесь
романсом нотным.
А в горе
все отходит на свете
один трясешься промерзшим животным

Гл. 3, после ст. 20 зачеркнуто:

Морю в рамы на вершинищи стоящие
Вылить горе не строчн<ое> настояще<е>

Гл. 3, после ст. 93:

А то чтоб нежно было
чтоб речь с кем
просто хочется по-человечески

Первая беловая рукопись с датой «11 февраля 1923 г.», с посвящением: «Посвящается Лиле и мне». Оглавление:

А
(объяснительная записка)

Про что — про это?

I

Баллада Редингской тюрьмы

II

Ночь под Рождество

Б

Прошение на имя веков

Подзаголовок «Бешеный телефон» вместо «По кабелю пущен номер»; «Неистовство звоночищ, звоночков и звоночинок» вместо «Телефон бросается на всех»; «Показался спаситель» вместо «Спаситель»; «Муж Розы Давидовны со мной и со всеми знакомыми» вместо «Муж Феклы Давидовны со мной и со всеми знакомыми»; «Необычайность» вместо «Необычайное»; «Кафе Ротонда» вместо «Ротонда»; «Жизнь проходит перед глазами» вместо «Повторение пройденного»; «Совершенная смерть» вместо «Последняя смерть». Заглавие 3-й части: «Прошу Вас очень!» Подзаголовок против ст. 1 — «Жизнь», против ст. 17 — «Горе», против ст. 27 — «Ненависть», против ст. 40 — «Грусть».

Гл. 2, подглавка «Боль была», после ст. 20 зачеркнуто:

Спасите! — и чувствую, чем-то обнюхан
Глаза подымаю. Ноздри и ухо.
Я ткнулся к псу — обычная ласка,
но пес, улизнув, подворотней заляскал.

Гл. 2, подглавка «Ничего не поделаешь», после ст. 20 зачеркнуто:

Вот те на Мясницкой, вот те на Арбате
Бегу
лечу созывать и набатить.
Отчаянье память, ум отымет,
но этим
всегда оставляется норка
инстинкта нитью притянут родными
во-первых бегу по всяким задворкам.
Сам самовар рассиялся в лучики
лезут обнять самоварные ручки.

Гл. 2, подглавка «Всехние родители», после ст. 34 зачеркнуто:

Я встал.
У тетки задвигался чепчик.
У мамы
смешной
старушечий страх.
Куда он?!
Оля!
Держи его крепче
Выдернул руку
— Не трогай сестра.
Поэтовы штучки думаешь?
Ленский?
Второе облако пишет в штанах.
Сегодня
я слиток силы вселенской
Я дуб с корнями
выверну в мах.

Гл. 2, подглавка «Путешествие с мамой», после ст. 19 зачеркнуто:

Весь мир разодрала семья на клетушки.
Что дом?!
В нем льня к самчихе ежатся душки
Сидят у крыши под курьим крылом.

Гл. 2, в конце подглавки «Путешествие с мамой» зачеркнуто:

Другая жизнь когда еще
а тот стоит пока там
Гудела мысль кидающая
по Пресням по покатым.

Гл. 2, подглавка «Пресненские миражи», после ст. 17 зачеркнуто:

Стена ведет глаза огнем
Лучами колет бок она
Иди к знакомым за окном
друзьям исстукай окна.

Гл. 2, подглавка «Бессмысленные просьбы», после ст. 94 зачеркнуто:

Отчаянным штурмом с позиций сбит
опять окопался привычками быт

Гл. 2, в конце подглавки «Бессмысленные просьбы» зачеркнуто:

Сквозь тыщи читающих, пивших и евших
проходят слова никого не задевши

Гл. 2, подглавка «Необычайное», после ст. 24 зачеркнуто:

Назад острова
Не хочу!
Не ступлю!
Живому своих не навяжете воль вы.
Бросаю смотрите смотрите топлю
я в вашем мертвом море револьвер.

Гл. 2, подглавка «Деваться некуда», после ст. 14 зачеркнуто:

Мне кажется
вижу
не глазом
иначе
белою ночью
насквозь
на Неве...
Руки ломает, ломает и плачет.

К стр. 525

Затихла
А если это навек.
Нет!
Окна глотает глотками впадин
глазных
не сводит взора и ждет
Ежесекундно
изо дня на день
смотрит
за угол загну —
и вот...
Убивший любовь
не успевший и вылезти
Я рвусь
но как посмотреть в глаза
как буду просить о несбыточной милости
Она не пойдет.
Не надейся.
Назад.
Валю на память беспамятства глыбы
Но мозг покрывает сердечную дробь
Назад!
Надежду из черепа выбей
Назад.
В Лубянский проезд или в гроб!
Но только назад надрывается рот.
А сердце ногам приказало — вперед!

Гл. 2, подглавка «Деваться некуда», после ст. 27 зачеркнуто:

Так как же...
об снег
об воду
о камень
глаза не сводя с веселящихся рам
о камень
о снег
спотыкаясь
шажками
лунатиком тенясь тянулся к дверям.

Гл. 2, подглавка «Деваться некуда», после ст. 52 зачеркнуто:

Звенят?!...
В замок!
В штукатурную зелень!
Чуда?
чтоб подслушали
чтоб подглазели.

Гл. 2, подглавка «Друзья», после ст. 53 зачеркнуто:

Так говорите и отхватило на треть?!
Вот весело
надо поехать посмотреть
грех господа не собака дворовая
Ура,
за его здоровие!

Гл. 2, подглавка «Полусмерть», после ст. 11 зачеркнуто:

Загнулся у ножек.
Решетюсь по Эйфелю.
Высоко.
Аж звезды высокие сдрейфили.

Гл. 2, подглавка «Повторение пройденного», после ст. 35 зачеркнуто:

Города обступили
Стали.
Сто.
Стон свистящей воздухом стали
Сотней лучей
стоаршинных хлыстов
окнами стен меня исхлестали

Гл. 2, подглавка «То, что осталось», после ст. 14 зачеркнуто:

Луч звезда приложила ко рту
Не то:
у Медведицы брат на борту.

Гл. 3, после ст. 65 зачеркнуто:

Песня головой голодною гуди
Женских глаз исплавай озерца
Все плотины будней выверни в груди
Сердце вырви
бейся сердцем о сердца
Еще и френчами
и крахмальными сорочками
к сердцам добираться слов ножу
Я
еще
заноз строчками
толстокожее иззаножу.

В автобиографии редакции 1928 г. в главке «23-й год» говорится: «Написал: «Про это». По личным мотивам об общем быте» (т. 1,

стр. 26). Поэма писалась в период добровольного домашнего «заключения», к которому Маяковский приговорил себя ровно на два месяца, чтобы наедине с самим собой разобраться во всем, что вставало неотступной, еще нерешенной темой: каким должен быть новый человек, его мораль, его любовь, его быт? *Баллада Редингской тюрьмы* Оскара Уайльда была написана в тюрьме. Взято по ассоциации с внешней обстановкой, в которой Маяковский писал поэму. *Лубянский проезд* — улица в Москве, где тогда жил Маяковский, ныне проезд Серова. *Водопьяный* — переулок в Москве близ Мясницких (ныне Кировских) ворот, где находилась квартира Л. Ю. Брик. *Две стрелки яркие омолниили телефон.* На телефонах того времени стояла эмблема связи: две перекрещивающиеся молнии. *Мясницкая* — улица в Москве, ведущая от Лубянского проезда к Мясницким воротам (сейчас ул. Кирова). *67-10* — номер тогдашнего телефона Л. Ю. Брик. *Эрфуртская* — программа германской социал-демократической партии, принятая на партийном съезде в Эрфурте в 1891 г. *Бальшин* — сосед Маяковского по квартире. *Человек из-за 7-ми лет.* Здесь идет речь о лирическом герое поэмы «Человек», написанной за семь лет до создания поэмы «Про это», в 1916—1917 гг. (см. стр. 237—238 наст. тома). *Петровский парк. Ходынка* (Ходынское, ныне Октябрьское поле) находятся в Москве. *Впереди Тверской простыня.* Речь идет о Тверской улице, теперь — ул. Горького. *Садовая* — улица в Москве. На *Пресне* жили мать и сестры Маяковского. *600 с небольшим этих крохотных верст* — расстояние от Москвы до Ленинграда. *Альсандра Альсеевна* — Александра Алексеевна Маяковская (1867—1954), мать поэта. *Кудринскими вышками.* Кудринская площадь в Москве, теперь пл. Восстания. *«Нечаянная радость»* — книга А. Блока. *Ангел-хранитель — жилец в галифе.* Обыватели, боясь уплотнения, старались заполучить себе «ответственного» жильца. *«Мистерия»* — «Мистерия-буфф» Маяковского. *66* — карточная игра. *Беклин* Арнольд (1827—1901) — швейцарский живописец. Для Маяковского картина Беклина «Остров мертвых» олицетворяла мещанские вкусы. *Недвижный перевозчик.* Согласно древнегреческой мифологии, души умерших переправлял через подземную реку в царство смерти перевозчик Харон. Харон и тополя изображены на картине Беклина «Остров мертвых». *Раскольников* — герой романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». *Аннушка* — Губанова А. Ф. (1869—1957), домашняя работница Бриков. *Уанстеп, тустеп* — западные танцы. *Разумовское.* Петровско-Разумовское — последняя станция на пути из Ленинграда в Москву. *Николаевский* — вокзал в Москве, теперь Ленинградский. *Ротонда* — литературное кафе в Париже. *Иван Великий* — колокольня в Кремле. *Как будто с Вербы,— руками картонными.* В «вербную неделю», перед пасхальным воскресеньем на базаре, устраивавшемся на Красной площади в Москве, продавали игрушки. *Один уж такой попался — гусар!* Речь идет о М. Ю. Лермонтове, убитом на дуэли в Пятигорске у подножья горы Машук в 1841 г. *Книга «Вся земля».* По ассоциации с адресными справочниками «Вся Москва», «Весь Петроград», выпускавшимися в те годы.

К стр. 573

Рабочим Курска, добывшим первую руду, временный памятник работы Владимира Маяковского. Впервые — «Леф», 1923, № 4, стр. 45, с посвящением: «Л. Ю. Б<рик>». Печ. по «О Курске», стр. 6. Вошло в Соч., т. 2. Черновой автограф в ЗК № 20 (1923) — БММ. *Муций Сцёвола* — хрестоматийный герой римской истории, юноша, положивший руку в костер, дабы показать взявшим его в плен врагам, что он не боится пыток. *Гракхи Тиберий* (162—133 до н. э.) и *Кай* (153—121 до н. э.) — братья, знаменитые римские трибуны. *Бутырки* — см. стр. 654. *Феллахи* — египетские крестьяне. *Чужак* — Насимович Николай Федорович (1876—1937) — журналист, литературный критик, сотрудник журнала «Леф», выступил на страницах «Лефа» с вульгарной теорией «производственного искусства», с догматических позиций критиковал поэму «Про это», в 1923 г. в результате разногласий по ряду вопросов искусства с Маяковским и другими членами редакции вышел из состава редколлегии. *Пенсильвания* — штат на северо-востоке США. *Аномалия* магнитная — отклонение стрелки компаса в том или ином месте земного шара от нормального направления. Курская магнитная аномалия одна из самых сильных. Систематическое изучение Курской аномалии было организовано по указанию В. И. Ленина в 1919 г. *Альфред* — псевдоним литератора Капелюша Федора Давидовича (1876—1945), автора статьи в «Известиях» (1923, 10 июля), направленной против Маяковского и Лефа. *Эльвисты* — так называли членов лиги «Время», сокращенно «ЛВ», созданной в целях пропаганды научной организации труда. *Татлин* Владимир Евграфович (1885—1953) — художник, автор проекта памятника III Интернационалу в виде конструктивной вращающейся башни. *Сосновский* Лев Семенович (1886—1937) — журналист, выступал со статьями, направленными против Маяковского. *Лазарев* Петр Петрович (1878—1942) — академик, физик, руководивший в 1919—1927 гг. работами по исследованию Курской магнитной аномалии. *Меркулов*. Имеется в виду Меркуров Сергей Дмитриевич (1881—1952), советский скульптор, автор ряда памятников, установленных в Москве. *Андреев* Николай Андреевич (1873—1932) — советский скульптор. *К Островскому назад*. Имеется в виду лозунг «Назад к Островскому», выдвинутый А. В. Луначарским в его выступлении, посвященном столетнему юбилею А. Н. Островского в апреле 1923 г. Речь шла о реалистических традициях в драматургии, изображении на сцене современного быта. *Сакулин* Павел Никитович (1868—1930) — историк литературы. *Собинов* Леонид Владимирович (1872—1934) — певец, получил звание Народного артиста республики 27 марта 1923 г. *Южин-Сумбатов* Александр Иванович (1857—1927) — актер, драматург, художественный руководитель Малого театра, получил звание Народного артиста республики 17 сентября 1922 г. *ГИЗ* — государственное издательство.

К стр. 589—594

РЕКЛАМА
(1923—1925)

Работа Маяковского в области рекламы началась в 1922 г. и продолжалась до конца жизни. Наибольшее количество созданных им рекламных текстов приходится на 1923—1925 гг. Это были самые разнообразные тексты для листовок, газетных объявлений, рекламных плакатов, конфетных оберток, коробок печенья и т. п. В содружестве с Маяковским над рекламой работали художники А. М. Родченко, В. Ф. Степанова, А. С. Левин и др. Маяковский придавал работе над рекламой большое значение. В статье 1923 г. «Агитация и реклама» он писал: «Мы знаем прекрасно силу агитации. В каждой военной победе, в каждой хозяйственной удаче на $^{9}/_{10}$ сказывается умение и сила нашей агитации... Реклама — промышленная, торговая агитация... Реклама должна быть разнообразием, выдумкой. Мы не должны оставить эту агитацию торговли в руках нэпача, в руках буржуа-иностранца...» (т. 12, стр. 57). Отмечая свою работу над рекламой в автобиографии, Маяковский говорил: «Несмотря на поэтическое улюлюканье, считаю «Нигде кроме как в Моссельпроме» поэзией самой высокой квалификации» (т. 1, стр. 27). В 1923 г. поэт собирался подать в Московский трест полиграфической промышленности записку об улучшении рекламного дела (сохранился незаконченный черновик записки). Спустя год Маяковский пытался издать рекламные тексты отдельной книжкой. Рекламные плакаты с текстами Маяковского экспонировались на Международной художественно-промышленной выставке 1925 г. в Париже. Маяковский и художник А. Родченко получили дипломы.

«Леф».

Лучшие советы. Впервые — «Крысодав», 1923, № 1, стр. 14.

Дальше! Впервые — «Леф», 1923, № 4, на обложке. Вошло в Соч., т. 4. *«Леф»* — «Левый фронт искусств», журнал литературной группы, возглавлявшейся Маяковским.

<Журнал «Крысодав»>. Впервые — «Крысодав», 1923, № 1, на обложке. В сборники не входило. *«Крысодав»* — журнал сатиры, выходивший в июне — октябре 1923 г.

<Журнал «Огонек»>. Впервые — ПСС 1939, т. 4, ч. 2, стр. 411. Написано не позднее начала октября 1923 г.: в сохранившейся расписке художника А. М. Родченко от 6 октября 1923 г. говорится об исполнении рисунка к плакату с данным текстом. Использовалось для светорекламы.

Гум.

<1>. «Человек — только с часами...». Впервые — плакат-листовка, худ. А. Родченко. *Мозер* — фирма, выпускавшая часы.

<2>. «Всё, что требует желудок, тело или ум...».

Впервые — «Известия», 1923, 1 июля. <3>. «Не уговариваем, но предупреждаем вас...». Впервые — КНива, 1923, № 28, на обложке. Вошло в ВЭГ; Соч., т. 4. <4>. «Нет места сомненью и думе...». Впервые — «Огонек», 1923, № 20, на обложке. Вошло в Соч., т. 4. <5>. «Тому не страшен мороз зловещий...». Впервые — «Известия», 1923, 18 октября.

Резинотрест.

<1>. «Дождик, дождь, впустую льешь...». Впервые — плакат, рис. Маяковского. Вошло в Соч., т. 4. Беловой автограф — БММ. <2>. «Без галош элегантнее...». Впервые — плакат, изд. «Мосполиграф», худ. А. Родченко. Беловой автограф — БММ. <Мячики>. Впервые — Соч., т. 4, стр. 4. Беловой автограф — БММ. <Соски>. Впервые — плакат, худ. А. Родченко. Вошло в Соч., т. 4. Беловой автограф — БММ. <Игрушки>. Впервые — Соч., т. 4, стр. 4.

Моссельпром.

«Нигде кроме как в Моссельпроме...». Впервые — Соч., т. 4, стр. 255. Этот рекламный лозунг был составной частью ряда плакатов. Впоследствии выделялся в качестве самостоятельного рекламного текста и широко использовался в объявлениях и вывесках. Был вывешен на здании Моссельпрома в Москве. <Папиросы «Ира»>. Впервые — плакат, худ. А. Родченко — «Огонек», 1923, № 30, на обложке. Вошло в Соч., т. 4.

<Журнал «Красный перец»>. Впервые — ПСС 1939, т. 5, стр. 398. Текст сохранился как цитата в тексте расписки художника А. М. Родченко, получившего деньги «за исполнение плаката „Красного перца“». Расписка датирована 12 января 1925 г. Было ли опубликовано — неизвестно. *«Красный перец»* — журнал сатиры и юмора, выходивший в Москве в 1922—1926 гг.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис.* В. В. Маяковский. Фотография 1918 г.
2. *Между стр. 80 и 81.* В. В. Маяковский. Фотография 1910 г.
3. *Стр. 347.* Автограф отрывка из стихотворения «Юбилейное».
4. *Между стр. 368 и 369.* В. Маяковский со Скотисом. Фотография 1924 г.
5. *Между стр. 400 и 401.* Обложка 1-го издания «Мистерии-буфф». 1918 г. Рисунок В. В. Маяковского.
6. *Стр. 571.* Автограф отрывка из поэмы «Про это».

СОДЕРЖАНИЕ[1]

---

[1] Первая цифра обозначает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечания.

ТРАГЕДИЯ, ПОЭМЫ

(1913—1917)

СТИХОТВОРЕНИЯ

(1917—1924)

«МИСТЕРИЯ-БУФФ» И ПОЭМЫ

(1918—1923)

РЕКЛАМА

(1923—1925)

Маяковский Владимир Владимирович

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ТОМ I

Редакторы *С. В. Владимиров* и *Л. А. Николаева*

Художник *И. С. Серов.* Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *В. Г. Комм.* Корректор *А. Г. Рабинова*

Сдано в набор 14/VIII 1963 г. Подписано в печать 28/XI 1963 г. Бумага $84 \times 108^1/_{32}$. Печ. л. $20^7/_8$ + 4 вкл. (34,65) Уч.-изд. л. 34,83. Тираж 40 000. Зак. № 1195. Цена 1 р. 23 к.

Издательство «Советский писатель»
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Типография № 5 УЦБиПП Ленсовнархоза
Ленинград, Красная ул., 1/3

1р. 23 к.